

НОВЫЙ Журнал

108

*THE NEW
REVIEW*

THE NEW REVIEW Новый Журнал

Основатели — М. Алданов и М. Цетлин — 1942

С 1946 по 1959 редактор М. Карпович

С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев

Тридцать первый год издания

Редактор: РОМАН ГУЛЬ
Секретарь Редакции: ЗОЯ ЮРЬЕВА

NEW REVIEW, September 1972
Quarterly, No. 108
2700 Broadway, New York, N.Y. 10025
Subscription Price \$15. — for one year
Publisher: New Review Inc.
Second Class Mail postage paid
at New York N.Y.

О Г Л А В Л Е Н И Е

<i>Л. Зуров</i> — Первый, второй...	5
<i>В. Перелешин</i> — Стихи	13
<i>В. Шаламов</i> — Причал ада. Храбрые глаза	15
<i>Ю. Иваск</i> — Стихи	22
<i>Г. Газданов</i> — Переворот	24
<i>И. Чиннов</i> — Стихи	41
<i>Ю. Кротков</i> — Борис Пастернак	43
<i>Д. Кленовский</i> — Стихи	72
<i>М. Булгаков</i> — Рашель (Публикация А. К. Райт)	74
<i>Г. Глинка</i> — Стихи	81
<i>Л. Ржевский</i> — Об одной творческой преемственности	82
<i>О. Ильинский</i> — Стихи	94
<i>В. Вейдле</i> — Музыка речи	96
<i>М. Гробман</i> — Стихи	124
<i>З. Юрьева</i> — Казимир Вежинский	126

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:

<i>И. Одоевцева</i> — На берегах Сены (О Г. Адамовиче)	134
<i>К. Померанцев</i> — Последний Адамович	159
<i>К. Бугаева</i> — А. Белый в жизни	169
<i>Из дневников И. А. Бунина</i> (Публикация М. Грин)	189
<i>Г. Вернадский</i> — Константинополь	202
<i>В. Поздняков</i> — Генералы РОА в американском плену	218
<i>Н. Рахманинова</i> — С. В. Рахманинов	237

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:

<i>И. Мацкевич</i> — Капитуляция Римской Церкви	248
<i>А. Авторханов</i> — Вечный Микоян	266
<i>Д. Шуб</i> — Из давних лет	283

ПАМЯТИ УШЕДШИХ:

<i>Л. Тихвинский</i> — С. П. Тимошенко	296
<i>Письма в редакцию</i>	303

PRINTED BY WALDON PRESS, INC.
216 West 18 Street, New York, N.Y. 10011

ПЕРВЫЙ, ВТОРОЙ...

Еще утром пасмурилось.

Серая пелена облаков заткала все небо и, снизившись, потушила поля. День глянул бледный, подернутый туманной пеленой. Из-за стального лезвия Финского залива ползли набухшие тучи, опустив в море фиолетовые гребенки дождя.

Облака плыли от Кронштадта.

Думалось, что серые форты Петропавловки и гранитную набережную сечет дождь, разбивая на Неве белые клочки свинцовых волн. Петроград — глыба холодных зданий, с мокрым блеском торцов, куполов и крыш. Из торцовки растет молодая трава, шумят редкие автомобили, матросские и курсантские части отбивают шаг.

От Воронина проселочная дорога сбегала по крутому скату, закруглялась в новостроенной деревушке и терялась в болотнике.

Воронино взяли с тяжелым боем накануне. Белый помещичий дом уже второй раз наблюдал с вершины холма, как наши жидкие цепи, упорно карабкаясь и цепляясь, всползали под пулеметным огнем на овражистые кручи, как в липовых аллеях умирали стрелки, а другие перебегали звеньями, отстреливаясь и передавая лопаты.

Белый дом с разбитыми стеклами, попорченный пулевыми метками, видел, как бившая по нас курсантская батарея умышленно делала перелеты и недолеты, а когда мы приблизились и красные дрогнули, батарея повернулась и стала метко бить по отступающим цепям.

Этот рассказ покойного Л. Ф. Зурова нам прислала из его архива М. Э. Грин, за что мы приносим ей благодарность. РЕД.

Copyright by The New Review, New York. 1972

Наше усталое ура подхватили курсанты. Оно было заслужено многими телами, что распластались по скатам и темнели в овраге у серебристой речки Воронки.

У плитняковой ограды росла шатровая липа. В тот день под ней около неуклюжего пулемета было убито двое. Оба юные, сильные, любившие солнце, и липу, и жизнь.

Вольноопределяющийся Борис Немин упал навзничь, раскинув руки. Глаза смотрели сквозь развилину липовых сучьев в небо. Лишь на белом широком лбу темнело пятно. Ефрейтор Фетисов припал рядом, пораженный пулей в голову, уткнулся в высокую траву.

В тот вечер в парке выросло много холмов. Молодую березовую поросль порубили бебутами на кресты. Наспех связали белые стволы телефонной проволокой.

Роты нашего полка, вторая и третья, под командой батальонного, ротмистра барона Огерна, что ехал на коне угловато рисуясь, вышли из имения. Меж лип, опоясанных плитняковой оградой, мелькнул белый угол и скрылся.

Матросов мы знали по старым боям. Знали их черные неложющиеся цепи. Боевая задача была спуститься в низину, войти в лес и выбить их из деревни Кожаново.

Над суходольными полями пылила мокрая мгла.

Спускались в низину. Пестрая карта лесов и болот тянулась вплоть до Копорской губы. На холодном стальном море, слившемся с небом, чернели точки английских кораблей. Они мирно стояли на рейде, пропуская красные суда, что, распустив дымные полосы, высаживали у Красной Горки десанты. По вечерам в море вспыхивали желтые искры сигнальных огней и потухали. Тогда среди солдат плели нити недоверчивые толки и слухи.

Батальонный ехал молча. Он много говорить не любил, приказание отдавал сквозь зубы, впивался глазами, указывал направление стэком. В бою располагался рядом с бьющимися цепями. Молча курил, молча глядел. На длинном остзейском лице дергались мускулы. Немного глумливо и зло слушал, как перекачивалась стрельба.

У барона Огерна выправка и тон гвардейского офицера и умение жить не спеша, глядя презрительно в лицо смерти.

Теперь он опять вел нас, играя конем, равнодушно и устало.

.....

Цепь двинулась перерывистой лентой твердо и уверенно. Хлюпали выстрелы, перебегая кружилась стрельба.

Двое наших упало. Дождь шел серой шумливой полосой, глушил мокротой стрельбу. Заклокотали с пригорка матросские пулеметы. Захлестнули ровной строчкой.

От первой цели поплыли отдельные крики, смутные, но требовательные. Кричали наши.

— Э-и-й...

Крупные капли пузырили лужи. Черные матросские силуэты привстали на волнистой линии пригорка.

— Урра — пронеслось по цепи.

Наша стрельба стихла, там задержалась сильнее.

— Уррра... — вспыхнуло крепче, разбивая сырой воздух. Вязки земельные комья. Наши пошли в штыки.

— Ура — кричал раненый стрелок, прижимая к плечу кровавую тряпку.

— Взяли их, братцы! Взяли!

Мокрое овсяное поле размяли, спутали прошедшие цепи, в черную хлябь втоптали колосистые пряди.

Меж кочковатых берегов шумел мутный вспененный ручей. Под набухшими бревнами моста, упершись в тину руками, валялся убитый матрос. Желтая струя ручья мыла голову.

Один полз, подминая овес, царапая землю руками, раненая нога в кровавой портянке волочилась следом. В наших глазах он увидел бесстрастные отсветы серого неба — крикнул:

— Землячки... и умолк, сжав зубы.

На пригорке сгорбились пятнистые сараи. Подкова размокшей дороги вела к воротам, где серые стрелки выстраивали черную шеренгу пленных.

У ротмистра барона Огерна в руках стэк. Поля фуражки обмокли. По собранному лицу бежали дождевые капли, срывались с козырька.

Небо прорвало местами. Бежали растрепанные седые тучи. Ротмистр, скривя рот, следил за бледными лицами пленных, что грузили на окованную железом телегу морские пулеметы с закопченными медными надульниками, слушал отрывистую солдатскую ругань.

Около пленных ходил молча стрелок, разглядывая в упор.

— Ишь, звезду налепил! — заревел он на лево-флангового молодого матроса: — Сыми звезду!

Тот матово побледнев сдернул фуражку. Снял звезду и, не зная куда ее деть, напряженно смотрел карими глазами. Стрелок ударом выбил ее и затоптал в жидкую грязь.

— Матросня! Будет народ мучить! У каждого золотые кольца, часы... Откуда у матроса часы?

Враг был разбит, принижен, остались незнакомые люди в синих намокших гимнастерках, со смертельной бледностью лиц. Расспроси — окажутся архангельские, тверские.

Рослая, упруго сбитая шеренга. Мешались молодые обветренные лица с изжитыми. Грязные тяжелые рубахи обливали мускулистые груди и плечи. Ветер трепал мокрые ленточки с золотыми якорями.

Огерн твердым шагом обошел строй захваченных. Стэком указал на завязшую в грязи телегу и крикнул, сверкнув зубами.

— Впрягай — сь!

Матросский строй распался поспешно и недоумевающе.

— В оглобли! — хлестко добавил батальонный.

Корявая корнистая дорога малоезженной лентой поднималась медленно в гору. Каменная кладка подминаясь уходила в моховую жижу. Из березняковой чащи веяло тяжелым сырьем. Сизые кусты кропили брызгами. После дождя ясно особенно. И как свежо. И где-то отозвалась птица.

Гора пошла круче.

Грудями налегая на оглобли, хватаясь за спицы колес,

безмолвно, они волокли окованную железом телегу. Пружились мускулы. Срывались упиравшиеся в плитняк ноги. Синяя грудa, влипшая в колеса и оглобли, дымила распаренными телами. Лишь лица с открытыми жалобно ртами оставались бледными.

Те, что несли раненых, шли в ногу, ревниво оберегая носилки от толчков и колыханий.

В этом безмолвном желании угодить, сделать глаже, ровней, чувствовалась роковая обреченность и страстное желание избежать конца.

— Мы, братцы, когда подбегали, кричали, клади винтовки; а те из амбара пулею жалят, — говорил стрелок, — переходи, ничего, мол, не будет... Только один, что носилки несет, бросил винтовку и через ручей перешел. Так черти по своему стреляли!

С горы открылись дали. Бледное море лежало неподвижно, справа сиреневел силуэт Красной Горки.

Командир второй роты, широкоплечий рослый капитан в смушковой, намокшей папахе смотрел в отобранную у матросов трубу на море. Усталые солдаты остановились и взглянули на пройденный путь и изрезанные пашнями курчавые дали. И назамерно оглянулись друг за другом матросы, как бы прощаясь навек с полоской родного, холодного моря.

Стряхнули березы дождь капель, когда мы вышли на шоссе.

В сером небе ветер рвал тучи. Гнал растрепанные седые клочья к Ямбургу. В полях полегли побитые дождем хлеба. Тяжелые колосья, спутанные вихрами, сникли к межам. Тяжело лежали поля.

Раненых и телегу сдали на хутор. Сбили пленных в кучу, окружили конвоем и погнали по длинным лужам.

Придорожные тополя пахли нежно и пьяно.

Тяжело громыхая колесами, зарядными ящиками и щитками, разбрызгивая грязь, обогнала нас шедшая на рысях трехдюймовая батарея.

— Наши курсанты! — закричали стрелки.

Ездовые и номера, молодые, в длиннополых потемневших шинелях, в черных намокших бескозырках, что-то радостно прокричали, помахав руками.

— Клешников захватили! — вырвался из шума радостный крик. — Клешников!

Обдала волна тяжелого конского пота. Отбили цокающую трель копыта, блеснуло дуло последнего орудия и уже вдали замаячили лихие силуэты загибавшей влево батареи. Матросы шли облепленные серой грязью, тяжело и неохотно.

Меж мокрых лип мы увидели желтые и голубые дачи. В поле, у снятых с передков орудий разгорались артиллерийские костры. Стрелки окружили двух курсантов.

— Ну как, в Питере ждут нас?

Длинный канонир с острым мальчишеским лицом волновался.

— Да как еще. Голод, кругом расстрелы. Нас ускоренным выпуском сняли. Парад устроили. Троцкий речь говорил. Что мы защитники красного Петрограда — надежда русской революции... А в батарее нашей студенты, кадеты и бывшие юнкера. Верите ли, — горячился он, всматриваясь в лица... — Мы еще в училище тайную клятву дали. Вместе держаться и при первой возможности перейти.

— Молодцы, ребята, — шумели кругом солдаты.

— Так в Питер, айда!

— Мы, братцы, — горячился канонир, — обязательно Петроград должны взять. Все страдают и ждут.

— Возьмем, — подхватили солдаты.

— Ну, а как у нас служить лучше?

— Боже мой. Конечно. Все свои. Офицеры старые... Только вот..., — оборвался он на мгновение и покраснел. — Когда мы перешли, два стрелка с наших шинели сняли. Нехорошо. Они кадеты и здорово обиделись. Что белые... а сняли.

— А какой роты — посыпались вопросы.

— Отдадут. Это они не знали.

— Найдем, так придем шинельки-то. А вы красных снарядом покройте!

Пленных выстроили перед зданием гостиницы. Худощавый офицер с двумя конвоирами брезгливо обходил дождевые лужи, в которых ломались матросские отражения.

Офицер по одному отводил пленных в белую комнату, где заседал с военно-полевым судом ротмистр Огерн. Стрелки смотрели, как водили матросов и возвращались в строй.

Чувствовалось, что шеренга не упадет на колени, не будет просить о пощаде.

Допрос кончился.

Офицер медленно вышел, посмотрел на небо. Остановился на правом фланге. Так же медленно пошел по фронту, пристально глядя в десятки темных от волнения следом провожающих глаз.

Все притихли.

На мокрые поля спускались сумерки. Красной грудой темнело здание гостиницы. Ярче разгорались простеганные силуэтами костры. Тонкая скука плыла в пустоте.

Пленные, затаив дыхание, безумными глазами провожали офицера. Он остановился перед высоким матросом с интеллигентным лицом, что перешел, бросив винтовку.

— Следуйте за мной!

По шеренге прошло колыхание. Одним человеком стало меньше и строй сомкнулся. У вышедшего переменялось лицо.

Еще несколько медленных шагов — фамилия другого. Молодой матрос с прилипшей к шее ленточкой четко вышел из строя.

— Смирна! — скомандовал офицер. Прошло волнение по ряду голов. На фуражках врезаны золотые буквы судов и команд.

— На первый, второй рассчитай-сь!

Хриплыми, сырыми, срывающимися голосами рассыпались цифры.

— Первый, второй...

При повороте головы буквы сливались в золотую полосу.

Вздвоенные ряды повернули налево и окружив их конвоирами второй роты повели за здание гостиницы.

Лишь у переднего пожилого матроса голова была заброшена дерзко и упрямо.

В последний раз промелькнули лица, груди и чьи-то мертвые глаза.

— Жалко, — сказал номер Волненко, болезненное и острое слово.

— Всех людей, братцы, жалко.

Дорога подсыхала. В наступившей темноте у костров звонко ржали артиллерийские кони.

Л. Зуров

АНГЕЛЬСКИЙ ЯЗЫК

Алексису Ранниту

Песок. Плитняк. За пережат пологий
Заносится холодная волна:
Вздывается и падает она
Гекзамером старинных антологий.

Ее напев, медлительный и строгий —
Небесный бред, мерцанье полусна,
Когда в луну высокая сосна
Вонзается, как вензель остророгий.

Погибнет ли мелодия вдали,
Купальница* затоптанной земли,
Привыкнут ли и правнуки к потере?

Иль воздана сторицей боль утрат,
И ангелы на пламенной Венере
Дифтонгами эстонцев говорят?

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ

Когда он пел, бездумный Дионис,
О даре лоз и витьеватом хмеле,
Главы дубов приветливо шумели,
И лжи своей стыдился кипарис.

Когда же он предстал в сияньи риз
Нежней снегов, как агнец от купели,
Латинские органы загремели,
Зовя во мрак, в таинственнейший низ.

Столетиям забвенным современник,
Вечерний жрец, авгур, первосвященник,
Он, поступью — миродержавный Зевс,

С той высоты, где свет одно со мраком,
Глаголющий величественным знаком,
Вневременный, последний василевс.

* Купальница — национальный цветок Эстонии.

ЕМШАН

Сохранены для пришлеца чужого
Все почести и место впереди,
А свой, родной — смиренно подожди
На паперти собора брусяного.

«Бразилия, Россия» — и готово
Словесное плетение в груди:
Звени, латынь, и раньше проходи
Кириллицей написанного слова!

Войдет она в распахнутую дверь,
Но, крадучись, и летопись потерь
Протиснется, печаль и ностальгия,
И пахнувший младенчеством емшан,
И в памяти подымет: «Россия,
Бразилия» — и замолчит орган.

ЗАПАДНЯ

Мудрец велел при закадычном друге
Не надевать одежд, ходить нагим,
И я предстал пред Господом моим
Без бархата, без шелка, без кольчуги.

Свои труды и хилые досуги
Доверчиво сложил я перед Ним —
Своих стихов белоколонный Рим,
Свои мечты и малые недуги.

Но под ногой раскрылась западня,
В которую столкнули и меня
Для медленных, изысканнейших пыток.

И лишь теперь я слышу: — Оживи
И разноси рифмованный напиток,
Настоенный на собственной крови!

Валерий Перелешин

ПРИЧАЛ АДА

Тяжелые двери трюма открылись над нами и по узкой железной лестнице поодиночке мы медленно выходили на палубу. Конвойные были расставлены густой цепью у перил на корме парохода, винтовки нацелены были на нас. Но никто не обращал на них внимания. Кто-то кричал — скорей, скорей, толпа толкалась, как на любом вокзале на посадке. Путь показывали только первым — вдоль винтовок к широкому трапу — на баржу, а с баржи другим трапом — на землю. Плавание наше окончилось. Двенадцать тысяч человек привез наш пароход и пока выгружали их — было время оглядеться.

После жарких, по-осеннему солнечных владивостокских дней, после чистейших красок закатного дальневосточного неба — безупречных и ярких, без полутонов и переходов, забывшихся на всю жизнь.

Шел холодный мелкий дождь с беловато-мутного, мрачного, одноцветного неба. Голые, безлесные, каменные зеленоватые сопки стояли прямо перед нами и в прогалинах между ними у самых их подножий вились косматые грязно-серые разорванные тучи. Будто клочья громадного одеяла прикрывали этот мрачный горный край. Помню хорошо — я был совершенно спокоен, готов на что угодно — но сердце забилося и сжалось невольно. И отводя глаза я подумал — нас привезли сюда умирать.

Куртка моя медленно намокала. Я сидел на своем чемодане, который по вечной суетности людской захватил при аресте из дома. У всех, у всех были вещи: чемоданы, рюкзаки, свертки одеял... Много позже я понял, что идеальное снаряжение арестанта это небольшая холщевая торба и деревянная ложка в ней. Все остальное, будь это огрызок карандаша или одеяло — только мешает. Чему-чему, а уж презрению к личной собственности нас выучили изрядно.

Я глядел на пароход, прижавшийся к пирсу, такой маленький и пошатываемый серыми, темными волнами.

Сквозь серую сетку дождя проступали мрачные силуэты скал, окружавших бухту Нагаево и только там, откуда пришел пароход, виднелся бесконечно горбатый океан, как огромный зверь лежал на берегу, тяжело вздыхая и ветер шевелил его шерсть, ложившуюся чешуйчатыми, блестящими и в дожде волнами.

Было холодно и страшно. Горячая осенняя яркость красок солнечного Владивостока осталась где-то там в другом настоящем мире. Здесь был мир недружелюбный и мрачный.

Никаких жилых зданий не было видно вблизи. Единственная дорога, огибавшая сопку, уходила куда-то вверх.

Наконец выгрузка была окончена и уже в сумерках «этап» медленно двинулся в горы. Никто ничего не спрашивал. Толпа мокрых людей поползла по дороге, часто останавливаясь для отдыха. Чемоданы стали слишком тяжелы, — одежда намокла.

Два поворота и рядом с нами, выше нас на уступе сопки мы увидели ряды колючей проволоки. К проволоке изнутри прижались люди. Они что-то кричали и вдруг к нам полетели буханки хлеба. Хлеб перебрасывали через проволоку, мы ловили, разламывали и делили. За нами были месяцы тюрьмы, 45 дней поездного этапа, 5 дней моря. Голодны были все. Никому денег на дорогу не дали. Хлеб поедался с жадностью. Счастливчик, поймавший хлеб, делил его между всеми желающими — благородство, от которого через три недели мы отучились навсегда.

Нас вели все дальше, все выше. Остановки становились все чаще. И вот деревянные ворота, колючая проволока и внутри ее ряды темных от дождя брезентовых палаток — белых и светлозеленых, огромных. Нас делили счетом, наполняя одну палатку за другой. В палатках были деревянные двухэтажные нары «вагонной системы» — каждая нара на 8 человек. Каждый занял свое место. Брезент протекал, лужи были и на полу и на нарах, но я был так утомлен (да и все

устали не меньше меня) — от дождя, воздуха, перехода, намокшей одежды, чемоданов, что кое-как свернувшись, не думая о просушке одежды, да и где ее сушить — я лег и заснул. Было темно и холодно...

ХРАБРЫЕ ГЛАЗА

Мир барачников был сдавлен тесным горным ущельем. Огражден небом и камнем. Прошлое здесь являлось из-за стены, двери, окна; внутри никто ничего не вспоминал. Внутри был мир настоящего, мир будничных мелочей, который даже суетным нельзя было назвать, ибо этот мир зависел от чьей-то чужой, не нашей воли.

Я вышел из этого мира впервые по медвежьей тропе.

Мы были базой разведки и в каждое лето, в короткое лето успевали сделать броски в тайгу — пятидневные походы по руслам ручьев, по истокам безымянных речушек.

Те, кто на базе — канавы, закопушки, шурфы; те, кто в походе — сбор образцов. Те, кто на базе — покрепче, те, кто в походе — послабее. Значит это вечный спорщик Калмаев — искатель справедливости, отказчик.

В разведке строили бараки и в редколесьи таежном свезти вместе спиленные восьмиметровые лиственничные бревна — работа для лошадей. Но лошадей не было и все бревна перетаскивали люди, с лямками, с веревками, по-бурлацки, раз, два — взяли. Эта работа не понравилась Калмаеву и — я вижу, вам нужен трактор, — говорил он десятнику Быстрову на разводе. Вот и посадите в лагерь трактор и трелюйте, таскайте деревья. Я не лошадь.

Вторым был пятидесятилетний Пикулев — сибиряк, плотник. Тише Пикулева не было у нас человека. Но десятник Быстров своим опытным, наметанным в лагере глазом, уловил одну особенность Пикулева.

— Что ты за плотник? — говорил Быстров Пикулеву, — если твоя задница все время места ищет. Чуть кончил работу

— минуты не постоишь, не шагаешь, а тут же садишься на бревно.

Старику было трудно, но Быстров говорил убедительно.

Третьим был я — старый недруг Быстрова. Еще зимой, еще прошлой зимой, когда меня впервые вывели на работу и я подошел к десятнику — Быстров сказал, с удовольствием повторяя свою любимую остроту, в которую вкладывал всю свою душу, всё свое глубочайшее презрение, враждебность и ненависть к таким, как я.

— А вам, какую работу прикажете дать — белую или черную?

— Все равно.

— Белой у нас нет. Пойдем копать котлован.

И хотя я знал эту поговорку отлично, и хотя я умел всё — всякую работу умел делать не хуже других и другому показать мог, — десятник Быстров относился ко мне враждебно. Я, разумеется, не просил, не «лашил», не давал и не обещал взятки — можно было спирт отдать Быстрову. У нас иногда давали спирт. Но, словом, когда потребовался третий человек в поход — Быстров назвал мою фамилию.

Четвертым был договорник, вольнонаемный геолог Махмутов.

Геолог был молод, все знал. В пути сосал то сахар, то шоколад, ел отдельно от нас, доставая из мешочка галеты, консервы. Нам он обещал подстрелить куропатку, тетерку, и верно, два раза на пути хлопали крылья не тетерева, а рябые крылья глухаря, но геолог стрелял, волнуясь и делая промахи. Влёт стрелять он не умел. Надежда на то, что нам застрелят птицу, рухнула. Мясные консервы мы варили для геолога в отдельном котелке, но это не считалось нарушением обычая. В бараках заключенных никто не требует делиться едой, а тут — и совсем особое положение разных миров. Но все же ночью мы все трое — и Пикулев и Калмаев и я просыпались от хруста, чавканья, отрывки Махмутова. Но это не очень раздражало.

Надежда на дичь была разрушена в первый же день и

ставя палатку в сумерках на берегу ручья, который серебряной ниточкой тянулся у наших ног — а на другом берегу была густая трава, метров триста густой травы до следующего правого скалистого берега... Эта трава росла на дне ручья — весной тут заливало все вокруг и луг, вроде горной поймы зеленел сейчас всюю.

Вдруг все насторожились. Сумерки не успели еще сгуститься. По траве, колебля ее, двигался какой-то зверь — медведь, россомаха, рысь. Движения в море травы были видны всем — Пикулев и Калмаев взяли топоры, а Махмутов, чувствуя себя джекклондоновским героем, снял с плеча и взял на изготовку мелкокалиберку, заряженную жаканом — куском свинца для встречи медведя.

Но кусты кончились и к нам, ползя на брюхе и виляя хвостом, приблизился щенок Генрих — сын убитой нашей суки Тамары.

Щенок отмахал двадцать километров по тайге и догнал нас. Посоветовавшись мы прогнали щенка обратно. Он долго не понимал, почему мы так жестоко встречаем его. Но все же понял и снова пополз в траву и трава снова задвигалась, на этот раз в обратном направлении.

Сумерки сгустились и следующий наш день начался солнцем, свежим ветром. Мы поднимались по развилкам бесчисленных бесконечных речушек, искали оползни на склонах, чтобы подвести к обнажениям Махмутова и геолог бы прочел знаки угля. Но земля молчала и мы двинулись вверх по медвежьей тропе — другого пути не было в этом буреломе, хаосе, сбитом ветрами нескольких столетий в ущелье. Калмаев и Пикулев потащили палатку вверх по ручью, а я и геолог вошли в тайгу, нашли медвежью тропу и прорубаясь сквозь бурелом пошли вверх по тропе.

Лиственницы были покрыты зеленью, запах хвои пробивался сквозь тонкий запах тления умерших стволов — плесень тоже казалась весенней, зеленой, казалась тоже живой, и мертвые стволы исторгали запах жизни. Зеленая плесень на стволе казалась живой, казалась символом, знаком весны. А

на самом деле это цвет дряхлости, цвет тленья. Но Колыма задавала нам вопросы и потруднее и сходство жизни и смерти не смущало нас.

Тропа была надежная, старая, проверенная медвежья тропа. Сейчас по ней шли люди, впервые от сотворения мира, геолог с мелкокалиберкой, с геологическим молотком в руках и сзади я с топором.

Была весна, цвели все цветы сразу, птицы пели все песни сразу и звери торопились догнать деревья в безумном размножении рода.

Медвежью тропу перегораживал косой мертвый ствол лиственницы, огромный пенёк, дерево, верхушка которого была сломана бурей, сбита... Когда? Год или двести лет назад. Я не знаю меток столетий, да и есть ли они? Я не знаю, сколько на Колыме стоят на земле бывшие деревья, и какие следы на пне год за годом откладывает время. Живые деревья считают время по кольцам — что ни год, то кольцо. Как отмечается смена для пней, для мертвых деревьев — я не знаю. Сколько времени можно пользоваться умершей лиственницей, разбитой скалой, поваленным бурей лесом — пользоваться для норы, для берлоги — знают звери. Я этого не знаю. Что заставляет медведя выбирать другую берлогу? Что заставляет зверя ложиться дважды и трижды в одну и ту же нору?

Буря наклонила сломанную лиственницу, но выдернуть из земли не могла — не хватило у бури силы. Сломанный ствол нависал над тропой и медвежья тропа изгибалась, и обогнув наклоненный мертвый ствол, снова становилась прямой. Можно было легко рассчитать высоту четвероногого зверя.

Махмутов ударил геологическим молотком по стволу и дерево откликнулось глухим звуком, звуком полого ствола, пустоты. Пустота была дуплом, корой, жизнью. Из дупла прямо на тропу выпала ласка, крошечный зверек. Зверек не исчез в траве, в тайге, в лесу. Ласка подняла на людей глаза полные отчаяния и бесстрашия. Ласка была на последней минуте беременности — родовые схватки продолжались на тропе, перед нами. Прежде чем я успел что-нибудь сделать, крикнуть, по-

нять, остановить, геолог выстрелил в ласку в упор из своей берданки, заряженной жаканом, куском свинца для встречи с медведем. Махмутов стрелял плохо не только влёт...

Раненая ласка ползла по медвежьей тропе прямо на Махмутова и Махмутов попятился, отступая перед ее взглядом. Задняя лапка беременной ласки была отстрелена и ласка тащила за собой кровавую кашу еще нерожденных, неродившихся зверьков, детей, которые родились бы на час позже, когда мы с Махмутовым были бы далеко от сломанной лиственницы — родились бы и вышли в трудный и серьезный таежный звериный мир.

Я видел, как ползла ласка к Махмутову, видел смелость, злобу, месть, отчаяние в ее глазах. Видел, что там не было страха.

— Сапоги прокусит, стерва, — сказал геолог, пятась и оберегая свои новенькие болотные сапоги. И, перехватив берданку за ствол, геолог подставил приклад к мордочке умирающей ласки.

Но глаза ласки угасли и злоба в ее глазах исчезла.

Подошел Пикулев, нагнулся над мертвым зверьком и сказал: — У нее были храбрые глаза.

Что-то он понял? Или нет? Не знаю. По медвежьей тропе мы вышли на берег речки, к палатке, к месту сбора. Завтра мы начнем обратный путь — только не этой, другой тропой.

В. Шаламов

СТИХИ О ДОСТОЕВСКОМ

I

Метафизические потасовки
Его бунтовщиков, его шутов
Влекли: и неприкаянный, неловкий —
Айда! Фью-фью! На донья кабаков
Версилова, Лебядкина, Ивана!
Куда: в Содомы ли к Мадонне званы?
Не ведаю. Но, падая, звени!
Вверх ухали какие-то тормашки...
А ну-ка, Грушенька, еще спляши!
А барышня Барашкова бумажки
Рогожинские жги! Ой, хороши!
О, игры *достоевские*: рулетка!
На волю вырываемся из клетки...
И если Бога нету: пистолет
Кириллова...

II

Сыны и дочери степей Канзаса:
Перо склоняется, а не *пальто*!
Для развлечения точу балясы
И о литературе кое что
Рассказываю. Бьются в лихорадке
Студенты: *достоевские* загадки
Замучили, но нравится им ад
И рай неистового карнавала —
Скандала девки, барыни, купца,
Студента, старца, черта, генерала,
Любого действующего лица:
Задиры-мученика! А на Пасху
Я еду в Мексику! Но только маску
Ее таинственную увидал...

ИЗ ПОЭМЫ ИГРАЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК

Георгию Викторовичу Адамовичу

О Лермонтове *Ангела*, о Блоке,
О музыке и о голубизне
Небес: и чтобы никакие сроки,
И чтобы наяву, а не во сне!
Романтика и горькая усмешка,
А развлечение: орел ли, решка?
Конечно, проигрыш, а если куш!
Что́ золото! Но *достоевский* вызов!
Гремело Монте-Карло, а закат
Блаженно-тихий, золотисто-розов:
Таинственный раскинувшийся брат.
Разнообразные беседы. Ницца,
Где умирала тютчевская птица...
— Пойдемте на Английский променад!

С А С С Е Т Т А

Непримечательная мразь,
Хочу я обернуться боровом,
И чтобы Муза, девка с норовом,
О мой хребет бы оперлась.
Хрю-хрю, — я служка твой, Красавица,
Щетинка, рыльце, пяточок...
Сассетта, до чего мне нравится
Твой рае-радостный мазок!
Лужайкой зеленело море
И чернью боров, а она
С лазурью кукольной во взоре —
Была собой увлечена.
Вишневая, и белокура,
И зеркальце в ее руке,
Капризная родная дура:
С тобой навеки — налегке...

Юрий Иваск

ПЕРЕВОРОТ

В кабинете президента республики было два телефонных аппарата. Один из них был его личный телефон, номер которого знали очень немногие. И вот именно по этому номеру ему позвонили в десять часов вечера, после бурного дня уличных беспорядков. Президент поднял трубку и сказал восторженным тоном:

— Алло?

— Господин президент, — сказал знакомый голос, — вы разрешите мне напомнить вам о разговоре, который был у нас с вами в лесу некоторое время тому назад? Мы ждем вашего решения.

— А, это вы, — сказал президент. — Я должен констатировать, что вы не сдержали вашего слова, и именно это меня огорчает. Я был о вас лучшего мнения.

— Что вы имеете в виду, господин президент?

— Вы сказали, что вы против революции и против гражданской войны. Но то, что происходит сейчас — не кажется ли вам, что это похоже на начало гражданской войны?

— Господин президент, — сказал голос, — я также против всего этого, как и вы. Но это не наша вина, и мы готовы сделать всё, чтобы это остановить. Мы этого не делаем именно потому, что мы до последней минуты не хотим прибегать к насилию. Если вы уйдете в отставку, распустите парламент и правительство и передадите нам власть, порядок будет восстановлен в несколько часов.

— Может быть, мне придется сделать это, — сказал президент. — Но не сейчас. Не рассчитывайте на это. И помните, что перевороты очень редко дают положительные результаты.

Очередное заседание правительства происходило на следующее утро. Открывая его, президент сказал:

— Я даю слово министру внутренних дел для доклада о положении в стране.

Толстый, как всегда задыхающийся, министр, вытирая платком лысину, долго говорил о конфликтах в металлургической промышленности, о неустойчивом положении в шахтах, о недостаточности полицейских сил, о демонстрациях крайне левых элементов. Он кончил тем, что сказал: — правительство должно пересмотреть свою политику.

— Что, собственно говоря, вы имеете в виду? — спросил президент. Он понимал, что министр внутренних дел был совершенно растерян, не имел представления о том, что можно было и что нужно было сделать, и говорил только для того, чтобы что-то сказать.

— Я имею в виду такое изменение правительственной тактики, которое положило бы конец тому, что происходит сейчас.

— Какие меры вы предлагаете конкретно?

— Я предоставляю это на усмотрение Совета министров. Решение этого вопроса должно быть делом всего правительства в целом.

После министра внутренних дел выступил министр финансов. Это был высокий худой человек со скужающим выражением лица. Он был автором нескольких трудов об экономических проблемах современности, и его теория отличалась редкой прямолинейностью. Основой всего должно быть поощрение граждан к тому, чтобы они прежде всего думали о сбережениях. Что касается государства, то средства, которые были ему необходимы, должны были дать налоги. Но это всегда излагалось в значительно более сложной форме. «Колебания процентного коэффициента налоговых отчислений...» «Тенденция к развитию и поощрению мероприятий, ставящих своей целью движение к экспансии, энергично поддерживаемое режимом экономии в наиболее жизненных отраслях промышленности и труда...» «Спрос, вызывающий повышение предложения, ограниченного необходимостью не перейти того предела,

за которым возникает опасность или угроза инфляции, и борьба против инфляционных течений, которые...»

— Девальвация, о которой упорно говорят последнее время, могла бы подорвать доверие к нашей валюте со стороны иностранных государств, — говорил министр финансов. — Мы были вынуждены повысить ставки заработной платы в таких размерах, которые еще недавно показались бы невозможными. Но — кто говорит о повышении ставок, говорит о повышении налоговых поступлений. Главное — это доверие и устойчивость нашего положения, которое, несмотря на колебания, продолжает оставаться органически здоровым. Я имею в виду доверие граждан нашей страны к тому, как управляется экономическая жизнь государства, и доверие со стороны заграницы.

Лицо президента сохраняло свое всегдашнее выражение, казалось, что он дремлет с открытыми глазами. Но он следил за речью министра финансов, и его раздражало такое слепое непонимание: о каком доверии граждан могла идти речь в эти смутные дни? И о каком доверии заграницы, где арг котиrowался на сорок процентов ниже своей номинальной стоимости? И как можно было говорить об органически здоровом положении страны? Он подумал, что человек в кепке был прав, что, в сущности, возражать ему невозможно: правительство действительно состояло из людей, неспособных выполнять те обязанности, которые были на них возложены.

Во время заседания правительства, недалеко от парламента происходил многолюдный митинг, организованный одним из союзов студентов. Лохматый молодой человек, стоя на крыше автомобиля, кричал, что всему этому надо положить конец, что великий мыслитель нашего времени, Мао, уже давно говорил о необходимости силой оружия свергнуть строй империалистов и реакционеров, и что надо взять приступом парламент. Плотными рядами манифестанты двинулись по направлению к зданию, где происходило заседание правительства. Но им преградили дорогу многочисленные отряды полицейских. Тогда демонстрация повернула обратно. В витрины кафе

и магазинов полетели булыжники. Полицейские пустили в ход слезоточивые бомбы. Манифестанты скандировали: Мао! Мао! Другие кричали — долой правительство! Полицейские начали действовать дубинками и арестовали несколько человек. Через два-три часа манифестация кончилась. Но было ясно, что каждую минуту беспорядки могли вспыхнуть в другом месте города. Красивая девушка, с искаженным от бешенства лицом, кричала, обращаясь к полицейским: убийцы! палачи!

Вечером стало известно, что самое крупное предприятие страны — завод, фабриковавший автомобили, грузовики, тракторы и сельскохозяйственные машины, закрыт на неопределенное время. В коммюнике, опубликованном после этого, дирекция завода сообщала, что все иностранные заказы были аннулированы, так как заказчики отказывались платить в твердой валюте, и что завод не располагает средствами для того, чтобы продолжать работу в этих условиях. В небывалых размерах увеличилось количество грабежей и нападений на банки и магазины.

Сидя у себя в кабинете, президент все время получал сообщения о том, что происходит в стране и, главным образом, в столице. Горели подожженные неизвестно кем склады бензина, и это создавало опасность для всех домов этого района города. В густом дыму и копоти, как призраки, двигались пожарные. Время от времени возникала стрельба, потом стихала, и тогда ясно становился слышен гул горящего бензина. И когда второй раз за последние два дня президенту позвонил человек в кепке, президент сказал:

— На этот раз я ждал вашего звонка. Вы знаете, что положение катастрофично. Что вы можете сделать? И что вы предлагаете?

Спокойный голос ответил:

— Господин президент, я должен вам сказать, что я несколько изменил свою точку зрения. Я считаю теперь, что ваша отставка не необходима. Но вы должны передать фактическую власть мне, и я вам ручаюсь, что в самое короткое время мы восстановим порядок.

— Хорошо, — сказал президент. — Приезжайте сюда, я распоряжусь, чтобы вас пропустили.

Через двадцать минут большая синяя машина въехала во двор президентского дворца и из нее вышел человек без шляпы, в черном костюме. Когда президент увидел его, он его сначала не узнал: этот человек был меньше всего похож на его собеседника в кепке. Через полчаса после его приезда на экране телевизора появился спикер, который сказал:

— Внимание! К вам обращается президент республики!

Лицо спикера исчезло, и вместо него появилось лицо президента. Президент сказал:

— Гражданки и граждане! Положение в нашей стране с каждым часом становится все более и более тревожным. Я считаю своей обязанностью сделать все, чтобы остановить тот процесс хаоса, беспорядка и разложения, который принимает такие размеры, что это угрожает жизни и спокойствию многих из вас. В исключительных обстоятельствах необходимы исключительные меры. С этой минуты, когда я обращаюсь к вам, я объявляю роспуск парламента. Правительство выходит в отставку. Когда будет восстановлен порядок, я назначу новые выборы. Я возлагаю всю полноту государственной власти на человека, которому предстоит трудная задача — восстановить всеми средствами нормальное положение в стране. Вся власть будет в его руках, и я оставляю за собой только президентские функции. Вот этот человек, которому с сегодняшнего дня я поручаю то, что для нас важнее всего — спасение нашей страны.

И тогда рядом с президентом появился его собеседник с холодным и спокойным выражением лица. Он сказал:

— Господин президент, благодарю вас за доверие, которое вы мне оказываете — честь, которую я бесконечно ценю. Я хочу сказать только несколько слов. Мы будем действовать, а не говорить. Незначительное и буйное меньшинство ставит под угрозу безопасность и спокойствие страны. Огромное большинство наших граждан воодушевлено самыми положительными чувствами. Мы сделаем все, чтобы оградить право

этого большинства на нормальную и честную жизнь — и для того, чтобы достигнуть это, мы не остановимся ни перед чем, и, поверьте, это не пустые слова.

Выступление президента и его собеседника комментировалось на следующий день во всех газетах. Левая печать возмущалась тем, что в стране вводится режим диктатуры. В передовой статье коммунистической газеты было сказано, что рабочий класс не позволит никому посягать на его права и на его свободу. В террористическом листке, давно запрещенном министерством внутренних дел, но распространявшемся нелегально, было напечатано заявление с огромным количеством восклицательных знаков и красных строк. В нем говорилось, что буржуазия, крупный капитал и все, кто занимают хлебные места в стране, обречены на беспощадное уничтожение. Правые газеты писали, что для разрешения государственного кризиса есть средства, которые правительству дает конституция, и нет надобности прибегать к крайним мерам. В газете прокитайского направления один из сторонников Мао Цзе-дуна, профессор социологии в университете, писал, что единственный выход из положения это вооруженное восстание и захват власти передовыми элементами рабочего класса. В час дня британский посол, который сидел в свой автомобиль, чтобы ехать на завтрак, устроенный представителями печати, был схвачен несколькими вооруженными людьми и увезен в неизвестном направлении. Его шофер был тяжело ранен: он получил удар железной палкой по голове и был отправлен в госпиталь. Через день после этого было сообщено, что британский посол — заложник террористической организации и что он будет освобожден только после того, как будут отпущены из тюрьмы все восемьдесят шесть террористов, арестованных за попытку экспроприации банков, грабежи и поджоги. Кроме этого, террористическая организация требовала уплаты ста тысяч долларов.

В два часа дня в квартире профессора, сторонника Мао Цзе-дуна, раздался звонок в дверь. Горничная отворила и увидела трех человек в одинаковых синих костюмах. Лица их

отличались, как ей показалось, удивительной невыразительностью. Не отвечая на ее вопрос, что им нужно, эти три человека прошли в столовую, где профессор и его жена пили кофе. Профессор с удивлением сказал:

— Кто вы такие и что вам нужно?

— Потрудитесь следовать за нами, — сказал первый из вошедших.

— Какое вы имеете право это требовать? — сказал профессор. — Вы, вероятно, не знаете, с кем имеете дело? Будьте любезны немедленно покинуть мою квартиру, иначе я вызываю полицию.

— Это не арест и не насилие, — сказал тот же человек. — Вы приглашаетесь в здание министерства внутренних дел для короткого разговора, после которого мы вас доставим домой.

— Я вас не знаю и не хочу знать, — сказал профессор, — и я не допущу нарушения моих прав. Я отказываюсь следовать за вами.

— Не заставляйте нас применять средства, которых мы хотели бы избежать, — сказал второй человек в синем костюме. — Ни вашим правам, ни вашей безопасности ничто не угрожает.

— Я уступаю грубой силе, — сказал профессор, — но я протестую и заявляю вам, что это вам даром не пройдет. У меня есть друзья, которые...

— Ваши друзья нас не интересуют, — сказал третий человек. — Но мы даром теряем время. Потрудитесь следовать за нами.

Он взял профессора под руку. Профессор был грузный и высокий мужчина, но ему показалось, что его просто сняли со стула и увели.

У подъезда его дома стоял черный автомобиль. Один из его посетителей сел за руль, двое других на заднее сиденье. Профессор был посажен между ними, и автомобиль тронулся. Через десять минут он остановился у здания министерства внутренних дел. Профессора провели по коридорам и ввели

в большой кабинет, где за столом сидел очень хорошо одетый широкоплечий человек — с таким же равнодушным выражением лица, как у тех, что сопровождали профессора.

— Я протестую... — начал профессор.

Человек, сидящий за столом, остановил его движением руки и сказал:

— Ваш протест совершенно беспредметен. Я распорядился доставить вас сюда для того, чтобы поставить вас в известность о некоторых вещах, которые касаются вас лично. У каждого человека есть право рассуждать и думать так, как он хочет, и иметь те убеждения, которые ему кажутся наиболее целесообразными. Даже в том случае, если это может рассматриваться как проявление агрессивной глупости. Распространение этих идей, это его частное дело. Но вопрос этот приобретает другой характер, когда государство вынуждено оплачивать деятельность, явно направленную против его интересов. Вы получаете ваше профессорское жалованье, преподаете социологию в университете и в ваших лекциях доказываете преимущества маоизма перед всеми другими государственными концепциями. Повторяю, это ваше дело. Но правительство этого рода деятельность больше оплачивать не намерено. Поэтому с сегодняшнего дня вы не профессор университета и ваша преподавательская деятельность кончена. Вы увольняетесь без сохранения жалованья и без права на какое бы то ни было возмещение убытков. Вы можете продолжать вашу работу в газете. Но я предупреждаю вас, что каждый раз, когда в ваших статьях будут призывы к бунту и свержению существующего строя, вы будете платить за это крупный штраф. Я хотел бы еще подчеркнуть, что ни ваши права, ни ваша свобода слова ничем не ограничены, кроме, конечно, тех штрафов, о которых я только что говорил.

— Я считаю, — сказал профессор, — что все это абсолютно недопустимо и незаконно. Я не позволю никому так обращаться со мной, я автор нескольких трудов по социологии, мое имя известно за пределами нашей страны, и вы жестоко

ошибаетесь, если думаете, что я могу согласиться на то, что вы говорите.

— Мне совершенно не нужно ваше согласие и меня не интересует ваше мнение. Ни то, ни другое не имеет никакого значения. Запомните, что с сегодняшнего дня вход в университет вам запрещен и жалования вы не получите.

Человек, сидящий за столом, нажал кнопку звонка, и в его кабинет вошли те трое, которые привезли профессора в автомобиле.

— Доставьте профессора домой, — сказал человек, сидящий за столом.

И всё с той же деловитой бесшумностью люди с невыразительными лицами увели профессора из кабинета.

Несколько позже по радио было передано следующее заявление того человека, которому президент передал полноту власти:

— Террористическая организация похитила сегодня днем иностранного дипломата, аккредитованного в нашей стране, британского посла. Взамен его освобождения террористы требуют выкупа в сумме ста тысяч долларов и освобождения членов их организации, находящихся в тюрьме. Это поведение организации не может рассматриваться как политический акт: это самый презренный вид шантажа, тем более, что британский посол — отец семейства, и жертва этого уголовного поступка не только он, но и его семья. Ни о каком удовлетворении требований, выдвинутых похитителями, речи быть не может. Но я предупреждаю их, что если через двадцать четыре часа послу не будет возвращена свобода и он не будет доставлен невредимым в безопасное место, то из находящихся в тюрьме восьмидесяти шести террористов сорок три будут расстреляны. Если через сорок восемь часов посол не будет освобожден, то будут расстреляны остальные сорок три террориста. Кроме того, мы знаем все имена и адреса членов террористической организации. Если ее деятельность не будет прекращена, то их всех постигнет участь их товарищей, находящихся в заключении.

Поздно вечером посол вернулся к себе домой. Он объяснил, что его похитители, занимающие виллу недалеко от города, доставили его к первой стоянке такси, и он приехал домой. Он сказал, что обращались с ним вполне корректно и ничем ему не угрожали. Когда его спросили, где именно находится вилла, в которой он был, он ответил, что этого сказать не может, так как его везли туда с завязанными глазами и отвезли отсюда в таком же виде. — Я думаю, однако, — сказал посол, — что виллу эту я узнал бы, если бы попал туда опять.

По словам посла, его внимание привлекли две вещи: во-первых, портреты Мао Цзе-дуна, Ленина и Че Гевары, во-вторых — дурной запах его похитителей. — Я думаю, что в этом смысле они напоминали гуннов или воинов Чингис-хана, — сказал посол.



На следующий день после освобождения британского посла президент пригласил к себе человека в кепке. Когда президент думал о нем, он всегда представлял себе именно человека в кепке, хотя он прекрасно знал его фамилию и знал то, что человек этой кепки никогда не носил, за исключением того единственного случая, когда он заговорил с президентом в лесу. Но для президента он остался человеком в кепке — и это приобретало особый смысл, точно определяя моральный облик его собеседника. Человек в кепке, это было символическим обозначением, настолько врезавшимся в память президента, что он не мог от него отказаться. Шел дождь, было сыро, и в президентском кабинете топился камин. Когда Вильямс приехал, президент пригласил его в кабинет. Вильямс сел в кресло и вопросительно взглянул на президента.

— Я пригласил вас сегодня, — сказал президент, — не с тем, чтобы задавать вам вопросы практического порядка. О том, что происходит, я достаточно осведомлен. Скажите, если бы посол не был освобожден, вы действительно расстреляли бы сорок три террориста?

— Конечно, нет, — сказал его собеседник. — Но я сообщил бы, что они расстреляны. Видите ли, с этими террористами, к сожалению, нельзя действовать так, как это полагалось бы при демократической системе. Не потому, что демократическая система плоха, а оттого, что эти примитивные люди понимают только один язык, язык угрозы и силы.

— Можно вас спросить еще об одном? — сказал президент. — Что вас заставило принять решение так действовать, как вы действуете сейчас, я хочу сказать — заняться именно политической деятельностью? Стремление к власти? Ваши политические убеждения? Я спрашиваю вас об этом как человек, который мог бы быть вашим отцом. Ваша биография, казалось бы, совершенно не подготовила вас к политической карьере. Вы человек состоятельный, никак нельзя сказать, что вы обойдены судьбой. Насколько я помню, вы никогда не входили ни в какую партию. Если бы вы сказали, что вами движут побуждения личной выгоды, это было бы неубедительно, и я бы вам не поверил.

— Видите ли, господин президент, — сказал Вильямс, — я действительно мало похож на политического деятеля, и ни одно из тех побуждений, о которых вы говорите, не заставило бы меня делать то, что я делаю сейчас. У меня нет ни стремления к власти, ни очень определенной политической концепции, ни даже желания перестроить общество. Я много раз говорил себе: какое мне дело до того, что происходит? Я могу уехать в Швейцарию, поселиться там, погрузиться в личную жизнь и заняться тем, что меня интересует — историческими исследованиями. У нас только одна жизнь и тратить ее на политическую деятельность нелепо, гораздо лучше жить, как человек, а не как гражданин, который заботится о благе своих соотечественников. Это мне представляется бесспорным. Но, по-видимому, Аристотель был все-таки прав: человек действительно животное общественное. И есть вещи, которые не могут его не возмущать. Например. Когда была война, я, как вы знаете, поступил добровольцем в английскую армию и был летчиком. Почему? Потому что я считал, что национал-соци-

алистическая Германия должна быть побеждена, и для этого надо сделать всё. Эта плебейская философия малограмотных преступников во главе с Гитлером не должна была ни в коем случае восторжествовать. Против этого надо было бороться — и я это делал.

— Я это понимаю, — сказал президент. — Но это была война и надо было сделать выбор: либо примирение с насилием, либо борьба. А теперь?

— Теперь, господин президент, происходит нечто, с чем так же трудно примириться, как в свое время с национал-социализмом. Это носит несколько другой характер, но по природе своей это приблизительно то же самое. Заметьте, что во время революционных потрясений к власти почти всегда приходит незначительное меньшинство. Вспомните октябрьский переворот в России. В условиях демократического голосования большевики никогда не пришли бы к власти. Но эти люди захватывают ее. Против них выступают социалисты и демократы, поражение которых неизбежно, так как они противники насилия и террора. Вот в чем заключается их ошибка. Они пытаются действовать убеждением, дискуссией, ссылкой на то, что их поддерживает большинство, то есть доводами, которые являются неопровержимыми с их точки зрения. Но против них — люди, не останавливающиеся ни перед чем, и которым совершенно чужды демократия и этические соображения. Они действуют силой и террором. Вот почему их победа обеспечена. Но достаточно понять эту несложную истину и действовать против них их же методами — и тогда вместо победы этих людей ждет поражение. Есть еще одно — это агрессивная глупость экстремистских движений. Почитайте их журналы и газеты, послушайте их выступления. Это прежде всего отличается идеологическим убожеством и беспомощной глупостью. Если бы это было только разглагольствованием и пропагандой, было бы еще полбеда. Но это приводит к бунту, грабёжам, налетам на банки, которые называются экспроприацией, но, в сущности, ничем не отличаются от уголовщины. Или, как это только что было, к похищениям ни в чем непо-

винных людей и требованиям выкупа. И этому следует положить конец. Это одна сторона вопроса. Другая, не менее важная, это то, что нельзя допускать к власти людей, неспособных ее осуществить и вдобавок нечестных. Людей, которые рассматривают государственный аппарат как свою собственную вотчину, которые назначают на самые лучшие посты своих друзей или родственников и которые, в сущности, занимаются тем, что легальным путем обкрадывают своих соотечественников. Именно из таких людей, как вы знаете, состояло правительство, которое вы заставили уйти в отставку. Вот те соображения, которые побудили меня заняться тем, что вы называете политической деятельностью. Скаасть, чтобы к этому у меня было призвание, я никак не могу. Но я не могу побороть ни того отвращения, которое у меня вызывает то, что я вижу, ни того презрения, которого заслуживают все эти люди. Они должны быть отстранены — и когда это будет сделано, уверяю вас, господин президент, я лишней минуты не останусь у власти.

— Вы знаете, — сказал президент, — я много раз слышал то, что французы называют *profession de foi*. Но я не помню ни одного случая, когда побудительными причинами к политической деятельности были бы такие чувства, как отвращение и презрение. Мне кажется, что вы не до конца высказали то, что вы думаете. Есть что-то другое за этим. И это другое — это, может быть, все-таки то самое желание перестроить общество, которое вы у себя отрицаете.

— Вы знаете, господин президент, мне всегда казалось, что так называемые строители нового мира и нового общества — люди чаще всего фанатически настроенные и неумные. Они убеждены в том, что они знают, каким должен быть мир. Но кто может это знать? Почему люди, стоящие во главе крайних партий и не отличающиеся чаще всего ни особенным умом, ни культурой, ни глубоким пониманием, — почему они всем объясняют, как надо жить, что следует делать и как следует думать, и тех, кто с ними не согласен, они уничтожают или ссылают на далекий север? Заметьте, что среди них

есть люди идеально честные и есть герои. Но умных людей среди них очень мало, и это обыкновенно мерзавцы или, в лучшем случае, карьеристы. Если вы меня спросите, каким, по-моему, должно быть общество — я не могу вам ответить на этот вопрос. Я не знаю. Но я знаю, так мне кажется, каким оно не должно быть.

— Но сделать так, чтобы общество перестало быть таким, каким оно не должно быть, мой милый Вильямс, это и значит стремиться к тому, чтобы его перестроить. И чем, в таком случае, вы отличаетесь от создателей нового порядка вещей, о которых вы так жестоко отзываетесь? Тем, что вы умнее и культурнее их? Это правда. Но это только градация.

— Господин президент, я не могу поверить, что вы лично не хотели бы изменить то, что есть сейчас. Если бы это было так, вы бы со мной не разговаривали.

— Нет, конечно, перемены я считаю крайне желательными. Единственно, во что я не верю, это в возможность изменить человеческую природу.

— Если нельзя ее изменить, то можно ограничить ее наиболее отрицательные проявления.

— Что в таком случае остается от свободы?

— Свобода остается в полной силе. Но надо провести границу между политическими убеждениями, политическими манифестациями и уголовными актами. Демонстранты, которые кричат — долой империализм! долой правительство! — это люди, которые воодушевлены определенными идеями. Какова их ценность — другой вопрос, но иметь эти взгляды и бороться против империализма — это их неотъемлемое право. Но когда манифестанты начинают поджигать автомобили или грабить магазины, это уже не политика, это уголовные поступки. Политический терроризм, это тоже уголовщина. И вот эту грань никогда не следует забывать. Устраните из экстремистских партий уголовный элемент и наиболее буйных крикунов — и порядок будет восстановлен.

— Именно к этому вы и стремитесь?

— Не только, господин президент, но в значительной сте-

пени. Мы невольно склонны пренебрежительно относиться к среднему человеку, так называемому обывателю. Это, я думаю, ошибка. Когда происходит война, то именно этот обыватель идет защищать свою страну, именно этих людей хоронят в общих могилах после боя, именно они расплачиваются за все глупости, которые делает правительство страны, гражданами которой они состоят. Вы скажете, что это всегда было так, и будете правы. Почему сотни тысяч — в прежнее время, а теперь миллионы — вооруженных людей идут против других миллионов вооруженных людей и гибнут? Сколько народа погибло во второй мировой войне — потому что с одной стороны был малограмотный фанатик и сумасшедший, германский диктатор, а с другой — палач и азиат в Москве? Конечно, всякая война, это вспышки политического безумия. Но важные его возбудители, их надо обезвредить. Когда мы переходим к мирной жизни — почему мне, среднему обывателю, коммерсанту, бухгалтеру, рабочему, мне мешают спокойно жить и работать? Почему я должен протестовать против империализма или колониализма, почему я должен поддерживать то или иное так называемое революционное движение? Почему разбивают витрины моего магазина или кафе, почему орут под моими окнами и почему, если я имею несчастье оказаться на улице и попасть в манифестацию, мне грозит арест и многочасовое пребывание в комиссариате полиции, не говоря о том, что я могу быть тяжело ранен? Потому что за десятки тысяч километров отсюда в нищей стране, населенной желтыми людьми, есть китаец, которого зовут Мао Цзе-дун и о котором огромное большинство его европейских сторонников не имеет ни малейшего представления? Потому что в Южной Америке был героический и неукротимый человек по имени Че Гевара, который всех собирался освободить, забывая, что так называемое революционное освобождение — это переход в худший вид рабства — и которого остановила только смерть? Потому что в Москве неумные и недостаточно образованные люди в длинных речах сами себе рассказывают о том, какие они счастливые и хорошие, умные и благородные, и действуют

так, как некоторые персонажи из книги «Джунгли» Киплинга? Какое мне дело до всего этого? Дайте мне возможность нормально жить, воспитывать моих детей, ездить за город в конце недели и благополучно дожить до того часа, когда меня отвезут на черном катафалке недалеко, на окраину города и положат мой гроб в могилу или семейный склеп. Вот что мне, обывателю и честному гражданину, нужно. Я готов, так и быть, оплачивать из своих средств никому не нужных паразитов и бюрократов, министров финансов, налогового инспектора и даже строительство подводных лодок, которые никогда не будут пущены в ход, или содержание армии, которая не может быть ни для кого угрозой, но совершенно так же не может быть защитой моей страны, потому что в том маловероятном случае, если начнется война, нам придется иметь дело с противником, которому потребуется полчаса для того, чтобы от нашего государства не осталось ничего, кроме развалин и обуглившихся трупов. Я согласен, как видите, на многое. Но я хочу спокойно жить — и возможность достигнуть этой цели, то есть дать гражданам моей страны нормальное существование — эта цель представляется мне самой важной. И если для этого надо применить драконовские меры, у меня колебаний не будет. В настоящее время мы подготавливаем к работе несколько отрядов специального назначения. Их цель — положить конец грабежам, независимо от того, кто их совершает — уголовные преступники или люди, которые действуют, как они говорят, по политическим убеждениям. Это наша первая задача. Затем мы возьмемся за чистку среди экстремистских элементов. Потом надо будет привести в порядок наш бюджет и использовать государственные средства не для того, чтобы кормить целую армию паразитов, директоров государственных предприятий, назначенных туда потому, что они друзья или родственники того или иного министра, а для того, чтобы строить дома, дороги, больницы, спортивные стадионы и учебные заведения. Как видите, господин президент, работы предстоит много.

— Я искренне желаю вам успеха, — сказал президент. —

Но не забывайте одного: нет ничего легче и соблазнительнее, чем путь к диктатуре.

— Я тоже думаю об этом. Но, в конце концов, может быть такое положение, при котором крайние меры, не стесненные решениями парламента, себя оправдывают. Я думаю, что именно в таком положении страна находится теперь. Во всяком случае, я обещаю вам, господин президент, что я буду неизменно обращаться к вам за советом — в том случае, когда у меня возникнут сомнения в том, как надо действовать.

— Быть воодушевленным стремлением к справедливости, как вы, это, конечно, хорошо, — сказал президент, — и я это всячески приветствую. Но стремление к справедливости само по себе не предохраняет вас от возможности ошибок.

— Хорошо, господин президент, — сказал Вильямс, вставая и собираясь уходить. — Я буду вас держать в курсе всех моих проектов и планов.

(Окончание следует)

Гайто Газданов



Мы говорили о свободе воли,
О Зле и о Добре мы говорили,
О Боге, и о смерти, и о счастье
(И снежное повечерело поле).
Мы говорили об Экклезиасте,
О карме, Достоевском и Эххиле.

Мы принимали белые пилюли,
Усталые лежали на постели.

Мы думали о том, что постарели,
Что было в жизни очень много боли.
Мы говорили... о свободе воли.

И доброго мы ожидали знака
От зимних звезд, от знаков Зодиака.



Не кажется ли тебе,
что после смерти
мы будем жить
где-то на окраине Альдебарана
или в столице
Страны Семи Измерений?

Истлеет Вселенная,
а мы будем жить
где-то недалеко от Вселенной,
гуляя, как ни в чем не бывало,
по светлому берегу Вечности.

И когда Смерть
в платье из розовой антиматерии,
скачав от безделья,
подойдет к нам опять,
мы скажем: прелестное платье!
Где вы купили его?



Помню изгородь, помню жимолость,
На крыльце серебристую изморозь,
А на окнах — морозную живопись.

Это память плющем цепляется,
А стена — завалилась, заляпана
Черной известью, шлаком, слякотью.

...Поплыли дымки — гуси-лебеди
И домашний очаг — бомбой вдребезги:
Ну, друг Иов, живи — в страхе-трепете.

Дым не хуже был, чем у Авеля...

О, дыхание дымного ангела
Там, где армия жгла и грабила!



Был океан лазурно-фиолетов,
И это было, может быть, ответом.
Был небосклон почти такого цвета,
Как цвет акации прохладным летом.
Переходило небо в тон опала,
И это — тоже, как-то, утешало.
Была вода в графине и бокалах
Собранием сияющих кристаллов.
Горсть виноградин, нежных изумрудин,
Как светляки, мерцала нам на блюде.
Тебе не жалко, что и мы забудем
Цвета, ненужные серьёзным людям?

Игорь Чиннов

БОРИС ПАСТЕРНАК

КИНОСЦЕНАРИЙ

Гос. дача Хрущева.

Просторная гостиная. В центре — массивный стол из ореха. Да и все остальное: — кресла, диван, шкафы, всё массивное и из ореха. Панели стен тоже ореховые. Повсюду ковры. Под потолком — хрустальная люстра. На стенах — картины, изображающие революционную деятельность Ленина.

За столом сидит курносая девочка лет пяти с бантом на голове; перед ней — тарелка с манной кашей. Но девочка к каше не прикасается, она ковыряет ложкой клеенку и лениво разглядывает присутствующих.

Хрущев, толстый, коротконогий, видимо, вернулся с охоты. На нем байковый костюм, высокие резиновые сапоги, на животе висит патронташ. Лицо круглое, шея бычья, глаза маленькие, острые, как у хорька, губы беспокойные — все время в движении. Он держит в руке охотничье ружье.

В креслах сидят: секретарь ЦК КПСС, Михаил Суслов и зав. отделом культуры ЦК, Дмитрий Поликарпов. Суслов худой, высокий, лицо аскетическое. Он в пенсне. На коленях у него несколько иностранных газет, журналов и блокнот. Время от времени Суслов похрустывает пальцами. Поликарпов чем-то похож на Суслова. Но он плотнее и на голове больше волос. Оба одеты в совершенно одинаковые костюмы, это что-то вроде формы ЦК: широкие брюки, подложенные плечи в пиджаках, длинные рукава, на ногах туфли утягами, и оранжевые галстуки, завязанные квадратной бомбочкой.

Слева от Хрущева стоит генеральный секретарь Союза Советских писателей Алексей Сурков. Он среднего роста, крепкий, с фотогеничным лицом и с спадающими на лоб воло-

сами. Сурков нервно курит. Одет он в элегантный костюм западного покроя, из шелковистого материала.

— Шляпы! Проворонили! — сердито говорит Хрущев, — Не выйди «Доктор Живаго» в Италии, не было бы этой петрушки...

— Я сделал все, что мог, Никита Сергеевич, — говорит Сурков.

— Слыхал. Поликарпов вас и в Рим посылал. Покуражились там, товарищ Сурков. А толку с гулькин нос. Итальянский издатель, хоть и коммунист, а показал вам шиш. «Доктор Живаго» вот уже сколько... два года разгуливает по белу свету и позорит нас...

Суслов спокойно перебивает:

— После драки кулаками не машут, Никита Сергеевич. Хрущев швыряет ружье на диван.

— Это правильно, товарищ Суслов. А только я вам вот что скажу. При Сталине даже мышь не могла прошмыгнуть через Советские границы. Сталин плевал на Запад. А я распахнул окно. И нате вам. Хлынуло. В обе стороны. Кому навар? Империалистам, — вдруг Хрущев хватается за живот и морщится. — В брюхе чего-то колит. Заехали с Микояном после охоты в подмосковный колхоз, к дружку, молочка попить. Попили.

— На зайцев ходили? — примирительно спрашивает Сурков.

— На них. Да разве это охота? Туда нельзя, сюда нельзя. Хоть и в правительственном заповеднике, а без охраны ни шагу. Я целюсь в зайца, глядь а с ним рядом мой цербер, комиссар. Ох, не весело быть коммунистическим вождем, товарищ Сурков.

— Пока существует капиталистическое окружение... — начинает Сурков.

— А где это вы этакий костюмчик отхватили? — перебивает Хрущев. — Небось в капиталистическом окружении? А ну, повернитесь. Шик-блеск. Надо бы и мне такой справить.

— Могу дать адрес портного, — шутит Сурков. — Париж, бульвар Капуцинов...

Хрущев, неожиданно вспыхнув, ударяет кулаком по столу и кричит:

— Падлы! Мишке Шолохову Нобелевской не дали, а этому червивому Пастернаку...

Девочка плачет. Хрущев подходит к ней, садится рядом.

— Да ты не скули, внучка, — ласково говорит он. — Ну-ка, давай каши пошамаем.

Суслов и Поликарпов переглядываются.

Хрущев кормит девочку кашкой, с ложки, умело.

— Докладывайте, товарищ Суслов, — одновременно говорит он.

Суслов, глядя в свой блокнот, произносит:

— Вчера Борис Пастернак послал в Стокгольм такую телеграмму: «Бесконечно благодарен, тронут, горжусь, изумлен, недостойн».

— Надо было оставить в тексте одно слово: недостойн, — перебивает Хрущев.

Суслов продолжает:

— Западным корреспондентам, на вопрос о том, как он реагирует на присуждение ему Нобелевской премии, Пастернак повторил те же слова. Вся мировая пресса сообщает об этом на первых страницах. Повсюду напечатаны его фотографии. Вчера же кое-кто из наших писателей, соседи Пастернака по Переделкино, поздравили его. Он получил немало телеграмм из-за рубежа.

— Черт! — восклицает Хрущев.

Суслов продолжает:

— Третьего дня, как вам известно, Никита Сергеевич, мы поместили в «Литературной газете» полностью бескомпромиссный ответ редколлегии журнала «Новый мир» Пастернаку по поводу «Доктора Живаго». Вчера «Правда» вышла с резкой критикой Пастернака. Сегодня обнародована аналогичная статья в той же «Литературной газете...»

Хрущев снова перебивает:

— А как эта баба... как ее... Ольга что-ли? Спит он с ней?

— Она его литературный секретарь, — отвечает Сурков.
— Она его друг, сама поэтесса... Да, между ними любовь... Кажется, она настраивает Пастернака против нас...

— При Сталине сидела бы уже, — бросает Хрущев.

— Она при Сталине уже сидела, Никита Сергеевич, — говорит Сурков.

— Я вот разжал кулак, свободу дал, болван... — Хрущев

встает из-за стола. — Ох, черт, опять колики в брюхе. Попили молочка у колхозничка. Микоян-то жив? Армяне они, правда, выносливые. Нина! Ни-на!

Суслов и Поликарпов сдержанно улыбаются.

В гостиную входит жена Хрущева. Она среднего роста, «в теле», с простым, но добрым лицом. На вид ей лет пятьдесят пять. Поверх темного платья надет передник.

— Здравствуйте, товарищи! — радушно произносит она.

— Ты чего там робишь?

— Зайцев твоих потрошу.

— Чего, прислуги нема?

— Я не барыня.

— Барыня-не-барыня, ты вот взгляни... костюмчик у Суркова... мне бы такой...

— Закажем.

— И в животе у меня чего-то бурчит... Слушай, ты прочитала «Доктора Живаго», как я тебе велел?

— Не кончила еще.

— В сон клонит?

— Малость.

— Про чего книга?

— Не знаешь что ли?

— Знаю не знаю, я хочу чтобы ты сказала, ты, простая советская баба.

— Я не простая. У меня образование...

— Про чего там?

— Про жизнь человеческую. Только мудрено очень.

— Про Ленина есть?

— Нету, — Нина понижает голос: — Я вам, товарищи, совет дам. У вас ведь «прокол». Послушайте «простую» советскую бабу. Напечатайте «Доктора Живаго». Ну, две-три тысячи экземпляров. Больше не раскупят. Прочитает только наша интеллигентная знать. Не пойдет она в народ. И никто ничего и знать о ней не будет... о книге...

Сурков перебивает:

— Я возражаю. Мы не имеем права спускать на тормозах очевидную идеологическую диверсию. На Западе роман используют, как бомбу...

Хрущев прикидывает на Суркова:

— А вы помолчите, товарищ ген. сек. Опустите зад в кресло и помолчите. Не один вы тут. Дайте другим высказаться. Мы, большевики, нуждаемся в советах. Может чаю хотите или ситра?

Сурков пожимает плечами, отходит чуть в сторону, садится.

— Значит, Нинок, — обращается Хрущев к жене, — ты считаешь, что надо опубликовать «Доктора Живаго» малым тиражом и таким образом свести на нет Нобелевскую премию?

— Надо было опубликовать давно, но и теперь не поздно, — говорит Нина.

Хрущев снова вспыхивает:

— Дура, Нинка, дура ты... Мы не имеем права спускать на тормозах, как сказал товарищ Сурков, идеологическую диверсию. На Западе роман используют, как бомбу, — Хрущев смеется. — Ступай, простая советская баба, на кухню и потроши зайцев. Сколько я там подбил?

Нина смущена, но хорошо владеет собой. Как ни в чем не бывало, она отвечает:

— Пяток.

Хрущев целует жену в щеку.

— Ну так вот, скажи охране, пусть отправят одного на дачу Суслова, одного на дачу Поликарпова и одного на дачу Суркова. И тебе робить будет поменьше, матинко. И вот что, нацеди-ка Боткинских капель...

Нина уходит. Сурков добродушно улыбается. Легкая улыбка касается и губ Суслова и Поликарпова. Хрущев опять садится за стол и начинает кормить девочку манной кашей.

— На Кузнецком мосту, товарищ Хрущев, — говорит Поликарпов, — в центре Москвы, спекулянты продают «Доктора Живаго» из-под полы.

Хрущев интересуется:

— Почем за штуку?

— 100 рублей.

Хрущев от неожиданности свистит.

— Это на русском языке. Эмигрантские издания. В Западной Германии, — говорит Суслов.

— Арестовывать их надо! — восклицает Хрущев.

— Эмигрантов? — спрашивает Поликарпов.

— Спекулянтов, — отвечает Хрущев и, опять же вспых-

нув, — в сторону кухни, кричит: — Нинка, почему ты пичкаешь внучку манной кашей, я же велел кукурузной...

Из кухни доносится голос Нины:

— Кукурузный король!

Хрущев хохочет и, резко оборвав хохот, говорит:

— Ну вот что, товарищи. Довольно лясы точать. Надо показать овощу этому кузькину мать. Передайте Пастернаку, что я ставлю вопрос ребром: либо он немедленно откажется от Нобелевской премии и напишет покаянное письмо мне и в «Правду», либо...

Дача Пастернака в Переделкино, под Москвой.

Столовая. Три двери: одна на веранду, уже закрытая (с осени ее закрывают наглухо), вторая на кухню и через кухню в «тамбур» с ванной и уборной, третья ведет в коридор, где двери в бывшую музыкальную, в комнаты жены и сына Пастернака; лестница ведет на второй этаж, в кабинет Пастернака.

Ближе к двухрамному окну, стоит обеденный стол; справа от него, в горшке, лиственное растение. В глубине комнаты — старомодный буфет, на котором — множество, выстроившихся в ряд, бутылок наливки, с горлышками затянутыми марлей. Слева — холодильник; напротив — тумбочка с телевизором. По стенам висят окантованные карандашные работы отца Пастернака. На некоторых из них — обнаженные натурщицы.

Под окном — радиатор парового отопления.

В общем, обстановка в доме весьма скромная.

На обеденном столе закуски, графинчик с водкой, глиняный кувшин с вином, фрукты, ваза с осенними цветами, в стороне — несколько газет и пачки иностранных писем и телеграмм.

За столом сидит Нина Табидзе. Ей уже далеко за пятьдесят, но на лице следы бывлой грузинской красоты. Полная, гладкие седые волосы, одета просто, поясница повязана шерстяным платком. Она много курит и часто кашляет. На кончике носа очки. Это делает ее чуть смешной. Она читает газету и явно, она в тревоге.

Из кухни слышатся голоса, один — густой и медленный, это голос жены Пастернака, Зины, другой — быстрый и тон-

кий, это голос домработницы Тани. Они чего-то там спорят, но слов разобрать нельзя.

Нина дымит папиросой и читает вслух:

— «...Мечтатель Живаго, ограниченный, злобствующий, мелкий буржуа, так же близок советским людям, как сам литератор, сноб — Пастернак. Он их враг и друг, союзник тех, кто ненавидит нашу страну и наш образ жизни. Это подтверждается овациями Запада. Пастернак дал в руки врагу оружие, он дал им сюю антисоветскую книгу. Это оружие — клевета на СССР...»

Во время чтения из коридора входит Пастернак. Нина не замечает его. Он среднего роста, плотный. Лицо из таких, которые запоминаются на всю жизнь. Оно деформировано: очень сильная, выступающая вперед нижняя челюсть, крупные орбиты глаз, семитский нос и губы. Волосы серо-седые, пепельные. Глаза живые, пытливые, метущиеся. Движения Пастернака плавны, говорит он слегка напевно, растягивая слова. Во всем его облике — поэтичность, темпераментность, непосредственность, увлеченность, инфантильность. Пастернак в ковбойке с засученными рукавами, брюки залатанные, на ногах — старые войлочные туфли.

Он сразу догадывается, что Нина читает вчерашнюю газету. Он оглядывает комнату, вероятно, не находя того, что ему надо. Потом он напускает на себя беспечность и веселье, хотя ему, конечно, не весело.

— Ниночка!

— Ой, Боря? — Нина вздрагивает.

— Испугал?

Нина торопливо сует газету под стол.

— Немного. Вы вошли так тихо,... — улыбаясь, говорит она.

— А почему вы читаете это «творчество» вслух?

— Вслух... противнее.

Пастернак приближается к столу, наливает из кувшина в стакан чуть-чуть вина, отхлебывает его.

— Ах, Ниночка, дорогая, родная, хорошая, если бы вы знали, как я рад, что вы приехали. И именно нынче. Вы ведь сердцем все чувствовали. Вы чувствовали, что вы мне нужны. Правда?

— Правда.

— Вино превосходное. Кахетинское. Да?

— Из Телави. «Родовое...»

— Вот вы, Ниночка, читаете всякий вздор, а я тем временем... знаете кого я сейчас перечитываю?

— Кого?

— Тициана. Вашего Тициана.

— Большинство его стихов перевели на русский вы, Боря.

— Нет, нет, меня в них нет. В них он, он. Он один. Ах, Ниночка, как он чудесно писал. Если бы мне так.

Нина встает, приближается к Пастернаку.

— А Тициан всегда говорил: «Если бы мне так», имея в виду вас.

— Тициан венец современной грузинской лирики. Да, да, да. У него природа Грузии затмевает мир фантазии. Его волшебные слова обыденное в людях превращают в вечное...

Пастернак декламирует стихотворение Тициана Табидзе:

Пусть слезы твои безнадежны,
Ты все-таки плачешь навзрыд.
Волынка, поющая нежно,
С тобой о любви говорит.
Ты тянешь к ней руки, — и это,
Наверно, рождение поэта.

Нина кладет голову на грудь Пастернака, закрывает глаза, плечи ее чуть вздрагивают. Он гладит ее по волосам, целует ее руки.

— Ниночка, Ниночка, дорогая, милая, хорошая...

Нина поднимает глаза, в них слезы. Тихо-тихо она говорит:

— Боря, «Доктор Живаго» будет принадлежать всему миру.

— Ах, если бы и России, Нина... — тихо произносит Пастернак.

Пауза. Она кашляет.

— Ну когда вы бросите курить? Вам же вредно. Вы и Зина дымите, как паровозы. Хоть бы меня пощадили.

Пастернак открывает форточку.

— Я начала курить в ночь ареста Тициана и поклялась бросить в день его освобождения.

— Нина... а почему платок?

Пастернак глазами указывает на шерстяной платок. Она смущенно улыбается.

— Поясницу ломит. Старость не радость.

— М-да. Но, как говорят в народе, превеликое хамство.

Из кухни доносятся ожесточенные голоса Зины и Тани. Пастернак поспешно допивает вино, поправляет на стене покосившуюся работу отца.

— Там баталия. Пироги пекут. О-о-о! Надо ретироваться. Я к Тициану, в его знойно-прохладную Колхиду.

Пастернак идет к дверям, открывает их, останавливается и, повернувшись к Нине, говорит:

— Если будут сегодняшние газеты, пусть Таня принесет мне...

Он уходит.

Сразу же из кухни входит Зина. Она, примерно, такой же комплекции, как и Нина, но сильно горбится; волосы крашенные и причесаны книзу, брови слегка подведены. Глаза у Зины чуть навывкате. Вероятно, когда-то и она была красива. В ней чувствуется отчужденность, холодность, может быть это от гордости, а может быть просто замкнутость характера. Однако, стоит ей улыбнуться и все лицо меняется, добреет, делается привлекательным. Одета она в черное платье с белыми кружевными оторочками.

Зина держит в руках неизменные папиросы «Беломорканал», спички и пепельницу. Такое впечатление, что с этими атрибутами она никогда не расстается.

За Зиной следом входит Таня, маленькая, с острым лицом, уже немолодая, тощая. На ногах у нее тапочки, поверх платья надет белый фартук. Она несет над головой пирог; ставит его на буфет.

— Или я пеку пироги, Зинаида Николаевна, или вы, — сердито говорит Таня. — Довольно. Натерпелася. Или вы по дому, или я по дому. Решайте. Довольно. Натерпелася. Ни туды, ни сюды. Уйду я от вас. Выгодное предложение есть. Мы, домработницы, теперь на вес золота. А я у вас завязла...

— Слышишь, Нина, как она со мной разговаривает? — произносит Зина, — и так уже 20 лет. Диктатор.

— А ты уступи, Зина. Таня пироги и без тебя испечет.

Широко, угодливо улыбнувшись Нине, Таня обращается к Зине:

— Слышите?

— Как же мне уступить, когда сегодня Зинин день, мои именины.

— Вот и отдохните. Понаслаждайтесь. В кину бы сходили. В карты бы поиграли. Ох, слава Господу, Нина Александровна приехали. А пироги — дело мое. И все тут!

Таня возвращается в кухню, плотно закрывает за собой двери. Зина закуривает. Как бы подсчитывая, она произносит:

— Яблочный есть, клубничный есть, и из капусты есть. Вот она сейчас ставит в духовку мясной.

— Куда столько? — спрашивает Нина.

— Как столько? Прежде мы по десять пекли. Да, людей теперь не видно... — отвечает Зина, — вчера еще были, сегодня ни души... Как бы не зачерствели пироги-то в нынешнем году... Прохладно что-то...

Зина замечает открытую форточку. Подходит к окну, закрывает ее.

— Небось спускался, газеты сегодняшние спрашивал?

— Да... — отвечает Нина.

— Странно, сегодня не пошел к ней. Он обычно ходит днем. Прохладно. Юрий Петрович подтопил мало.

Зина трогает рукой радиатор.

Нина понижает голос:

— У них все... по-прежнему?

— У него с ней? По-прежнему.

— А у тебя с ним?

Зина садится за стол, берет кусок ветчины, хлеб, закусывает.

— Ты же знаешь, мы чужие, — после паузы произносит она.

Нина закуривает.

— Зина... где она теперь живет? Здесь? В Переделкино?

— Ольга? Да, у Буденновской плотины. Две комнаты снимает. В избе у Маши. Вот... распространяет уже слухи...

— Какие?

— Опять забеременела. От Бори, конечно.

— Дрянь!

— Он ее любит...

Нина ходит по комнате. Останавливается.

— А что будет... с Борей?

— Прочитала «Литературную газету»?

— Подлость.

— Это что... в «Правде» сегодня погрознее пишут... я выкинула ее на помойку...

— Ты не хочешь, чтобы он читал?

— А зачем? — слегка усмехнувшись, Зина добавляет: — Ты говоришь: дрянь. А Боря дня три назад сказал: «Если нам суждено быть богатыми, будем жить по-старому, будем раздавать деньги бедным», все же финансовые дела передал ей, Ольге...

— Зина, что же будет? Что? Что? Бог с ней, с Ольгой; что будет с Борей?

— Пока не идут те, которые прежде все-таки заглядывали на огонек...

Дача Федина в Переделкино.

Кабинет. Стильная мебель из красного дерева. Полки с книгами. Рабочий стол широкий, длинный, с дорогим чернильным прибором. Телефонный аппарат белого цвета. На стенах фотографии Горького, Роллана и др.

В качалке сидит Поликарпов. Перед ним Федин. Он чуть худощав, седеющие волосы распадаются на две равные части, хотя он и зачесывает их назад. Черты лица правильные, приятные, почти породистые; умные, голубые глаза. Одет со вкусом, руки белые, в них четки, которые он искусно перебирает. На вид Федину лет шестьдесят, не больше. Он хорошо сохранился, ходит спокойно, уверенно, солидно. На груди у него значек Депутата Верховного Совета РСФСР.

— Но почему вы остановились именно на мне, товарищ Поликарпов? — спрашивает Федин. — Ведь я не ген. сек. Почему не Сурков или Тихонов?

— Во-первых, вы сосед. Дачи рядом, — отвечает Поликарпов.

— Ну, знаете, это не довод. С противоположной стороны живет Всеволод Иванов. Почему не он?

— Во-вторых, вы близкий друг. Вы с Пастернаком люди одного поколения. Вас многое связывает в прошлом, — Поликарпов подчеркивает. — В прошлом, конечно. В-третьих, вы знаменитый романист. Ваши книги популярны у нас в стра-

не, да и за рубежом. В-четвертых, и это главное, по мнению ЦК, вы, хотя и беспартийный, но наш человек.

Федин бросает на Поликарпова настороженный взгляд.

— «Наш»? Что это значит, Дмитрий Алексеевич?

— Я имею в виду убеждения.

Поликарпов бледнеет, кладет руку на грудь и делает глубокий вздох и выдох. Губы его становятся синими.

— Вам плохо?

Поликарпов достает металлическую коробочку, открывает ее и высыпает на ладонь крохотные таблетки, при этом роняя несколько на пол. Он кладет две таблетки себе под язык.

— Я скоро умру, товарищ Федин, — говорит он немного погодя.

— Жаба?

— Да.

— Хотите воды?

— Нет...

Поликарпов закрывает глаза и откидывает голову назад.

— Я тоже умирал в свое время, — произносит Федин. — От чахотки. Вот жив, как видите. Хотите лечь?

Поликарпов приходит в себя, облизывает языком губы.

— На этот раз прошло. Итак, товарищ Федин, прошу иметь в виду, что вас выбрал секретарь ЦК, Михаил Суслов.

— Я уважаю товарища Суслова, но тем не менее...

Поликарпов перебивает:

— В оценке романа «Доктор Живаго» у нас расхождений ведь нет.

— Нет...

— Ну и, следовательно, Константин Александрович, именно вам и надлежит остановить Пастернака в этот решающий момент. В молодости я был учителем, простым сельским учителем. В Белоруссии. Может быть тогда я и понял, как важно во-время остановить человека от рокового шага.

В кабинет на трехколесном велосипеде врывается отчаянный мальчишка, лет шести. Он с гиком объезжает Поликарпова и исчезает так же неожиданно, как и появился.

— Внук?

— Никита.

— В честь Хрущева? — с легкой иронией спрашивает Поликарпов.

— Он родился до смерти Сталина, — резко отвечает Федин и добавляет: — А знаете, Дмитрий Алексеевич, что о вас сказал мне один советский писатель?

— Что?

— Он сказал, что на месте американского Госдепартамента, он платил бы вам 1000 долларов в месяц.

— Неплохо. Меня не интересует имя этого писателя.

— А у него как раз есть имя.

Федин подходит к окну, приподнимает занавеску. Через окно видны дача Пастернака, огород, сад, справа асфальтированная дорога, названная аллеей Павленко.

— Хорошо, я иду к нему, — отходя от окна, говорит Федин.

Он направляется к дверям.

— Ни пуха ни пера...

Асфальтированная дорога, то есть аллея Павленко. По ней шагает Федин; на плечи наброшено пальто, вокруг шеи — белый шарф; он без головного убора. Федин поворачивает налево, минует ворота и направляется к даче Пастернака.

Это двухэтажное деревянное строение, сруб, с застекленными верандами наверху и внизу. Позади дачи — сосновая рощица. Справа — небольшой одноэтажный флигель и забор, за которым начинается участок писателя Всеволода Иванова. Центральный вход в дом осенью уже закрыт. Входить теперь надо, поднимаясь по лестнице, через «Тамбур» и кухню.

Около лестницы стол для игры в «пинг-понг», на нем что-то уложено и накрыто брезентом. Тут же колонка с колодезной водой. За лестницей — штабеля дров. Дальше стоят две машины, кофейного цвета «Победа» и светло-серый «Москвич».

Слева от ворот начинается огород. Сейчас он, разумеется, гол. В центре торчит пугало, на палке какой-то старый пиджак, шляпа и детское ружье. Дальше — сад с вишнями и яблонями, с кустами крыжовника. Еще дальше — забор, за которым участок Федина.

Тобик и Бубик с лаем бросаются на Федина. Тобик побольше, старый, слепой на один глаз, пудель. Бубик-помоложе и пошустрей. Однако, «узнав» знакомого человека, они стихают и виляют хвостами.

На лестнице — Таня. Она широко и угодливо улыбается.

— Здравия желаем. Константин Александрович!

— Что, Таня, Борис Леонидович дома?

— А как же, как же... Пожалуйте, Константин Александрович...

Столовая. Зина и Нина сидят за столом, курят. Входят через кухню Федин и Таня.

— Добрый день, Зина, — любезно, но сдержанно произносит Федин. — О, Нина Александровна? Здравствуйте. Когда приехали? Прямо из Тифлиса?

— Да, сегодня утром. Здравствуйте.

— Здравствуй, Костя... — запоздало говорит Зина.

— Что-то пирогами пахнет, — произносит Федин и тянет носом, — к праздничку готовитесь?

— К праздничку, Костя, — сухо отвечает Зина, — да не к тому, о котором ты, вероятно, думаешь. Сегодня Зинин день. Прежде ты не забывал об этом.

— Ах, прости, пожалуйста...

Нина пододвигает стул.

— Садитесь, Константин Александрович.

— Спасибо. Я пришел по делу. К Боре. И, извините, तो-роплюсь.

— Он у себя, наверху. — Говорит Зина.

Федин идет в коридор и, по лестнице, поднимается на второй этаж.

Зина провожает Федина недобрым взглядом.

— Как он изменился... Когда-то я спасла его дочь. Дом у них горел. Я вытащила девочку из комнаты...

— Я любила его жену, Дору, — говорит Нина.

— Дора была хорошая, царство ей небесное, — произносит Зина.

Таня стоит в дверях кухни. На лице у нее уже ни следа от широкой угодливой улыбки. Она кивает в сторону коридора, где скрылся Федин, и презрительно бросает:

— Одно слово — «Депутат».

Кабинет Пастернака. Это такая же, примерно, комната, по размеру, как и столовая. Она над столовой. Собственно, это и кабинет и спальня. В левом углу — узкая кровать, почти

солдатского типа, аккуратно заправленная байковым одеялом. У окна — стол, рядом два небольших шкафа с книгами, застекленные. Большое кресло, стулья. На стенах — работы отца Пастернака и портрет Льва Толстого. На столе — старый радиоприемник.

Во всем простота и непритязательность.

Пастернак встречает Федина. Очень удивлен.

— Костя... ты?

— Я ненадолго. Меня ждут. «Гости». Высокопоставленные. Словом, я пришел, чтобы...

Пастернак перебивает:

— Чтобы поздравить меня с Нобелевской премией. Да, да. Она досталась, наконец, нам. Да, да, я так счастлив. Меня уже поздравил Всеволод Иванов, Корней Чуковский, еще кое-кто. Теперь вот пришел и ты. Я так рад, я так рад, Костя... давай пальто...

Федин сбрасывает с плеч пальто, кладет его на спинку стула.

— Я сам. Боря, ты газеты читаешь? Наши, советские...

— А что? Причем тут газеты?

Федин пристально смотрит на Пастернака.

— Давай не будем играть в кошки-мышки. Позволь мне сказать тебе два слова.

— Конечно, конечно. Только — сядем. В ногах правды нет. Они садятся.

— Прости, я прежде спрошу: как дочь? как Никитка? Федин снимает с шеи белый шарф.

— Спасибо, здоровы.

— Тебе не холодно? Может быть подтопить?

Федин говорит четко и раздельно:

— Боря, речь идет о твоей жизни.

— Что-что?

— Я говорю: речь идет о твоей жизни. И тут надо забыть все остальное. Если ты хочешь жить, ты должен немедленно отказаться от Нобелевской премии.

— Я... я тебя не понимаю...

Федин продолжает холодно и жестко:

— Надо понять! Надо понять, что ты, вольно или невольно, льешь воду на мельницу врага.

— А кто... кто наш враг, Костя?

— Не фиглярствуй. Ты же...

Пастернак останавливает Федина рукой.

— погоди! Мы так давно не видались. Дай мне всмотреться в тебя. Костя — друг. Помнишь молодость? Где они твои «братья Серапионы»? Где оно «надклассовое искусство», которое ты проповедывал? Мисюсю, где ты?

— Боря, я повторяю: речь идет о твоей жизни. Брось браваду и иллюзии. Это смертельный торг...

Пастернак опять прерывает Федина жестом.

— Пстой! Давай помолчим, давай поглядим друг другу в глаза. Давай поговорим молча, Костя. Давай?

— Что ж, изволь. У меня совесть чиста.

Они смотрят друг другу в глаза. Федин не опускает их, только тонкие пальцы, нервно перебирающие четки, говорят о внутреннем волнении. Пастернак первый нарушает молчание. Он встает и начинает расхаживать по комнате.

— Почему ты все же меня не поздравляешь? Ведь премия досталась России. Ты русский? — Пастернак не выдерживает и повышает голос: — Отвечай, Костя, ты русский?

Стук в дверь. Входит Таня. Она несет на подносе два бокала вина, а на тарелочках два больших куса пирога. Ставит угощение на стол.

— Зинаида Николаевна велели. Они сказали, что вы, Константин Александрович, любите, который с клубникой.

Федин не успевает поблагодарить. Пастернак нетерпеливо говорит:

— Хорошо, Таня, спасибо. Ступай, ступай.

Таню это обижает.

— А чего ж вы гоните, Борис Леонидович. Я человек, хоша и прислуга, — и широко, угодливо улыбаясь Федину, она добавляет: — пироги-то наши получше будут тех, которые вам из Кремлевского питательного центра привозят два раза на неделю.

Таня уходит.

— Ты не ответил на мой вопрос, Костя?

— Я не пришел к тебе для того, чтобы отвечать на твои вопросы, Боря. Я пришел для того, чтобы... спасти тебя.

— Разве я гибну?

— Боря, наши литературные и идеологические пути давно разминулись. Не напоминай о молодости. Молодость — зелена.

Многое в жизни людей за последние десятилетия изменилось. Еще когда ты читал мне первый вариант «Доктора Живаго», я сказал тебе, что...

Пастернак перебивает:

— Что роман неисторичен, так как в нем я не вывел образ великого Сталина.

Федин чуть смущен.

— Разве я сказал это? Короче, ты знаешь мою позицию. Я подписал ответ редакции журнала «Новый мир». Я член редколлегии. Мы решительно отвергли Живаго. Тут все ясно. Но дело в том, что, увы, твой роман вышел за пределы литературного явления. Он... и ты сделали жертвами большого политического шантажа. И это главное. Реакционная западная пресса подняла вой. Они противопоставляют тебя нам. Не будь слепцом. Не будь тщеславным.

— Ты хочешь сказать, что мой роман не заслуживает Нобелевской премии?

— А ты считаешь — заслуживает?

Пастернак продолжает ходить по комнате.

— Не знаю... может быть и нет... Но ведь мне же присудили ее не только за «Доктора Живаго», но и за стихи... И потом меня же представляли к Нобелевской премии и пять лет назад, когда романом и не пахло...

Федин встает и тоже начинает ходить по комнате.

— Неужели ты, действительно, не видишь, Боря, что мир разделен. Есть два образа жизни. Наш и их, капиталистический. Это не лозунговые слова. Это так, Боря, это так. Мы же с тобой бывали в Европе. Происходит схватка не на жизнь, а на смерть. В ход пускается все. Шведская Академия не может существовать, как островок в океане... В наше время писатель должен выбрать место. С кем ты? Вспомни, что говорил Максим Горький. Это был эпохальный вопрос. С кем ты, поэт Пастернак?

Пастернак отвечая, срывается на крик:

— Я с Россией!

В столовой страшно накурено. Но и Зина и Нина этого, конечно, не замечают. Они, по-прежнему, сидят за столом, курят. Они прислушиваются к тому, что происходит наверху, в комнате Пастернака, стараясь по ритму и силе шагов уга-

дать — ссорятся ли Пастернак и Федин или нет? «Барометром» для них являются и бутылки с наливкой, стоящие на буфете и вздрагивающие при легком сотрясении дома.

Выражение лиц Зины и Нины напряженное и, в то же время, со стороны, они могут казаться смешными.

Из кухни входит Таня. Она несет над головой еще один пирог и ставит его на буфет. Потом и она поднимает глаза к потолку, тоже прислушивается, тяжело вздыхает. За ней, невольно, вздыхают и Зина и Нина.

Пастернак и Федин сидят за столом и едят пирог, запивая вином; мирно, спокойно, как будто между ними никакого спора и не было.

— Да, Костя, — говорит Пастернак, — имей в виду, что, по традиции, в каждом пироге запечена десятикопеечная монета. На счастье. Может достаться и тебе...

Именно в этот момент Федин, поперхнувшись, вынимает изо рта десятикопеечную монету.

— Ну и везунчик! — восклицает Пастернак.

Федин смеется, достает носовой платок, заворачивает в него монетку, прячет ее в карман.

— Я баловень фортуны, — подмигнув, говорит он.

Они продолжают есть. Пауза.

— Вот мы наслаждаемся пирогом, — прерывает молчание Пастернак, — а передо мной воскресают тридцатые годы. Урал. Озеро Шарташ. Помнишь, Союз Писателей послал меня в «творческую командировку». Поместили меня там, конечно, в правительственном доме отдыха. Кормили на убой. А страна голодала. Под нашими окнами бабы, деревенские бабы, хлеб клянчили для детей. Я дал одной кусок кулебяки, так она запихала мне в руку — червонец.

— Ну и... что?

— Вот именно... ну и что?

— В начале тридцатых, Боря, ты поддерживал советскую власть.

— Да, я писал — «Революция, ты чудо!». А что осталось от революции, когда, в начале тридцатых, вы втянули меня в банкетную жизнь, с самовосхвалениями, чиновничьей трескотней, с сановной поэзией. К счастью, я не завяз по горло. А

затем наступил ужас. Ты видел Нину Табидзе, Костя, внизу в столовой?

— Да...

— Ты знаешь не хуже меня сколько лет она ждала Тициана. 17-ть. Он был арестован в 1937-м. Семнадцать лет Нина была с клеймом жены «врага народа». Но она достойно прошла через унижения, страх, лишения, и надеялась, что Тициан ее жив, жив... В прошлом году Нина узнала, что он был убит, как «польский шпион», во время допроса в НКВД, на третий день после ареста. Кто знает где он погребен?

Пастернак встает и подходит к окну.

— Это печальная история, — произносит Федин. — Тициан был прекрасным поэтом...

Пастернак поворачивается от окна.

— По ночам я слышу его стоны... а ты? По ночам я слышу стоны миллионов, миллионов замученных в тюрьмах и в концентрационных лагерях, у нас в России. А ведь это были ни в чем неповинные миллионы. Разве что в том, что им хотелось жить, а некоторым, может быть, хотелось и думать...

— Сталин был жесток. Его ошибки, однако, теперь вскрыты. Тициан реабилитирован.

— Поздний «реабилитанс» в отличие от раннего «ренессанса», — с горькой усмешкой произносит Пастернак и, повысив голос, добавляет: — Сталин был чудовищем, которое залило нашу землю кровью! А на крови, Костя, не вырастает ничего. кроме страха. Меня до сих пор мучит мысль: почему Сталин не уничтожил меня? Почему он уничтожил сотни моих друзей, товарищей, а меня пощадил? Тебя эта мысль не мучит, Костя? Ведь и тебя, баловень фортуны, он не тронул.

— Ах, к чему ворошить то, что уже кануло в лету...

Пастернак говорит с жаром:

— А какая гарантия, что наши новые вельможи от коммунизма, эти ученички и сподвижнички «отца народов», не зальют страну океаном крови снова? Где гарантия, Костя? Где?!

— Ты преувеличиваешь...

— Я живу сердцем, душой. Я не карьерист, Костя!

— Договорились. Следовательно, я — карьерист.

— Ты клевет на Партию и Правительства.

Федин встает.

— Я клевет на идеи, в которую я верю, — резко говорит он.

— Идея душевной несвободы мне не подходит, Костя.

— Ты, Боря, одиночка, рефлексирующий интеллигент, солипсист. Ты — влюбленный в свою необыкновенность нарцисс. Ты, как и доктор Живаго, предполагаешь, что в каплях твоих слез и заключается мир. А на земном шаре куется судьба всего человечества. В действие пришли массы. Ты проглядел героя нашего времени, Боря. И тебе его не понять, потому что ты уже давно вне реальной жизни. Ты оторван от нее. Твоя душевная свобода бессмыслица, ибо она никому не нужна. Ах, Боренька, ты очень, очень талантливый поэт, но ты доступен лишь единицам, ты пригоден лишь для салонов...

Пастернак опускается на стул.

— Да, Костя, мы с тобой теперь говорим на разных языках. Для меня нет России вне преемственности. Россия будущего не может жить без прошлого. Это же единый поток. Это и есть культура нации. Но лучше прекратить эту комедию. Итак, еще раз, что ты мне предлагаешь? Практически.

— Первое: сегодня же послать в Стокгольм телеграмму с отказом от Нобелевской премии. Второе: написать соответствующее письмо товарищу Хрущеву. Третье: написать соответствующее письмо в «Правду».

— Что взамен?

— Кампания против тебя, которая только начинается, вероятно, будет приостановлена. Постепенно. Гнев народа не легко обуздать.

— Гнев народа?... Ну, а если я скажу — нет.

— Пеняй на себя.

Пауза.

— Кто твои «гости»? Небось все тот же злосчастный Поликарпов. Я с ним встречался раз. Это он вынудил меня послать в Рим письмо, с требованием задержать выход «Доктора Живаго». Но было уже поздно. Единственное человеческое в этом Поликарпове — его грудная жаба...

Федин игнорирует слова Пастернака.

— Вот у тебя висит портрет Толстого, — говорит он, — величайшего реалиста, художника... А в книжном шкафу я вижу Кафку, Пруста, Джойса...

— И только? Больше ты ничего не увидел у меня в книжном шкафу «сомнительного»?

Пастернак приходит в крайнее возбуждение. Он порывисто распахивает дверцы шкафа и извлекает большую книгу. Он кладет ее на стол.

— Вот самая великая книга, написанная на земле! — повышая голос, произносит он.

Это — Библия.

Столовая. Зина и Нина сидят, как прежде. И накурено ужасно. Только у приоткрытой двери, ведущей в коридор, стоит Таня. Она прислушивается к разговору, происходящему наверху. Зина и Нина смотрят на Таню. Но вот Таня, встрепенувшись, быстро идет через столовую к себе, в кухню. Слышатся шаги. Открывается дверь и Федин, перекинув через руку пальто и белый шарф, проходит к выходу. Не глядя на Зину и Нину, он произносит:

— До свиданья!

Зина и Нинажимают плечами. Фебина уже в комнате нет. Издали слышится смех Пастернака, нет, это даже хохот. Он приближается. Входит Пастернак. Зина и Нина вопросительно смотрят на него. А он настолько поглощен хохотом, что не обращает внимания на то, как в столовой накурено.

— Ты что, Боря? — наконец, спрашивает Зина.

— Девочки, дорогие мои, а вы знаете Костя, мой Костя, личный друг Максима Горького и Романа Роллана, Костя-то то... служит Хрущеву, а, по-прежнему, суеверен. Да, да, да... У него в куске пирога оказалась десятикопеечная монета. Так он унес ее с собой...

— Каждый хочет быть счастливым, — говорит Нина.

— Зачем он приходил? — спрашивает Зина.

— Фу! Фу! Как вы накурили! Депо. Разве так можно, девочки? Вы бы меня пощадили.

Пастернак опять поправляет на стене покосившиеся зарисовки.

— Во время войны, Ниночка, зенитчики, у нас в Лаврушенском, на крыше, топили печурки работами моего отца. Ведь бойцы жили в нашей квартире. Сколько чудесных акварелей, рисунков погибло...

— Вы говорили.

— Отец умер в Лондоне. Там туманы, — произносит Пастернак и после паузы добавляет: — И это, конечно, моя

вина, что я не сумел сохранить его работы. Когда-то папа дружил с Толстым...

— Зачем приходил Федин? — спрашивает снова Зина.

Пастернак садится за стол. Смотрит на Зину и Нину, виновато улыбается, проводит ладонями по лицу, закрывает ими глаза.

— Девочки, дорогие мои...

— Боря, что с вами?

Пастернак порывисто хватается за руки Зины, целует их.

— Зина, родная, когда я умру... если тебе будет плохо... тебе, Лене... если что-либо понадобится... пойдешь к Суркову, к Тихонову... пойдешь к Эренбургу, но... но не ходи к этому... нет, нет, не ходи к Федину... умоляю тебя...

Зина высвобождает свои руки из рук Пастернака.

— Что случилось, Боря? — тихо спрашивает Нина.

Пастернак смотрит на Нину и шепотом произносит:

— Еще один русский интеллигент умер, Ниночка.

Со двора слышен лай собак и шум подъехавшей машины. Пастернак с кривой усмешкой добавляет:

— Федин сказал мне, что рота шагает в ногу, а я шагаю не в ногу.

— У тебя плоскоступие, — вполне серьезно говорит Зина. — Тебя и в армию поэтому не брали.

Пастернак растерянно смотрит на Зину.

— А что, верно... — и вдруг добавляет: — Не сутулься, Зиночка. Это же старит.

Входит Таня. Она произносит:

— Борис Леонидович, опять эти... как их... иностранные корреспонденты или репортеры... приехали... из Москвы... Пущать, или как?

— Конечно, пускай. — говорит Зина. — Вот и будет кого пирогами накормить.

Пастернак вскакивает и почти истерически кричит:

— Гони их вон, Таня! Вон! Вон! Вон!

Далеко за полночь. В прогалинах туч виднеется серп луны. Переделкино спит. Тишина. Где-то поселковый сторож вертит трещетку, совсем по-старинке.

На даче Федина, в одном из окон на втором этаже, горит свет.

Кабинет Федина. В шелковом халате, в цветной тюбетейке он стоит посередине комнаты и вслух читает стихи Пастернака, держа в руке раскрытый томик. Он читает их вполголоса, но с чувством и артистично:

Как казначей последней из планет,
В какой я книге справлюсь, горожане,
Во что душе обходится поэт,
Любви, людей и вёсен содержание?

На письменном столе — стакан уже холодного чая и рядом, в носовом платке, десятикопеечная монета.

Случайно Федин наступает на маленькую таблетку, одну из тех, которые днем рассыпал Поликарпов. Раздавлив ее, он смотрит себе под ноги.

Дача Пастернака. Его кабинет. Он не спит, хотя постель взъерошена — значит он уже ложился. В полосатой пижаме, босиком, Пастернак сидит за столом, с наушниками на голове. Он слушает радио. В приемнике светится зеленая шкала. Вокруг, по столу, разбросаны письма, полученные из заграницы, это видно по конвертам, те самые, которые днем лежали на обеденном столе.

Пастернак вертит рукоятку настройки. Мир вещает на всех языках. Врывается и «глушение». Кто-то кого-то «глушит». Но, судя по выражению лица Пастернака, на всех языках говорят о нем.

Он слушает, а рука невольно тянется к карандашу и потом записывает отдельные услышанные выражения.

Вот что на листе бумаги:

«Чистый голос замечательного поэта изобличает варварский режим марксистских диктаторов...»

«Он независим и горд!»

«Единственный свободный голос в рабской России!»

«Роман «Доктор Живаго» — шедевр 20-го столетия...»

Тут Пастернак не выдерживает и скидывает наушники на стол. Он перечеркивает все написанное. Потом жирно выводит одно слово: «Чепуха».

Кабинет Федина. Все как было. Он стоит посреди комнаты и продолжает читать стихи Пастернака, глядя в его сборник:

Топтался дождик у дверей,
И пахло винной пробкой.
Так пахла пыль. Так пах бурьян,
А если разобраться,
Так пахли прописи дворян,
О равенстве и братстве...

Снова кабинет Пастернака. Он сидит на кровати, по-турецки скрестив ноги. Вокруг разбросаны всё те же поздравительные письма из-за рубежа. Вероятно, он еще и еще раз перечитывал их. А радиоприемник не выключен, наушники лежат на столе и доносится назойливый голос диктора. Пастернак с ненавистью смотрит на наушники. Потом он порывисто встает, приближается к столу и выключает радио-приемник.

Тишина. Пастернак собирает письма, укладывает их в пачку и идет вниз.

Столовая. Дверь на кухню приоткрыта и из нее проникает электрический свет, видимо, Таня забыла повернуть выключатель. Со стола всё убрано. Пастернак кладет письма на то место, где они лежали. Из кухни в столовую входят заспанные Тобик и Бубик, собаки тихо скулят, почувствовав хозяина. Он наклоняется к ним, ласкает их. Потом входит в кухню. Дверь в комнатушку Тани тоже чуть приоткрыта. Слышен храп. Пастернак гасит электрический свет и проходит через столовую в коридор. Нет, он останавливается у двери и ощупью возвращается к буфету, задевает что-то, чертыхается, ударяется боком о край холодильника. Потом в полумраке видно, как он достает глиняный кувшин, наливает себе полстакана вина и медленными глотками выпивает его. Причмокнув губами, Пастернак идет в коридор и тут он замечает, что дверь в бывшую музыкальную, где должна спать Нина, тоже слегка приоткрыта. Внутри горит свет.

Бывшая музыкальная. Два окна, прямо и налево, с синими занавесками. В ближнем углу низенькая кушетка, на которой постлана постель; напротив — простая железная кровать. На стене «коврики» из темно-синей материи. Обои старые, бледно-желтые. Таршер. Стол, на нем вентилятор и проигрыватель. Тумбочка.

В глубине комнаты на коленях стоит Нина. На ней длинная ночная рубашка, седые волосы распущены. Губы ее шепчут молитву, она крестится и почти касается лбом пола.

На кровати сидит, тоже в ночной рубашке, Зина. Перед ней небольшая соломенная корзиночка с тремя пачками писем, две из которых перевязаны розовой ленточкой. Она курит, сбрасывая пепел в пепельницу, и тихо читает одно из писем:

«...ты такая, какая снишься и думаешься мне, высокая, лишь голову поверну, сейчас же за плечом, семнадцатилетняя, двадцатилетняя, мое крыло, сбитый клочок быстроты, тихого духа, белое мое загляденье, гордое знание мое, пронизывающе-понятное, как сирень в росе...»

Зина складывает это письмо, достает другое, разворачивает его и опять читает вслух:

«О, если бы я любил тебя просто, как любят, когда может прийти дама, образованная, и за столом, отказавшись от сыра, давать советы, сияя и сочувствуя, я может-быть все это пере-сил. Но этой любви нельзя остановить. Она так похожа на то, что становится с высочайшими вещами, когда они попадают к человеку. Ее не надо обдывать метелкой и обтирать тряпкой, беречь уверениями, она парусом развернулась над жизнью, собрала ее в одну бесспорность, украсила смыслом, под ней можно плыть хоть в смерть и ничего не бояться, она дыхание нежности, смешанное с дыханием дороги. Ты то, что я любил и видел и что со мной будет...»

Пастернак стоит у двери, в коридоре, прислонившись к стене. Он слышит, как Зина читает письмо. Его письмо. Может быть в его глазах блеснула слеза. В темноте это не очень видно. Но он стоит неподвижно, точно не дышит.

Зина читает еще один отрывок из письма:

«...ты родилась девочкой с большой жизнью, не жалею, что сделано. Верю в тебя. Надо жить коротко, быстро и внутренне сильно».

Зина берет другое письмо, разворачивает его, читает:

«Работа, природа и музыка оказались тобой и тобой оправданы. Ты сестра моего дарования. Ты даешь мне чувство единственности и моего существования. Но это счастье без тебя не окончательно полно. Из моей жизни я хочу делать тебя одну. Я хочу одевать тебя в платье из моей муки, нервов,

размышлений... Я материально и духовно неотделим от тебя...»

Пауза. Зина говорит:

— И это он писал мне, мне... А теперь Ольга повсюду кричит, что она, она жена Пастернака, она кричит, что ее дочь, Ирина, тоже от Пастернака. Она позорит меня на каждом шагу. И это неправда, что она сидела в тюрьме из-за Бори. Ее арестовали из-за каких-то финансовых махинаций в журнале «Огонек», где она работала. Мне рассказывали верные люди. И вот эту отвратительную бабу Боря взял за модель для Лары в «Докторе Живаго».

Нина поднимается с колен, закидывает волосы за спину, приближается к Зине.

— Перестань. Забудь об оскорбленном самолюбии, Зина. Сейчас на весах большее. О, я хорошо знаю, что такое советская власть... Они убили Тициана... Они не остановятся ни перед чем... Сталин? А чем Хрущев лучше? Впрочем, может быть лучше... Но мне страшно, страшно думать о том, что ждет Борю...

Зина хмурится. Нина обнимает ее.

— Не сердись, милая, я тебя понимаю...

За дверью стоит Пастернак. До него доносятся голоса Нины и Зины. Нина говорит полупшепотом:

— Тициан тоже изменял мне. И не раз. Я прощала.

Голос Зины:

— Не утешай. Я старая, крашенная. Она блондинка...

Голос Нины:

— Он вернется к тебе. Поверь. Только ты должна захотеть этого. Ты как лёд. Правда «кусочек небьющейся гордости». Ты должна протянуть ему руку, а не отталкивать его. Боре не 20-ть лет.

Голоса Нины и Зины:

— Нет, нет, мы чужие.

— Нет, вы не чужие. Как Боря написал тебе? «Ты то, что я любил и видел и что со мной будет». Будет. Понимаешь?

— Ах, Нина... это он написал 20-ть лет назад...

— Зиночка, знаешь сколько раз я собиралась расходиться с Тицианом? Три раза. И первый раз именно тогда, когда вы гостили у нас в Тифлисе.

— Какие это были чудесные дни! Как сказка!

— А я хотела отравиться. Вы ничего и не подозревали. А я уже достала яд.

— Неужели?... Боря когда-то тоже травился. Йодом. Помнишь?

Голос Нины становится веселым:

— Как же. Это когда вы поселились на Гоголевском бульваре. Я получила Борину телеграмму: «Выезжайте, пух летит». Я помчалась примирять вас. Как только я приехала, Боря отравился.

— Да, да. Мы его молоком отпаивали. Помнишь? А он кричал: «Дайте умереть!»

— Мне кажется, Зина, он тебя хотел тогда напугать.

И у Зины голос становится живее:

— Может быть...

— Он ведь умеет иногда и притворяться.

— Боря? Еще как!

Обе тихо смеются.

Пастернак стучится, потом открывает дверь и входит в комнату.

— Боренька? — удивленно восклицает Нина.

— Дорогие девочки, вы что же не спите... а?

Зина прячет за спину соломенную корзиночку. На лице ее снова — непроницаемость. Нина быстро накидывает на плечи халат.

— И вам не спится.

— Мне? Я слушал радио... Они на Западе говорят Бог знает что. Обо мне и о «Докторе Живаго». У них нет чувства меры, да и контроля, собственного, внутреннего. Кстати, сочиняют какие-то небылицы о Ларе.

— А что? — спрашивает Нина.

— Когда Льва Николаевича спросили с кого он писал Наташу Ростову, граф ответил: «Да ведь Наташа это я». Неправда ли хорошо, Ниночка? Так вот я говорю: «Лара это я». Это сборный образ. В нем и вы, Ниночка, и ты, конечно, Зина. Это женщина моей мечты...

Нина понимает, что Пастернак упоминает об этом умышленно, может быть она даже догадалась, что он слышал часть ее разговора с Зиной. Она произносит несколько подчеркнуто:

— Я так и думала. Именно так.

Пастернак садится на кушетку.

— Слушая Западное радио, девочки, я задал себя вопрос: «Что если товарищ Федин прав?». Нет, а что если я действительно кукла в руках всяких там империалистов-разбойников? А что если я для них кусок сочного бифштекса и источник наживы? Что если так?

Пауза.

— Молчите, девочки?

— Боря, на Западе люди живут свободно...

Пастернак перебивает ее:

— На Западе не летают ангелы. Там горы своих несправедливостей. Да и вздора. Почитайте Кафку...

Зина говорит тихо, но твердо:

— Если ты откажешься от «Доктора Живаго» я от тебя уйду.

Взгляды их встречаются. Зина опускает глаза. Ей сразу делается ясно, что ведь от нее ничто не зависит, что она седьмая спица в колесе, что Пастернак любит другую женщину. Зина втягивает голову в плечи, закуривает.

— Не дыми, пожалуйста, — произносит Пастернак, — хотя бы ночью.

Зина гасит папиросу.

— Нет, а что если товарищ Федин все же прав? — повторяет Пастернак и в глазах его выражение отчаяния. — А что если я и в самом деле всего лишь самовлюбленный нарцисс, не видящий того, что происходит вокруг?

— Это неправда! — говорит Нина. — Поэт по одной травинке предсказывает надвигающуюся бурю.

— А что если я оторван от людей, а что если я просто эгоцентрик, или, как сказал Костя, солипсист?

— Нет, нет! — восклицает Нина.

— А что если, Ниночка, Россия это просто-напросто стада людей, стандартизованные рои, артельное общество, не больше. Вот рота шагает в ногу. И надо шагать в ногу. Ведь писал же «великий пролетарский поэт», Володя Маяковский, так увлеченно, так страстно:

Кто там шагает правой?

Левой, левой, левой...

— А потом, великий пролетарский взял и застрелился, — лаконично говорит Зина.

— И это было ужасно! — произносит Пастернак. — Я любил Володю.

— И я его любила, — говорит Зина.

После паузы Пастернак негромко произносит:

— А в общем, девочки... петушусь я петушусь, а сказать правду... страшно мне...

Ю. Кротков



Помнишь: встречу наших двух дорог
Я от перекрестка уберег
И для нас они слились в одну.
У дорог не надо быть в плену,
Их порою можно одолеть,
Надо только очень захотеть,
Не остановиться, не свернуть —
И дорога превратится в путь!



Когда они вконец восхищены —
У немцев есть неожиданное сравненье
(И все поэты знать о нем должны!):
«Скажи, ну разве не стихотворенье!?»

Так величают шляпку и вино,
Жаркое и цветок. Сравненье это
Меня, поэта, радует давно
Своим признаньем ценности поэта.

Когда забудут о моих стихах
И на немецком кладбище, под ивой,
Лежать я буду — у меня в ногах
Цветок быть может расцветет красивый.

И девушка, с возлюбленным вдвоем
По кладбищу гуляя в воскресенье,
Почтит его на языке своем:
«Скажи, ну разве не стихотворенье!?»



Подари себя любимой
Не в обертке золотой,
Лентой с бантиком хранимой
И с цветком на ленте той!

Пусть она узнает точно,
Что не так в твоей судьбе,
Что неладно, что непрочное,
Что неправильно в тебе!

Пусть сперва стучаться будет
К ней не радость, а беда!
Если всё-таки полюбит —
Не разлюбит никогда!



Листок, что с ним дружил всё лето,
Покинув только в сентябре,
Оставил светлую замету
На ярко-красной коже.

То, что сначала было тенью —
Теперь сиянием на ней!
Пусть игра воображенья,
Но это яблоко — вкусней!

А почему б и нет? Быть может
Смягчила бережная тень
Всё, чем томит и чем тревожит
Тяжелый, знойный летний день?

И стал душистей отчего-то
Листком убереженный плод?
Ведь вот и нас порой забота
Для лучшей доли бережет.

Дм. Кленовский, 1972

«РАШЕЛЬ»

Известно, что Михаил Булгаков (1891-1940) написал пять оперных либретто: «Иван Сусанин», «Минин и Пожарский», «Петр Великий», «Рашель» и «Черное море». Об этих операх, за исключением «Ивана Сусанина», у нас есть наибольшие данные о «Рашели», опере в одном действии известного композитора Р. М. Глиэра, написанной по рассказу Г. де Мопассана «Мадемуазель Фифи». Глиэр сочинил музыку для нее в 1942-43 годах, уже после смерти Булгакова. Премьера состоялась в 1943 году в Москве, по радио. Дирижировал А. И. Орлов, а роли исполняли: аббата Шантавуана — Л. И. Хачатуров и И. Е. Голянд, Рашель — С. Н. Киселева и Н. П. Рождественская. На сцене опера была поставлена 19 апреля 1947 года в Москве, в Концертном зале им. П. И. Чайковского, в концертном исполнении силами артистов Оперно-драматической студии им. К. С. Станиславского.

Клавир находится в Музфонде СССР, а один экземпляр (тираж был в 43-х) попал в Британский музей, который дал разрешение перепечатать текст либретто, сопровождающий ноты клавира. Текст печатается здесь по этому клавиру. Действующие лица: — Шантавуан, аббат (бас); Рашель (сопрано); Кельвейгштейн, капитан (тенор); Фриц, поручик (тенор).

Если сравнить либретто Булгакова с рассказом Мопассана, становится ясно, что в опере используется только основная его тема. Во время франко-прусской войны французская проститутка Рашель убивает немецкого офицера, оскорбившего ее, назвав французов рабынями и французов трусами. Священник, аббат Шантавуан, скрывает Рашель от немцев и потом, когда они вынуждены отступить из селения, охотно служит панихиду по убитому офицере, радуясь веселому звону колокола. У Мопассана больше внимания уделяется немцам и особенно убитому офицеру, фон Эйрику. А звон колокола имеет гораздо больше значения, чем в опере, так как Шантавуан до этого постоянно отказывался звонить в колокол в знак протеста против немецкой оккупации. Более того, у Мопассана есть жестокая ирония в том, что фон Эйрик все требовал от аббата звонить в колокол; и то, чего он не добился живым, сбылось после его смерти. На это есть только один намек в опере, в монологе Шантавуана в

Это неопубликованное либретто «Рашели» любезно предоставлено нам проф. А. К. Райт. РЕД.

последней сцене. Нельзя не признать, что рассказ Мопассана художественно гораздо богаче.

Несомненно, последние слова оперы надо читать как призыв к русским, тоже воюющим против немцев: не случайно опера была исполнена впервые во время войны. Но, конечно, оперные либретто дают писателю меньше возможностей для оригинальности, чем пьесы, и в этой работе мы найдем мало признаков творчества Булгакова. Надо тоже считаться и с тем, что роль М. Алигер нам неясна: возможно, что она сильно изменила текст. Тем не менее, либретто само по себе интересно как часть литературного наследия Булгакова и как указание на его деятельность в тот период, когда он работал в Большом театре.

А. К. Райт

«РАШЕЛЬ»

Опера в одном действии
музыка Рейнгольда Глиэра
либретто М. Булгакова и М. Алигер

№ 1. ВСТУПЛЕНИЕ

[без слов] —

№ 2.

Ночь в домике Шантавуана. Шантавуан в одиночестве сидит за письменным столом и пишет. Зашумел дождь.

ШАНТАВУАН: Опять разверзлись небеса! Благословенна ночь ненастья, лей, ливень, лей, и смой всю кровь с лица земли моей несчастной. Благословенна ночь уединенья, здесь в тишине меня покинула тоска, и мысль моя значительна, и голова легка. Ко мне нисходит вдохновение! К рассвету проповедь закончу. (*Пишет.*) Гром и град, и огонь на земле; и погибло, что было в полях, и вонзились в сердца и унынье, и страх.

Два дальних ружейных выстрела.

Что это значит? В селеньи было все спокойно. Тревога? Нет, это случайно стрелял какой-нибудь солдат. (*Пишет.*) О, верьте, свет придет в обитель, сердца покинет вечный страх. Не бойтесь, дети! Ваш хранитель стоит незримый на часах.

№ 3. СЦЕНА ШАНТАВУАНА И РАШЕЛИ

Стук в дверь.

ШАНТАВУАН: Кто там? Кто там?

РАШЕЛЬ (*за сценой*):

Откройте, или я погибла.

Шантавуан открывает дверь. Вбегает Рашель и Шантавуан отшатывается. Платье Рашели изорвано, с него бежит вода.

ШАНТАВУАН: Что с вами, дочь моя?

РАШЕЛЬ: Закройте дверь! Закройте дверь скорее.

ШАНТАВУАН: У вас в глазах безумие и страх. Кто гонится за вами?

РАШЕЛЬ: Смерть! Смерть... И если вы не скроете меня, Она меня настигнет!

ШАНТАВУАН: Кто вы такая?

РАШЕЛЬ: Я убийца... меня зовут Рашель, я проститутка из Руана, и полчаса тому назад во время пира в замке убила немца... лейтенанта маркиза Эйрика. За мною гонится облава! Во имя неба, спрячьте, спрячьте!

ШАНТАВУАН: О, Боже праведный! О, Боже! О, дочь греха, о, дочь разврата! Теперь погибнет тихий край! Я знаю немцев, они жестоки и свирепы, Теперь они нам станут мстить! О, горе бедным прихожанам! О, горе бедным прихожанам!

РАШЕЛЬ: О, сжальтесь надо мной. Спасите! Вы служитель Бога!

ШАНТАВУАН: Да, верно, я служитель Бога, вы ж покорились сатане! Зачем проклятая дорога вас ночью привела ко мне? Вы совершили преступление, я не могу вас прятать, нет! Здесь вас они легко найдут! Вас схватят, а меня убьют! Меня за что? Зачем покину прихожан? Кто их от немцев оградит? О, злая ночь, о, роковая ночь! Бегите, я не могу ничем помочь!

РАШЕЛЬ: Я ухожу навстречу смерти, они меня повесят! И я качнуся, как язык на колокольне, ударю в медь и прокричу о том, Что я одна, ничтожное, порочное создание, Одна вступилась за поруганную честь моей страны. Потом затихну, и вы увидите висящий неподвижно груз!.. Но знайте же, служитель Бога, что вы — вы не француз [*вариант*: патриот]!

ШАНТАВУАН: Остановитесь, и повторите все, что вы сказали! За что убили вы его?

РАШЕЛЬ: Он мне сказал, что мы теперь рабы пруссаков... Что женщины французские теперь продажные рабыни, что все французы трусы! Когда ж я крикнула ему, что он палач, что он

клеветает, он грязною рукой меня ударил по лицу! И я ему вонзила в горло нож! Теперь он плавает в крови.

ШАНТАВУАН: И это правда?

РАШЕЛЬ: Правда. Прощайте.

ШАНТАВУАН: Нет, о, нет, я вас не отпущу! Вот тайный ход на колокольню, О нем никто не знает. Бегите вверх и скройтесь там. Забейтесь в угол, сидите там, сидите беззвучно, неподвижно, замрите, словно мышь.

РАШЕЛЬ: Нет, я за вас боюсь, они убьют вас!

ШАНТАВУАН: Бегите же, бегите же скорей наверх. Да, следы, следы! О чуде я молю тебя, о чуде, Боже!

№ 4. СЦЕНА ШАНТАВУАНА, КЕЛЬВЕЙГШТЕЙНА И СОЛДАТ (ПОР. ФРИЦ)

Входит Кельвейгштейн.

ШАНТАВУАН: Что это значит, господин барон? Ужель я заслужил такое обращение?

КЕЛЬВЕЙГШТЕЙН: Оставим церемонии, кюре! Скажите, где она?

ШАНТАВУАН: Я вас не понимаю.

КЕЛЬВЕЙГШТЕЙН: Смотрите, вы играете с огнем!

ШАНТАВУАН: Я вас не понимаю.

КЕЛЬВЕЙГШТЕЙН: Ее следы ведут сюда, Она должна быть здесь, в дворе церковном.

ШАНТАВУАН: Сюда никто не прибегал.

КЕЛЬВЕЙГШТЕЙН: Кюре, вы правду говорите?

ШАНТАВУАН: Я никогда еще не лгал.

КЕЛЬВЕЙГШТЕЙН: Ну, что ж, ищите!

ПОР. ФРИЦ: За мною на чердак!

Солдаты рассыпаются повсюду.

КЕЛЬВЕЙГШТЕЙН: Французская дрянная потаскушка, О, ты ответишь мне за эту смерть, За кровь германца ты с лихвой заплатишь.

№ 5. АРИЯ КЕЛЬВЕЙГШТЕЙНА

КЕЛЬВЕЙГШТЕЙН: Когда мои немецкие солдаты тебя в углу каком-нибудь найдут, как жалкую овцу тебя веревкой скрутят и по земле ко мне приволокут. Тогда поймешь ты цену этой крови, тогда с тобою расквитаюсь я. И будешь ты в ногах моих валяться, как падаль... нет, как родина твоя! Да, да, вся Фран-

ция, как жалкая девчонка, избитая ударами сапог, окружена немецкою веревкой, валяется в пыли у наших ног. Что Франция! Я вглядываюсь дальше: от шага наших войск земля дрожит, весь мир, разбитый, побежденный, у ног германцев связанный лежит. И вот весь мир, разбитый, побежденный, у ног германцев связанный лежит!

№ 6. СЦЕНА КЕЛЬВЕЙГШТЕЙНА, ШАНТАВУАНА, ПОРУЧ. ФРИЦА И СОЛДАТ

Входят поруч. Фриц и солдаты.

ПОР. ФРИЦ: Все поместье обыскали, ее нигде нет, господин барон.

КЕЛЬВЕЙГШТЕЙН: Проклятие, куда ж она девалась? Эй, осмотреть конюшни во дворе!

Пор. Фриц и солдаты уходят. Кельвейгштейн ходит взад и вперед по комнате. Нервничает. Кельвейгштейн вдруг замечает шов на обоях. Вздрагивает, но овладевает собой, и не показывает виду, что заметил. Вбегает поручик Фриц.

ПОР. ФРИЦ: В конюшнях и сараях пусто, На колокольную вход забит.

КЕЛЬВЕЙГШТЕЙН: Да, это чудеса! Напрасно мы вас потревожили, кюре, Но, сами понимаете, долг службы! Вы можете поклясться, что не было ее у вас?

ШАНТАВУАН: Клянуся Богом всемогущим, Пусть он накажет за лживый ответ! Клянуся Богом вездесущим, ее здесь не было и нет!

КЕЛЬВЕЙГШТЕЙН: Смотрите, прусские солдаты, как лжет священник вам в лицо! Кюре, вы сильно рисковали, вам надлежало б это знать. Скорее к стенке становитесь.

ШАНТАВУАН: За что?

КЕЛЬВЕЙГШТЕЙН: Молчать! Чутье меня не обмануло. Поручик, проститутка там. Эй, вскрыть тайник, а мне сюда шеренгу!

Поручик Фриц и двое солдат бросаются к тайнику, шесть солдат выстраиваются в шеренгу.

КЕЛЬВЕЙГШТЕЙН: А вас я расстреляю, лишь только выведут ее; Платок ему, чтоб завязать глаза!

ШАНТАВУАН: Не надо.

КЕЛЬВЕЙГШТЕЙН: Как угодно. Взять ее живой!

Поручик Фриц с двумя солдатами скрываются за дверью тайника.

КЕЛЬВЕЙГШТЕЙН: Аббат! Там никого нет, вы сказали? Там никого нет, вы сказали? А это что? Раз! Два!

Вбегает обратно поручик Фриц.

ПОР. ФРИЦ: На колокольне пусто, там никого нет.

КЕЛЬВЕЙГШТЕЙН: Быть не может! А кто ж стрелял?

ПОР. ФРИЦ: Там, за оградой, мелькнула темная, бегущая фигура, бежал мужчина. Я стрелял.

КЕЛЬВЕЙГШТЕЙН: За ним в погоню!

Поручик Фриц выбегает с частью солдат.

КЕЛЬВЕЙГШТЕЙН: (шеренге): Эй, отставить! Марш!

Шеренга выходит.

КЕЛЬВЕЙГШТЕЙН: (обращаясь к Шантавуану): Ну что-ж, я очень счастлив, что дело приняло хороший оборот: не унывайте, мы ее разыщем и утром повесим под колокольной у ворот. До свиданья.

№ 7. СЦЕНА РАШЕЛИ И ШАНТАВУАНА

ШАНТАВУАН: Что это было, я не знаю, я разум потерять боюсь.

Шантавуан бросается к выходной двери и закрывает ее. Рашель появляется в дверях тайника, она хромает.

РАШЕЛЬ: Кюре!

ШАНТАВУАН: Несчастлиная, не выходите! Как вы спаслись?

Шантавуан подбегает к Рашели, потом схватывает графин с водой, мочит платок, наклоняется над Рашелью.

РАШЕЛЬ: Я поднялась по стене, цепляясь за гвозди. достигла перекадин, вцепилась в язык и в колоколе повисла, как мышь летучая, как мышь! Кюре! Кюре!

№ 8. СЦЕНА ШАНТАВУАНА И КЕЛЬВЕЙГШТЕЙНА

[Здесь вставка, написанная чернилами: следует ария Рашели «О родина моя» — А. К. Р.]

Стук в дверь. Шантавуан втаскивает Рашель вглубь тайника, закрывает дверь тайника и открывает наружную дверь. Входит в походной форме Кельвейгштейн.

КЕЛЬВЕЙГШТЕЙН: Снова к вам, кюре, но не надолго; приказ мы получили срочный: немедленно из вашего селенья

мы выступаем, мы не нашли девчонку. Тысяча чертей! А мешкать нам нельзя, должны мы следовать приказу, и времени осталось ровно столько, чтобы фон Эйрика, беднягу, в могилу опустить. Извольте приказать, чтоб в церкви зазвучал орган и чтобы колокол ударил. Прощайте.

ШАНТАВУАН: Я вам охотно повинуюсь, Я вам охотно повинуюсь.

№ 9. ФИНАЛ И АПОФЕОЗ

ШАНТАВУАН (*в то же время, как хор поет: Dies irae dies illa solvet saeculum in favilla*): Пусть эту музыку услышит враг. Пусть заглушится звоном погребальным, торжественным, прекрасным и печальным, кровавых полчищ озверелый шаг! Пускай нарушит гордое звучанье поработенной родины моей зловещее и грозное молчанье, солдат германских жадная орда, тебе на поруганье Край наш отдан. Немецкий офицер, ты шел сюда, чтоб издеваться над моим народом. Наш гордый дух в крови хотел ты утопить. Свою жестокость выдавал за силу. Ты Францию хотел поработить — во Франции нашел свою могилу, во Франции нашел свою могилу. Тебя убила смелая рука отечества прекрасной патриотки, пусть этот образ чистый, кроткий, запомнится отчизне на века! Пусть этот образ запомнится отчизне на века! Отчизне на века! Пусть заглушится звоном погребальным, торжественным, прекрасным и печальным, кровавых полчищ озверелый шаг! Пусть заглушится звоном погребальным кровавых полчищ озверелый шаг! Греми же, колокол! Греми же, колокол! Над бедной родиной моей, Наш чистый колокол, звучи! Пред чистой [*вариант: грозной*] музыкой твоей Пусть содрогнутся палачи, пусть содрогнутся палачи!

ХОРЫ: Dies irae!

ШАНТАВУАН: Пусть возвестит она народу, который в долгом рабстве жил, свою бессмертную свободу народ французский не забыл.

ХОРЫ: Dies irae!

ШАНТАВУАН: Я верю, грозный час настанет, пора отмщения придет, народ французский снова встанет и за свободу в бой пойдет!

ХОРЫ: Hosanna in excelsis! Hosanna in excelsis! Hosanna in excelsis! (*и так далее до конца — А. К. Р.*)

КОНЕЦ

СОКРОВЕННОЕ

Среди деталей и основ
На свете много дряни.
Воображения покров
Любой дороже ткани.

Раздень весь мир и посмотри:
Как черви скользки девы,
Под платьем голы короли
И даже королевы.

Пускай цветёт, врагам на страх,
Незнания истома.
В любви, в изменах и в стихах
Не обнажай приёма.

САМОСТЬ

Приобретя умение,
Не думай, что велик,
Основы вдохновения
Еще ты не постиг.

В самом себе разыскивай
Пути к любви, к борьбе;
Пусть всё чужое — близкое
Перегорит в тебе.

Ухватки, даже тятины,
Поэту не под стать.
Нельзя без отсебятины
Хоть что-нибудь создать.

Глеб Глинка

ОБ ОДНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ

1

Достоевский и Пушкин!

Тема преемственности в творческом и историко-литературном звучании двух этих имен не нашла как будто достаточно места среди множества тем, вызванных к жизни минувшим юбилеем Достоевского.

У западных ученых — во всяком случае. В СССР на научной конференции при Институте мировой литературы им. А. М. Горького 23-27 октября говорил на эту тему проф. Д. Благый; позже, уже в апреле 1972 года, на конгрессе в Венеции, — академик М. П. Алексеев.

Достоевский и Пушкин!

Досадно бывает «контрастное» противопоставление этих имен иными популяризаторами русской литературы. С утверждением, что вот, дескать, Пушкин — начало оптимистическое, Достоевский же всегда трагичен и живописал главным образом человеческие страдания.

«Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать» — голос Пушкина, не Достоевского.

И разве оптимистичен, например, «Евгений Онегин»?

Поэтическое явление этого романа, по словам самого поэта, — плод «Ума холодных наблюдений И сердца горестных замет»; сюжет — три трагедии: Ленского и двух любящих; внутренняя тема — безжалостность судьбы: в словах Татьяны «А счастье было так возможно, Так близко» — весь знаменательный центр романа.

И тем не менее Пушкин гармоничен в своем восприятии солнца и мрака жизни, гармоничен, как никто до него из русских писателей и никто — после, исключая разве что Чехова; гармоничен и *светел*.

Этой пушкинской светлостью и гармонией Достоевский был впечатлен на всю жизнь, к ней — недостижимо — стремился, Пушкина считал истоком всего позднейшего литера-

турного творчества в России: «У нас ведь всё от Пушкина», — писал в «Дневнике».

Как, однако, поэтически откликнулся в Достоевском Пушкин? В каких вещах, в каких творческих мотивах и формах?

Откликнулся в первом же романе «Бедные люди», в образе несчастного, но столь достойного в самой своей униженности Макара Девушкина.

Попутно с этим утверждением нужно разрушить еще одно «популяризаторское» представление — о литературном генезисе этого образа-темы, темы о маленьком и бесправном чиновнике, столь частой у последователей так называемой «натуральной школы», что поэт П. И. Вейнберг в 1859 году даже и пародировал ее в своем известном:

Он был титулярный советник,
Она — генеральская дочь.
Он ей в любви объяснился,
Она прогнала его прочь...

Изречение: «Мы все вышли из гоголевской 'Шинели'», которое Мельхиор де Вогюэ приписал Достоевскому и которое получило широкое распространение, прилагается популяризаторами и к образу Девушкина, якобы «повторяющего» гоголевского Акакия Акакиевича.

Опровержение этому нетрудно найти в самом романе Достоевского: Варенька посылает Девушкину гоголевскую повесть, и почти неодушевленный облик Акакия Акакиевича, не замечавшего на улице, как на него выбрасывали из окна «всякую дрянь», а дома столь же бесчувственно поглощавшего щи с мухами, кажется Девушкину безжалостным пасквилем на человека. «Да ведь это злонамеренная книжка, Варенька; это просто неправдоподобно, потому что и случиться не может, чтобы был такой чиновник», — пишет он.

Нет, конечно, первым в литературной галерее парий тогдашней чиновничьей иерархии был не гоголевский Акакий Акакиевич, но пушкинский Самсон Вырин — станционный смотритель из «Повестей Белкина». Варенька посылает Девушкину также и пушкинские повести, и именно в Самсоне Вырине находит он родственную себе душу. «Ведь я то же самое чувствую, вот совершенно как в книжке, — восклицает Девушкин, — да я и сам в таких же положениях подчас нахо-

дился, как, примерно сказать, этот Самсон-то Вырин, бедняга. Да и сколько между нами-то ходит Самсонов Выриных, таких же горемык сердечных! И как ловко описано всё! Меня чуть слезы не прошибли, маточка, когда я прочел, что он спился, грешный, так, что память потерял, горьким сделался и спит себе целый день под овчинным тулупом...»

Проф. Д. Благой в своем докладе справедливо считает, что если следовать приведенной выше метафоре Мельхиора де Вогюэ, «точнее будет сказать, что герой «Бедных людей» литературно вышел из-под того «овчинного тулупа», которым прикрывался пушкинский станционный смотритель».¹



Пушкинская тема отца и дочери, разлученных вторжением третьего, из среды сильных мира сего, повторится в романе «Униженные и оскорбленные». Там старик Ихменев, разоренный князем Валковским, проклинает свою дочь, полюбившую сына князя.

А в последнем романе Достоевского, «Братья Карамазовы» — снова переключка со «Станционным смотрителем». В пушкинской повести Самсон Вырин отправляется в Петербург, чтобы вырвать свою Дуню из рук похитителя. Минский в первое посещение старика сует ему за обшлаг рукава деньги и выпроваживает на улицу. Там с Выриным происходит следующее:

«Долго стоял он неподвижно, наконец увидел за обшлагом своего рукава сверток бумаг; он вынул их и развернул несколько пяти и десятирублевых смятых ассигнаций. Слезы опять навернулись на глазах его, слезы негодования! Он сжал бумажки в комок, бросил их наземь, притоптал каблуком и пошел... Отошед несколько шагов, он остановился, подумал... и воротился... но ассигнаций уже не было. Хорошо одетый молодой человек, увидя его, подбежал к извозчику, сел поспешно и закричал: «Пошел!». Смотритель за ним не погнался».

В «Братьях Карамазовых» выведено несчастное семейство отставного штабс-капитана Снегирева. Бедного штабс-капита-

¹ Содержание доклада проф. Д. Благого появилось в № 11 журнала «Москва» за 1971 год; эта моя статья была к тому времени уже написана, войдя в курс моих лекций по Достоевскому, но некоторые отклики на концепции проф. Благого я включаю в нее дополнительно.

на Дмитрий Карамазов оттащал за бороду-«мочалку». Алеша приносит обиженному двести рублей от невесты Дмитрия, Катерины Ивановны. Сцена из «Станционного смотрителя» повторяется. Штабс-капитан — «вдруг с каким-то остервенением схватил их (кредитки. Л. Р.), смял и крепко зажал в кулаке правой руки.

— Видели-с, видели-с! — взвизгнул он Алеше, бледный и иступленный, и вдруг подняв вверх кулак, со всего размаху бросил обе смятые кредитки на песок, — видели-с? — взвизгнул он опять, показывая на них пальцем, — ну так вот же-с!..

И вдруг подняв правую ногу, он с дикою злобой принялся топтать их каблуком, восклицая и задыхаясь с каждым ударом ноги.

— Вот ваши деньги-с! Вот ваши деньги-с! Вот ваши деньги-с! Вот ваши деньги-с! — Вдруг он отскочил назад и выпрямился перед Алешей. Весь вид его изобразил собой неизъяснимую гордость.

— Доложите пославшим вас, что мочалка чести своей не продает-с! — вскричал он, простирая на воздух руку».

2

В 1864 году в журнале Достоевского «Эпоха» печатается повесть «Записки из подполья» — как бы введение, увертюра к его романам-мистериям. В образе человека из подполья рассматривает Достоевский то, что в дальнейшем и будет его занимать как художника-мыслителя: борьбу в человеческой душе гордости и смирения, всеотрицания и любви, добра и зла, Бога и дьявола.

Проф. Благой полагает, что само заглавие повести подсказано, может быть, Достоевскому репликой Альбера, сына барона из пушкинского «Скупого рыцаря»:

...пойду искать управы
У герцога: пускай отца заставит
Меня держать как сына, не как мышь,
Рожденную в подполье.

Предположение можно, конечно, оспаривать: сочетание «подпольная мышь» в разговорном быту было вполне обычно (см. Даля). Гораздо отчетливее перекличка с Пушкиным —

в заглавии второй части повести: «По поводу мокрого снега». Заглавие это с особой, структурной функцией продлено затем в сопутствующем переживаниям героя зимнем пейзаже. Этот пейзаж с его образными слагаемыми — падающим мокрым снегом, тусклыми фонарями, городским тщедушным извозчиком — как бы «переснят» Достоевским из «Пиковой дамы» Пушкина и в отдельных деталях многожды повторен в повести, образуя в ней своеобразный *ритм*.

Соответствующий фрагмент в «Пиковой даме» представляет собой по внутренней своей музыке и филигранности речевого строя ту творческую вершину русской прозы, на которой она как бы просится в стихи:

Германн трепетал, как тигр,
ожидаая назначенного времени.

В десять часов вечера
он уже стоял у дома графини.

Погода была ужасная:
ветер выл,
мокрый снег падал хлопьями;
фонари светились тускло;
улицы были пусты.

Изредка тянулся Ванька на тощей кляче своей,
высматривая запоздалого седока...

В «Записках из подполья»: «В невыразимой тоске я подходил к окну, отворял форточку и вглядывался в мутную мглу густо *падающего мокрого снега*» (стр. 192).² У крыльца стоял *одинокий ванька*, ночник, в сермяге, весь запорошенный все еще *валившимся мокрым* и как будто теплым *снегом* (202). *Мокрый снег валил хлопьями*, я раскрылся, мне было не до него (205). Я прошел всю дорогу пешком, несмотря на то, что *мокрый снег* все еще *валил хлопьями* (222). Было тихо, *валил снег и падал* почти перпендикулярно, настилая подушку на тротуар и на пустынную улицу. Никого не было прохожих, никакого звука не слышалось. *Уныло* и бесполезно *мерцали фонари* (242).

² Страницы указаны по 4-ому тому Собр. соч-ий в десяти томах. М., 1956.



Перекличка со «Скупым рыцарем» (на ней Д. Благой в своем докладе останавливается весьма подробно) представлена отчетливо в предпоследнем большом романе Достоевского «Подросток», герой которого приходит к решению, или, как он это называет, «идее», скопить миллион, стать Ротшильдом, чтобы приобрести власть, которую дает золото.

Преемственную связь этой своей идеи с Пушкиным Подросток подтверждает сам: «Я еще в детстве выучил наизусть весь монолог скупого рыцаря у Пушкина; выше этого по идее Пушкин ничего не производил», — говорит он.

И как и пушкинского барона, Подростка прельщает не само по себе обладание деньгами как меновой, покупательной ценностью, но то могущество, то ощущение силы, которое так льстит человеческой гордости и которое дается человеку богатством.

В монологе пушкинского Скупого апофеоз золота — апофеоз власти:

Что не подвластно мне? как некий демон

Отселе править миром я могу;

Лишь захочу — воздвигнутся чертоги;

В великолепные мои сады

Сбегутся нимфы резвою толпою;

И музы дань свою мне принесут,

И вольный гений мне поработится...

.....

Мне всё послушно, я же — ничему;

Я выше всех желаний; я спокоен;

Я знаю мощь мою: с меня довольно

Сего сознанья...

Стоит отметить те же мысли, даже те же самые выражения и слова в рассуждениях и признаниях героя романа Достоевского:

«Мне нужно лишь то, что приобретается могуществом и что никак нельзя приобрести без могущества: это уединенное и спокойное сознание силы! ...У меня сила и я спокоен...
...Не я буду лезть в аристократию, а она полезет ко мне, не я буду гоняться за женщинами, а они набегут, как вода, предлагая мне всё, что может предложить женщина...»

И так далее — та же, что и у пушкинского барона, одер-

жимость *гордостью*, скорее, чем непосредственно жадой золота.



Гордыня. Золото. Злодейство.

Воплощена эта тема у Пушкина тремя годами позже создания «Скупого рыцаря», в повести «Пиковая дама». У Германа, — говорит Томский, — «...профиль Наполеона, а душа Мефистофеля. Я думаю, что на его совести по крайней мере три злодейства».

Он в самом деле безжалостен, пушкинский Германн. Вторгшись к старой графине, он ведь лишь вначале — проситель, умоляющий выдать ему тайну «трех карт», но тут же и ожесточается и оборачивается одержимым дьявольским соблазном злодеем. Недаром и слово «дьявольский» срывается с его уст. Вот он на коленях перед графиней:

«...откройте мне вашу тайну! — что вам в ней?... Может быть, она сопряжена с ужасным грехом, с пагубою вечного блаженства, с дьявольским договором... Подумайте: вы стары; жить вам уж недолго, — я готов взять грех ваш на свою душу... Старуха не отвечала ни слова. Германн встал. — Старая ведьма! — сказал он, стиснув зубы, — так я же заставляю тебя отвечать... С этим словом он вынул из кармана пистолет».

Как полно и совершенно продлена эта тема в «Преступлении и наказании»!

Могут возразить: Раскольников убивает не столько в стремлении к золоту, но — потому, что относит себя к категории сверхлюдей, имеющих право преступать человеческие и Божеские законы, обязательные для «толпы», хочет испытать, проверить, убедиться, действительно ли он из «избранных».

Но именно у Пушкина мы и находим упоминание об этой одержимости доморощенных сверхчеловеков. В «Евгении Онегине» читаем:

Мы все глядим в Наполеоны;
Двуногих тварей миллионы
Для нас орудие одно.

У Германа была «душа Мефистофеля». Дьявольский соблазн («...мысль непомерной гордости, высокомерия и презре-

ния к... обществу», — записывает Достоевский) царил в душе Раскольникова: «От Бога вы отошли, и вас Бог поразил, дьяволу предал», — говорит ему Соня Мармеладова. Оба — Германн и Раскольников — братья по бесу.



Религиозно-философская тема «Преступления и наказания»: *не убий* повторена в романе «Бесы». Убийство (Шатова), начиная с первичного замысла, так и осталось сюжетным стержнем романа; мистерия одержимости озадачила его «изнутри» («Бесы вышли из русского человека и вошли в стадо свиней, то есть в Нечаевых, Серно-Соловьевичей и прочих», — писал Достоевский). Активнейшему из одержимых, Петру Верховенскому, придается даже и внешний облик беса: язык у него «...должно быть, какой-нибудь особенной формы, какой-нибудь необыкновенно длинный и тонкий, ужасно красный и с чрезвычайно острым, непрерывно и невольно вертящимся кончиком». «Мы провозгласим разрушение...» — сыплется он, захлебываясь, этим своим на жало похожим языком. — «Мы пустим пожары... Мы пустим легенды... Начнется смута! Раскачка такая пойдет, какой мир еще не видал... Затуманится Русь, заплачет земля по старым богам...»

Программа бесов! И эпиграфом к роману взяты строчки из пушкинских «Бесов» — темы и символа блужданий, вызванных бесовским наваждением:

Хоть убей, следа не видно,
Сбились мы, что делать нам?
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам...

Пушкин стоял перед творческим взором автора в самом процессе работы над романом. Запись: «Рассказ вроде пушкинского, кратко и без объяснений психологических, открытый и простодушный».

Не от Пушкина ли и отрицание смуты и крови как способов совершенствования социального устройства. Это ведь пушкинское: «Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений». Или: — «Не приведи Бог видеть русский бунт — бессмысленный и беспощадный».



«Одержимым» противостоят у Достоевского верные Небу: Алеша Карамазов в последнем романе, князь Мышкин — в романе «Идиот», самом, вероятно, любимом романе автора (романом-поэмой» называет его Л. Гроссман). Внутренняя тема этого романа — первоначальность христианской любви в мире душевных человеческих отношений. Ее, эту любовь-милосердие, любовь-сострадание, по замыслу автора, воплощает в себе князь Мышкин.

И как примечательно, что среди различных фрагментов и приемов, предназначенных *сложить* облик князя, центральная характеристика этого облика берется у Пушкина. Устами любящей князя Аглаи Епанчиной, проникновенно и лирически, вводится в роман пушкинское стихотворение о Рыцаре бедном, написанное в 1829 году и позже, в переделанном виде, вошедшее в «Сцены из рыцарских времен». Этот посвятивший себя Богородице и чистой любви рыцарь — не только романтический, но и идеальный прообраз героя романа. Интересен выбор Достоевским самой редакции стихотворения. В раннем варианте есть строфа с упоминанием о Швейцарии:

Путешествуя в Женеву,
На дороге у креста
Видел он Марию Деву,
Матерь Господа Христа.

В прочтенном Аглаей варианте строфа эта отсутствует, но зато заключительная содержит еще более конкретную сюжетно-биографическую параллель судьбе Мышкина:

Возвратясь в свой замок дальный,
Жил, он, строго заключен,
Всё безмолвный, всё печальный,
Как безумец умер он.

3

Романы-мистерии Достоевского («мистерии» — потому что неустойчивое притяжение души человеческой то к Небу, то к духу зла — поистине и «тайна», и «таинство») называют иногда романами-трагедиями.

Связь их с «маленькими трагедиями» Пушкина поразительна. Связь эта — в природе страстей, лежащих по ту сторону Добра и движимых прежде всего «непомерною гордостью».

Я царствую!.. Какой волшебный блеск!
Послушна мне, сильна моя держава;
В ней счастье, в ней честь моя и слава!
Я царствую!...

воскликает пушкинский барон, любуясь своими сокровищами в блеске зажженных свечей. Какая кульминация гордости в этом упоении золотом!

Или:

Кто скажет, чтоб Сальери гордый был
Когда-нибудь завистником презренным...

Он именно гордец, пушкинский Сальери. Это «непомерная гордость» мешает ему вынести величие Моцарта.

И Дон Гуан «Каменного гостя»; гордость покорителя женских сердец не сильнее ли в нем самих увлечений? Есть у Алексея К. Толстого драматическая поэма «Дон Жуан». В «Прологе» этой поэмы выведен Сатана, который именно так и толкует природу дон Жуана:

Ведь черту, говорят, достаточно схватить
Кого-нибудь хоть за единый волос,
Чтоб душу всю его держать за эту нить
И чтобы с ним она уж не боролась;
А дон Жуан душой как ни высок
И как ни велики в нем правила и твердость,
Я у него один подметил волосок,
Которому название — гордость!

Соблазн «непомерной гордостью» в образах Достоевского (Раскольников, Ставрогин и др.) получил совершеннейшее выражение, «одержимость» страстями — силу неслыханную.

Есть у Пушкина творческое воплощение этого «экстремизма» страстей. Дано оно в последней маленькой трагедии «Пир во время чумы», в Песне председателя. Вещь в целом, как известно, представляет собой перевод отрывка из драматической поэмы Джона Вильсона «The City of the Plague»

(«Чумный город»), но как раз эта песня оригинальна вполне. Председатель славит чуму за то, что она дала возможность ему и его друзьям испытать наслаждение риска, предельного небрежения может быть уже и вступившей в них гибелью:

Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане,
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении чумы...

В «Дневнике писателя» — о ярчайшей черте русского человека: «Это — потребность хватить через край, потребность в замирающем ощущении, дойдя до пропасти, свеситься в нее наполовину, заглянуть в самую бездну и, — в частных случаях, но весьма нередких, — броситься в нее, как ошалелому, вниз головой...» — «Любовь ли, вино ли, разгул, самолюбие, зависть — тут иной русский человек отдается почти беззаветно, готов порвать всё, отречься от всего: от семьи, обычая, Бога...»

Вот один (из многих возможных) пример творческого сопоставления с этой записью. Дмитрий Карамазов. Сокрушив Григория, старого слугу своего отца, он мчится на тройке в Мокрое, куда к своему первому возлюбленному уехала Грушенька. И находит ее и, освободившись от соперника, заказывает вина и цыган. В это самое время, вероятно, Смердяков приканчивает Федора Карамазова. Дмитрий не знает этого, но на руках у него кровь старика-слуги, которого, предполагает он, он убил, на совести — чужие деньги, истраченные на кутеж. Однако за улыбку Грушеньки готов он отдать всё, забыть всё...

«Он вышел в сени на деревянную верхнюю галерейку, обходившую изнутри, со двора часть всего строения. ...‘Вот если застрелиться, так когда же как не теперь? — пронеслось в уме его. — Сходить за пистолетом и вот в этом самом, грязном углу и покончить’. Почти с минуту он стоял в нерешимости. Давеча, как летел сюда, сзади него стоял позор, совершенное, содеянное уже им воровство и эта кровь, кровь!.. Но все же как бы луч какой-то светлой надежды блеснул ему во тьме. Он сорвался с места и бросился в комнаты — к ней,

к ней опять, к царице его навеки! 'Да неужели один час, одна минута ее любви не стоят всей остальной жизни, хотя бы в муках позора?' Этот дикий вопрос захватил его сердце... 'Да пусть же, пусть, что бы теперь ни случилось — за одну минуту весь мир отдам', — промелькнуло у него в голове.

4

Обожание Пушкина пронес Достоевский через всю свою жизнь. Уезжая в 1874 году на два месяца в Бад Эмс, он берет с собою книги Пушкина. «До сих пор читал только Пушкина и упивался восторгом, каждый день нахожу что-нибудь новое», пишет он.

Тема пушкинского «Пророка» — высота творческого слова и миссии писателя — восхищала его всегда. В Москве знал я одну почтенную даму, которая в свое время встречалась с Достоевским и при которой он читал это стихотворение. Читал волнуясь, как бы лично, отнесенно к себе самому переживая пушкинские строки. А на строфе: «Восстань, пророк, и виждь, и внемли» охватывала его всего дрожь, голос звенел, и когда эта старая дама пыталась передать его чтение, то начинала дрожать и задыхаться сама, так что меня попросили никогда с ней о «Пророке» не заговаривать.

Но венцом этого обожания была у Достоевского, разумеется, пушкинская его речь — 8-го июля в Москве на открытии памятника поэту.

Величие Пушкина и народность его гения, утверждал Достоевский, сказались во всемирной его «отзывчивости» («...не было поэта с такою всемирной отзывчивостью, как Пушкин»), его «всечеловечности». «Назначение русского человека, — говорил Достоевский, — есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только... стать братом всех людей, *всечеловеком*, если хотите». — «...Наш удел и есть всемирность, не мечом приобретенная, а силой братства и братского стремления нашего к воссоединению людей».

Так, вдохновленная Пушкиным, его народностью и всечеловечностью, складывалась *русская идея* самого Достоевского.

Л. Ржевский

ДВЕНАДЦАТЬ ЛЕТ

Густые травы — стрельчатые уши,
Двенадцать лет — кузнечика прыжок.
Там каждый день устои детства рушит,
И каждый день насквозь меня прожог.
Ассоциаций сетка узловая,
Сквозных спряжений неуёмный нрав,
Грамматика сплошного узнавания,
Биенье сердца у растущих трав...
Любая встреча станет эстафетой,
Двенадцать лет — двенадцатого века
Церковный свод. Зелёный воздух лета,
Мир тщательно скрываемый от всех —
Подземный ход и рыцарский доспех.
Что тоньше утра — лёгкого эфира
Двенадцати едва пройдённых лет,
Горит палитрой звонкая квартира,
И в пятнах света — первообраз мира,
И первых образов прозрачный след.
Двенадцать лет — на школьные тетради
Ложится отблеск будущего — вот
Своей водой и стёклами играя
Старинная Голландия плывёт,
Вот голова Венерина возникла,
Вот — Дионис, вот — Греция Перикла,
Из старой книги выглянул Плотин,
Ослабился — и за сердце схватил.
Двенадцать лет — травинка между губ,
Сустав травинки — в нём — задаток счастья,
Захват дыханья. Паруса Гангут
И контуры влюблённости тончайшей.
Двенадцать лет. И как бы не был крут
На этих днях налёт военной сажки,
Сияньем непорочного витража
Они живут.

УЩЕЛЬЕ

Здесь высота неимоверна,
Березы-козы в зубьях скал,
Блеск пены в каменных кавернах
Слепит как ножевой оскал.
Вода сверлит и точит камень,
Вода алмазными бросками,
Срываясь, открывает бой
По горловине гробовой.
Автомобильный рев больших
И капли мелких водопадов,
Эпилептический припадок
Сквозных березовых вершин.
Провал вневнеменно глубок,
В нем годы, как песчинки тонут,
Преддверье дантовых кругов,
Театр ослепшего Мильтона.

Олег Ильинский

МУЗЫКА РЕЧИ

Если говорить о музыке, *в собственном смысле слова*, применительно к поэтической речи, можно в лучшем случае написать книгу вроде уже написанной, полвека назад, Леонидом Сабанеевым («Музыка речи», Москва, 1923), и прошедшей незамеченно, — что я готов признать несправедливым. Интересных результатов, однако, он, и на мой взгляд, в этой книге не достиг. Теория музыки к теории поэзии либо не применима, либо применима лишь по аналогии. «Музыка» вне музыки — метафора. Но метафора здесь — да и вообще нередко в дисциплинах, имеющих дело с человеком — как раз и плодотворней, чем прямое словоупотребление. При условии, конечно, ее осознания и различения разных ее пластов или этажей.

Довольствоваться формулами, кое в чем и соблазнительными, как например, «поэзия есть музыка души», именно и значило бы попасться на удочку этого соблазна — весьма поверхностного, как это сразу же станет ясно, если вспомнить, что фраза эта принадлежит Вольтеру, охотно повторявшему ее и вместе с тем требовавшему от стихов наистарательнейшего приближенья к «чистоте и ясности самой корректной прозы». Зато когда Гердер, не на много позже, в свою очередь называет поэзию музыкой души, слова его совсем другой вызывают у нас отклик, оттого что он эту музыку противопоставляет всем искусствам, обращенным к чувственным нашим восприятиям, в том числе и музыке. Та, что поэзией зовется — не для уха. Вот как? Только для духа? Нет сомнения, что Гердер и ушами слушать ее умел. Лучше многих других... Но вот уже и различие налицо, которое вводит нас в самую суть дела.

1. Музыка мысли и музыка речи

«Тот, у кого нет музыки в душе, никогда не будет подлинным поэтом». — «Секрет писательства — вечная музыка в душе».

Второе было сказано почти через сто лет после первого. Розанов Кольриджа не читал. Не думал, конечно, и о «Венецианском купце», откуда тот позаимствовал первую половину своей фразы (с тою — нечаянной скорее всего — разницей, что написал «в душе», а не «в себе»). Там, однако, Лоренцо, лунной ночью, вместе с Джессикой ожидая Порцию и счастья, ею обещанного им обоим, возносит убаюканную редкостной даже у Шекспира стихотворной музыкой хвалу — не музыке, в других искусствах находимой или им необходимой, но ей самой, без метафор, а также музыке жизни, любви; духу музыки; всему тому, чем она очеловечивает человека. Ни Розанов, ни Кольридж об этом не говорят; но и не говорят они порознь об одном и том же. Только ежели не очень в их слова вникать, можно подумать, что это попросту два голоса из многоголосого, разноголосого хора помнящих о первобытной мусикии, о слиянии в ней музыки и слова (да еще и танца или пантомимы) поздних ее наследников. О ней ведь в новые времена случалось и музыкантам, создателям оперы, например, а затем Бетховену и особенно Вагнеру тосковать. В этом хоре нетрудно расслышать голоса и Малларме, с его подхваченным Валери наказом поэту «отобрать у музыки свое добро», и Верлена, с его оскомины успевшим набить предписанием стихотворцу искать «музыки прежде всего»; даже и Ходасевича у нас — вот уж поэт не похожий на Верлена! —

Бессвязные, страстные речи!
Нельзя в них понять ничего,
Но звуки правдивее смысла,
И слово сильнее всего.

И музыка, музыка, музыка
Вплетается в пенье мое,
И узкое, узкое, узкое
Пронзает меня лезвие...

Стоит, однако, вслушаться, и сразу себя спросишь: да разве все они и впрямь об одном? Верлен не обинуясь отдавал первенство напевности, мелодичности стиха, которой он был столь исключительным мастером; тогда как Малларме не о мелодии хлопотал, а о том, чтобы слова заговорили тем вторым, от предметных значений наотрез отказавшимся языком,

который достаточен и необходим для *смысловой* их музыки. Что же до Ходасевича, то слагатель его «Баллады» уже полным голосом поет, когда в пение это «вплетается» — или вторгается? — другая, потусторонняя (как из дальнейшего видно) музыка; и если «звуки правдивее смысла», то все-таки *слово*, не сводимое к звуку, для него, пусть и с лирой, с «тяжелой лирой» в руках, «сильнее всего». Розанов же и вообще о «писательстве» говорит, не о стихотворстве. Послушаем сперва Кольриджа.

Все в той же «Биографии» своей, в пятнадцатой главе, — гораздо реже, по странному недосмотру, обсуждаемой, чем справедливо прославленные, но более узкие по теме, семнадцатая и восемнадцатая, — он пытается, на основе шекспировских двух поэм установить, в чем корень поэтического дарования или «каковы главнейшие признаки его мощи». Обнаруживает признаки эти, по его словам, прежде всего «совершенная сладостность» стиха (или стихосложения, как он говорит) и соответствие звучания его поэтической теме; а также умение разнообразить «шестие слов», не впадая в более возвышенный или торжественный ритм, чем тот, которого требует мысль (он имеет в виду общий тон и замысел «Венеры и Адониса») и который совместим с господствующей мелодичностью стихотворной речи. Как мы видим, тут немножко перемешаны — отнюдь, однако, не спутаны — две вещи, различаемые далеко не всегда, но различать которые необходимо: общая «музыкальность», «мелодичность» речи (или стиха), и соответствие ее звучания ее смыслу. Это большая заслуга Кольриджа; но не меньшая и в том, что отчетливо различая эти ее два «музыкальные» качества, он их все-таки сообща противопоставляет ее образности, считая их более основными, — более показательными, чем образность, для наличия большого поэтического дара.

«Тот, у кого нет музыки в душе, не станет никогда длинным поэтом. Образность, чем бы она ни питалась — пусть и природой, а тем более книгами, рассказами путешественников, мореплавателей, естествоиспытателей — и точно также все трогательные события, верные мысли, вызывающие интересные или семейственные чувства, все это, вместе с искусством переплетать частности эти между собой и включать их в ткань поэтического произведения, человек, начитанный и

способностей не лишенный, может при непрестанном старании приобрести. Но чувство музыкальной отрады, как и способность ее создавать, есть дар воображения (...); можно дар этот лелеять, можно усовершенствовать его; научиться ему нельзя».

Проза Кольриджа, в отличие от его стиха, становится нередко запутанной и тяжеловесной; он — как альбатрос (не его, а Бодлера): крылья мешают ему ходить. Но все же мы знаем теперь, что думал о музыке поэтической речи и какое значение ей придавал один из ее музыкальнейших мастеров и мыслящий слушатель ее (своей и чужой), которому по тонкости слуха и проникновению мысли не легко найдется равный. Первенство, отдаваемое им словесной музыке перед образностью, многие нынче склонны были бы оспаривать, но для всей к слуху обращенной поэзии оно бесспорно: иначе ведь стихов не стоило бы и писать, и полная ритмичность прозы не зачеркивала бы других ее достоинств. Выбор этот был им очень ответственно обдуман, как о том свидетельствует ссылка на рассказы мореплавателей и путешественников, — столь плодотворно использованные им самим в двух из наиболее прославленных его творений. Если трудность тут тем не менее остается, то происходит она из того, что противопоставляется образность музыке — звуковой или звукословесной, но неизменно словесной, которая к смыслу отдельных высказываний или их совокупности (там, где она всего отдельного сильнее) безразличной быть не может. Без образов (именно и ощущаемых образами) можно обойтись; в этом Кольридж прав; без обладающих смыслом слов ни в какой словесной музыке обойтись невозможно. Какова же эта связь между смыслом и звуком? Чем отличается она от существующей в обыденной речи? Как дифференцируется по разновидностям речи поэтической? На эти вопросы Кольридж не ответил; но простого, краткого ответа на них и нет. О музыке он, однако, не напрасно говорил. Краткие определения поэзии, не упоминающие о ней, плохо поэзию определяют.

В той же книге испробовал Кольридж одно, часто повторявшееся даже и у нас: «Лучшие слова в лучшем порядке». Увы, оно пригодно и для теорем Евклида. Какие слова — лучшие? Он пояснил это значительно позже (в «Застольных беседах»): наиболее подходящие, «собственные», то есть при-

менные в собственном, а не в переносном смысле; но если для прозы достаточно собственного, то словам поэзии нужен «самый собственный», да еще, по возможности, должны быть ее слова «сами по себе» (то есть независимо от смысла) «прекрасны». Нет, лучше бы уж он повторил старую свою формулу. Все равно ведь остается открытым вопрос, на основании каких своих качеств и в отношении к какому рода смыслу слова поэтической речи должны быть наиболее точными, подходящими и тем самым лучшими. Или по высказываемым ею смыслам эта речь не отличается от другой? Но ведь еще Аристотель (в третьей книге своей «Риторики», 1404 а) указал, что для преподавания геометрии никакие интересующие риторику качества речи ненужны. Значит «музыкальные», поэтику интересующие, и подавно. Так что ближе к истине был бы Кольридж, если бы сказал: самые музыкальные слова в самом музыкальном порядке. Только все-таки и порядок их в поэтической речи не чисто музыкален, и сами они от смысла не могут быть полностью отделены... Или, может быть, самый смысл их в этой речи — музыка? Но тогда, что ж она такое, смысловая эта музыка?

Самое приемлемое краткое определение поэзии, какое я знаю, не Кольриджем было найдено, хоть он и все сделал, чтоб оно нашлось. Вскрипнуло оно из под гусяного пера Уильяма Хэзлитта, когда он, в 1817 году, рецензию писал на все ту же только что вышедшую неудобочитаемую, но и неисчерпаемую кольриджеву книгу. «Поэзия» — так я его переведу — «есть музыка речи, выражающая музыку души». Год спустя, для первой из своих «Лекций об английских поэтах», он формулу эту слегка изменил: не «выражающая», а «отвечающая музыке души»; не думаю чтобы он этим ее улучшил. Я говорю: «речи» там, где у него было сказано «языка», надеясь, что и он сказал бы так, если в его время было бы уже осознано столь для нас существенное нынче различие; а непере译имое английское слово заменяю «душой», дабы не отделять мыслей (в узком смысле) от других содержаний сознания; но вполне признавая, что не менее правильно было бы тут говорить о музыке мысли. Главные преимущества этого определения в том, что оно не упоминает о словах. Говоря о словах, даже «лучших» и «в лучшем порядке», легко о речи позабыть, подменить ее внеречевым подбо-

ром слов и словесных звуков, и в результате этого по прямой линии докатиться через сто лет, там же, в Англии, до безнадежно плоской формулы (предложенной, увы, очень талантливым человеком): «Поэзия — не больше и не меньше, чем мозаика слов; так что каждое из них требует большой точности».* В отношении чего? И мозаика ведь для глаз; ее беззвучную гармонию (о которой нам ничего не говорят) улавливает глаз; но как же она может, из слов состоя, не жадать зазвучать словами?

Да избавит нас музыка от мозаики! Поэтам ведомо, из чего рождается их слово. Но менее поэтически эту его родину назвать, чем музыкой, им трудно. Не легко и нам.

Останься пеной, Афродита,
И слово в музыку вернись...

Извольте, вернусь; но в какую именно музыку прикажете мне возвращаться? Мандельштам, как о том говорит первая строфа его стихотворения и как вообще подобает лирическому поэту, имеет в виду «ненарушаемую связь» музыки и слова, но ведь он и в стихах своих ее не нарушил, а только высказал и обнародовал. Вернуться отсюда возможно — недаром стихотворение и названо «Силению» (хоть и, в отличие от Тютчева, без восклицательного знака) — к одной лишь безмолвной, воображаемо, но не реально звучащей музыке, и притом слитой уже со словом, или во всяком случае к той, из которой возникают не сонаты, а стихи. Или, может быть, есть «позади» этой, «глубже» ее, другая, даже и воображаемо беззвучная музыка мысли: даже и воображением неслышимая — как и невидимая, неосязаемая — часть всего того, что может зваться «музыкой души»? Тютчев, в одноименном своем стихотворении, неизреченной мыслью, становящейся при изречении ложью, называл, конечно, не работу рассудка, проверяющую факты и ведущую к доказуемым истинам, а нечто совсем другое, частью быть может, и дословесное, доречевое, нечто такое, что и произнесенных слов страшится, что и внутренней речью рискует быть искажено. Но раз о такой музыке стали мы помышлять, это нас само собой возвращает к Розанову.

Прочитывал я его сокращенно и не совсем точно. В

* Т. Е. Hulme (1883-1917).

«Уединенном» недалеко от начала сказано: — «Секрет писательства заключается в вечной и *невольной* музыке в душе. Если ее нет, человек может только 'сделать из себя писателя'. Но он не писатель...» Следует целая строчка многоточий, а затем: «Что-то течет в душе. Вечно. Постоянно. Что? почему? Кто знает? — меньше всего автор».

Итак — совсем как и по Кольриджу — *приобрести* самого главного нельзя. «Тот, у кого нет музыки...» Мог бы и Розанов (Кольридж не удержался) привести латинское, неизвестно чье, но тысячу раз повторенное изречение о том, что поэтами родятся, а не становятся. Только говорит он не о стихах и вообще ни о чем, что в его время, да и в другие времена общепринято было звать поэзией. Писательством он это зовет, и тем самым слово «музыка» приобретает у него смысл еще более «переносный», дальше еще отодвинутый от прямого, чем у Кольриджа. «Музыка в душе» стала у него безмолвной музыкой души — *или мысли* — в согласии не с Кольриджем, а с Хэзлиттом. На первой странице «Уединенного» перечислено кое-что из того, что «течет в душе»: «восклицания, вздохи, полу-мысли, полу-чувства». Тут же говорится, правда, о «звуковых обрывках», но ведь к полу-чувствам, полу-мыслям отнести этого нельзя: они-то уж обрывки не звуковые, а смысловые. Звуковыми (из тонов состоящими) они были бы у музыканта (или отбирал бы он именно их); звуковыми по-другому и звукосмысловыми у стихотворца (как и у иных прозаиков); беззвучными, возможно, что и бессловесными и во всяком случае безразличными ко всем звуковым, как и образным качествам слов у математика, физика, а также у архитектора, скульптора, живописца. Но для Розанова, художника мысли, никакие «обрывки» не могли быть важней обрывков чисто смысловых: ведь и чувства, в сознании человеческого, не только чувства, но и смыслы. Сквернозвучие никакому писателю не мило; слѡва от звука не может он и не хочет отделять; дорог ему порой и самый звук; но все-таки, когда «душа живет», когда она «жила», «дохнула» (как там же сказано), дыхание это есть для него мысль. Плоть ей нужна; исчезнет она, плоти не получив; и все же в зарождении своем она бесплотна.

Не о материальном коррелате ее («мозговом») говорю, а об отсутствии или неполноте словесного. Покуда она еще

не речь, хоть и сознаем мы ее уже, она может в изреченности — даже и внутренней, стать не тем, чего мы ждали от нее, обернуться ложью. Розанов этого именно и боялся (или стал бояться к концу жизни) больше, чем кто-либо другой. Жаловался: «Как ни сядешь, чтобы *написать то-то*, — сядешь и напишешь *совсем другое*». Другое — даже по теме? Так его можно понять. Но чаще, конечно, по несоответствию слов тому, что мыслилось не ими («предварительными», другими словами или вовсе не словами). Он пытался заставить себя врасплох, подслушать мысль; но ведь *слышатся* уже слова, и первые услышанные не всегда самые верные. «Цинизм от *страдания*... Думали ли вы когда-нибудь об этом?» Нет, не думали. И он не думал. Поймал эту мысль, записал, — да и вышло, что полуправдой удовлетворился: есть цинизм и от хамства, без малейшего страдания. Но улов был все-таки удачен: *эта* половина правды куда любопытнее другой. И не только любопытней: музыкальней (оттого что предполагает диссонанс и разрешение его); причем музыка эта совершенно независима от передающих ее слов и тем более от звука этих слов (можно их перевести или заменить близкими по смыслу). Для Розанова именно и характерно, что ищет он музыки мыслей, а не слов; недаром он в конце первых «Опавших листьев» даже и всю нашу душу воображать предлагает не как существо, а как музыку, обладающую не «свойствами предмета», а только «строением». Но характерно и то, что этой беззвучной музыки мыслей он усерднее ищет, чем соответствия их, не частичной, не мимолетной, а более устойчивой и полной истине.

Он преуменьшает значение дальнейшей умственной работы, которая — хоть и конечно не одна и та же — и мыслителю и художнику нужна, поскольку они не предпочтут близнецами в материнской утробе почивать, объяснив, как он, что им «и тут тепло». А с другой стороны он немного упрощает дело, когда утверждает, что «всякое движение души» сопровождается у него «выговариванием» (которое он неизменно стремится записать). Выговорил он то, что в себе услышал; но за этим услышанным было ведь и нечто, не улавливаемое слухом. Музыка выговоренной и записанной речи есть *та самая* музыка (если от ошибок выговариванья и записи отвлечься), что звучала — робко, смутно, едва слышно —

«в душе»; но *выражает* она, делает нам внятной и другую музыку, до-звуковую или безразличную к звукам, которая столь же или еще более смутно намечалась там же и которая звучащей только и дарует ее смысл. Эти две музыки необходимо различать; но и помнить необходимо, что они обе нужны поэзии. Тем определяющая ее формула Хэзлитта и хороша, что говорится в ней (вероятно, без особого намерения: мыслителем он не был) о музыке мысли, ума, а если души, то не только чувствующей, но и сознающей свое чувство, а значит — уже тем самым — не об одной звучащей, но и о беззвучной музыке. Другое дело, когда у нас Бальмонт («Поэзия как волшебство», 1915, стр. 19) называл поэзию «внутреннею музыкой», становящейся внешней через ритмическую речь, или когда до него в том же духе высказался Белый («Символизм», 1910, стр. 179). Эти и аналогичные высказывания возможно было понять чересчур буквально. Повивальная бабка нашего «формализма», Виктор Шкловский, именно так их и понял.

Для звучащей — или воображаемо звучащей — речевой музыки он придумал новое имя «звукоречь», а о беззвучной вовсе не подумал. В своей не одним *его* дальнейшим мыслям открывшей путь статье «О поэзии и заумном языке» («Поэтика», 1919, первый выпуск), сославшись на процитированные выше два стиха Мандельштама и на свидетельства поэтов (Шиллера), что стихи «появляются или зреют у них в душе в виде музыки», он высказывает догадку, что «поэты здесь сделались жертвами неимения точной терминологии. Слово, обозначающего внутреннюю звукоречь нет, и когда хочется сказать о ней, то подвергается слово музыка, как обозначение каких-то звуков, которые не слова, а в данном случае еще не слова, так как они в конце концов выливаются словообразно». Шкловский мог бы сказать «словесно», если бы не имел в виду всего лишь словоподобную заумь; для ее оправдания он свою «звукоречь» и сочинил; но ведь и заумь не состоит из *совсем* лишенных смысла звуков. Точные термины, конечно, желательны; но если они напрямик ведут к недоразумениям, лучше остаться при метафорах, возможности недоразумений не устраняющих, но к ним неизбежно не ведущих. Шкловский полагает — или в те годы полагал — что и восприятие стихотворения «обыкновенно тоже сводится к восприятию его зву-

кового праобраза», ради подтверждения чего он приводит пример плохого прочтения рукописи Пушкина, в результате которого «получилась полная бессмыслица» — «Завешан брег тенистых вод» вместо «Завешан был тенистый вход» — переходившая, однако, из одного издания в другое: остававшаяся незамеченной, оттого что «при искажении смысла не был искажен звук». В этом рассуждении есть три ошибки: 1) звук был тоже искажен («брег» внес накопление согласных, которого не было в подлинном пушкинском стихе); 2) искажение смысла отнюдь не было доведено до бессмыслицы; а главное 3) установив правильное чтение, разве не приобретем мы оснований предпочесть его неправильному?

Совершенно неверно, что в стихах, при подборе слов, «омоним заменяется омонимом для выражения внутренней, до этого данной, звуко речи, а не синоним синонимом для выражения оттенков понятия». «Понятия», что и говорить, в стихах встречаются редко, но смысловые оттенки могут быть столь же важны поэту, как и звуковые. И вовсе ему не дана ни готовая «звуко речь», ни готовая «смыслоречь». Лишь непроясненные еще сочетания звуков, смыслов, звуко смыслов, а также еще менее определенные «проекты» тех, других или третьих возникают в нем, и он на вполне равных основаниях может звуки подбирать к смыслам и смыслы к звукам; хоть и есть поэты, никогда не уступающие смысла звукам и даже не очень его меняющие ради них, тогда как другие звуками повелевают смыслу (делая это в разных случаях очень по-разному). Нисколько не помогают Шкловскому в том, что ему хотелось бы доказать, и лермонтовские стихи («Не верь себе...», 1839, начиная со строчки «Случится ли тебе в заветный чудный миг...»), которые он приводит в начале статьи и комментирует, тут же ссылаясь на знаменитый возглас Фета, следующим образом: «Какие-то мысли без слов томятся в душе поэта и не могут вылиться ни в образ, ни в понятие. 'О если б без слов / Сказаться душой было можно'. Без слов и в то же время в звуках, — ведь поэт говорит о них». Следует пояснение, что не о музыкальных звуках он говорит, а о словесных, в чем сомнения, конечно, нет. Но нет и никаких оснований утверждать, что Лермонтов или Фет, говоря о звуках, имели в виду одни лишь звуки, одну лишь звуковую сторону речи, начисто отделенную от смысловой. Лермонтов ведь сетует на то, что он

«*значенья*» этих «простых и сладких звуков» не может передать, а не на то, что их самих не в состоянии воспроизвести. Да и Фет, в этом своем стихотворении 44-го года, «любимой мечты» от «крылатых звуков» не отделяет, «без слова» (именно так у него сказано) обойтись не надеется, и ничего не значущими звуками заменить его, конечно, не мечтает. Есть у него, правда, четверостишие 47-го года: «Поделись живыми снами, / Говори душе моей; / Чтó не выскажешь словами, / Звуком на душу навей»; но и тут не о бессмысленных, а об осмысленных (музыкально) звуках он думал, по музыке тосковал («настоящей» музыке: «Меня всегда из определенной области слов тянуло в неопределенную область музыки»), а не по «звукоречи», смысла окончательно лишенной. «Какие-то *мысли* без слов», пишет ведь и сам Шкловский, а мысли из одних звуков не состоят. Даже и музыкальные (т.е. мысли музыкантов) не из одних звуков состоят, а содержат в себе смысловую, хоть и несказанную словами «подоплеку» этих звуков, их сочетаний и взаимоотношений. С точки зрения рассудка, объявляющего себя умом, *всякая* поэтическая речь заумна. Но весьма наивно истолковывать ее как пустопорожнюю звуковую щекопку; и весьма зазорно на практике ее в такую щекопку превращать.

В речи или слове надлежит отличать не только звуки от смыслов, но и смыслы от значений. Предметы обиходные или изучаемые наукой обозначаются с помощью наделенных или наделяемых смыслом звуков языка. Но когда, например, Мандельштам, первому сборнику своему дал заглавие «Камень», он поступил сразу же как поэт: смыслом это слово наделил, но не придал ему ни малейшего (предметного) значения. Для научной и обиходной речи только оно одно и нужно; ни звука, ни смысла незачем ей и осознавать. Но если предметное значение отпадает или отодвигается на второй план, смысл и звук осознаются сообща и становятся по-новому неразлучны. Оттого-то поэзия и есть музыка речи, выражающая музыку смыслов, в своем — по-разному и в разной мере — но неизменно осмысленном звучании.

2. Сумбур и звукосмысл

Тот, у кого нет музыки в душе... Сомнения нет: не о музыке музыкантов это сказано. Сказано это о звуках речевых,

чистому тону чуждых. Оттого и мог Владимир Соловьев к музыке быть глух, а Блок сказать о себе — уж, конечно, не музыку *стиха* имея в виду — что медведь ему на ухо наступил. Смыслу эти речевые звуки наотрез чуждыми не бывают. Но не может ли эта «музыка в душе» быть порою и совсем беззвучной, той самой и ею одной, в которую не ухом «вслушивался» Розанов? Он, во всяком случае, думал о ней; «выговаривал» и записывал слова, не ради них, а ради высказанных ими мыслей. Усомнился в этом некогда опять-таки Шкловский: не в мыслях, мол, дело; «мысли бывают разные». По его тогдашнему мнению, дело было, как всегда и всюду, в словах, их узоре, и в узорах того (сюжета, например), что (якобы) «сделано» из слов. Розанов, при таком чтении его, не вовсе испаряется в небытие, но сильно хиреет. Он был художником мысли больше, чем мыслителем, и Шкловский в его художестве (в наиболее внешних чертах этого художества) разобрался очень хорошо. Но был он все же и мыслителем. Да и художество мысли с художеством слова не полностью совпадает; а главное, и оно к узорам не сводится, как и не сводится к словам. Никакая «словесность» к словам не сводится, — хоть и никакой не позволено пренебрегать словами. Но есть, конечно, и немаловажное различие между владычеством мысли над звучащею музыкой слова и обратным соотношением сил; причем «мысль» должна пониматься тут очень широко: не как всего лишь рассудочно-практическая мысль, которая какую бы то ни было музыку тщательно искореняет или никакой не замечает. Розанов в этой связи тем и поучителен, что он не музыки слова искал, — как и не музыки вымысла, которой ищет романист или драматург, а самую непосредственную, ненарочитую из всех музык в себе обрел: музыку мыслей своих ощутил и дал ее нам почувствовать.

Тут, однако, надлежит устранить отнюдь не устраненный им двойной источник недоразумений, после чего мы сможем извлечь из его свидетельств другой, самый важный для нас урок.

То, что «вечно, постоянно» и невольно «течет в душе» — еще не музыка, хотя бы и беззвучная. Чтобы музыку оттуда извлечь, нужен почин, — хотя бы лишь соответственно направленного внимания, да и оно *музыку* там уловит не всегда. И Розанов не «постоянно» ее уловлял, а — в те годы, — ска-

жем, то и дело. Что же до «текущего в душе», с музыкой или без нее, и от вниманья независимо, то ведь это просто-напросто «поток сознания», о котором еще в прошлом веке, после Уильяма Джеймса, психологи стали говорить и который с тех пор не раз изображался в литературе (с наибольшей виртуозностью Джойсом в «Улиссе», а впервые, за тридцать пять лет до него, средне-одаренным французским литератором Эдуардом Дюжарденом). В литературе, однако, поток сознания поневоле изображается словами, и тем самым фальсифицируется, — поскольку мы отождествляем это изображение с ним самим. В действительности, он вовсе не состоит — сплошь, во всяком случае — из слов, и еще того менее из отчетливых и отчетливо связанных друг с другом предложений. Он может превращаться в настоящую немую речь, во «внутренний монолог», согласно французскому, к литературе примененному наименованию; но покуда ни во что стройное и последовательное не превратился, состоит из обрывков слов, клочков предложений, из ясных и неясных зрительных, слуховых, осязательных и моторных образов, вовсе не непременно сразу же словами названных. Из чего-то вроде клетчатки, протоплазмы, где — если мы не спим, а «думаем» (сами до поры до времени не зная о чем) — образуются, как в закипающем жидком месиве, и всплывают на поверхность более четкие, обретшие, пусть и приблизительную еще, форму сгустки или пузырьки. Месиво можно назвать мыслью, как мы расплавленный или даже газообразный металл зовем металлом, хотя никаких определенных мыслей мы еще не различаем в беспрозрачной этой и *вневременной* туманности.

Определенность дается мысли словом, или, если не к словам она устремлялась, формулой, схемой, чертежом; музыкальной, строительной, изображающей или орнаментальной формой. Поначалу, сплошь и рядом, всего лишь воображаемой формой, незавершенной, намечаемой только формулой, но нередко и уже «в деле», постепенно, рука об руку с материализацией формы, округлением формулы, начертанием знаков, образующих запись мысли, музыки, или внутреннего, так и не произнесенного вслух слова. Во всяком случае, вместе с определенностью дается мысли и потенциальное или актуальное закрепление ее в пространственной (двухмерной или трехмерной) структуре или в непреложном одно-за-другим и что-

после-чего во времени; потому что «поток сознания», хоть и кажется нам (как и Розанову казалось), что он течет «вечно, постоянно», на самом деле времени нашему чужд, в линию что-после-чего не вытянут. Нет в нем ни «откуда», ни «куда», ни «вперед», ни «назад»; вечно он тут как тут, и прошедшее еще в нем; его «вечно» — не то, которое (в восприятии нашем) длит, а то, которое упраздняет время. Он вовсе и не поток: это мы течем — от рождения к смерти, а не он. Ловить поэтому то, что, как нам кажется, в нем плывет, возможно и совсем не торопясь. Если музыку удалось нам услышать в нем, мы ее дослушаем, быть может, вовсе не сейчас, — Бог знает когда: порою поэт лишь на много позднее, пересматривая рукопись, корректуру правя, найдет нерасслышанное сперва, но самое нужное ему слово: он может его найти, покуда старый «поток» способен будет в себе восстановить. И вне времени «течет» не только сам поток, но и всё складывающееся и уже сложившееся внутри него, — с тем, чтобы жить во времени. Есть поразительное свидетельство Моцарта о том, как созданное, но еще не закрепленное в знаках и не обретшее слышимого вовне звука творение его, осознается и слышится им, до того как сядет он писать партитуру, *одновременно*, все целиком, во всех своих частях. Слышит он его именно так, всего зараз, какой бы оно ни было длины, — *das ist nun ein Schmaus*, восклицает он, какое пиршество это для него! Большой радости нет. Это лучший дар, дарованный ему от Бога.

Музыки может и не быть. Ни той, что в Моцарте жила, еще не образуя вневременного, но готового подчиниться времени целого; ни той, что живет в поэтах, — словесной, звуко-смысловой; ни самой неуловимой музыки разума и чувства, «музыки души», которая либо предшествует всякой другой, либо сливается с нею нераздельно от самого рожденья; вообще никакой. Протоплазма мысли, стоячий поток сознания (едва осознанного сознания) — не музыка, а сумбур. И не слуховой, не зрительный, не словесный, не «мысленный» сумбур, а все это одновременно и вперемешку. Или — к другим образам переходя (без них не обойтись) — туманность, млечный путь. Не ведет никуда. Опоясывает весь небосвод: видимый нам, и *нам*, откуда мы глядим, невидимый. *Fourmillement in-nombrable d'étoiles*. Определение это муза Урания продиктовала лексикографу Ларуссу. Но ведь все музы — сестры. Го-

дится оно и для того муравьиного копошенья, что суетится — под черепосводом, привыкли мы воображать — в каждом из нас. Нам и телескопа не нужно. Заостришь внимание, и тотчас выведется в тумане, пусть и тусклая, пусть ничем и не просвещающая нас, неуверенная крошечная звездочка —

Twinkle, twinkle, little star!

как в детской песенке поется. Бывает, однако, что вспыхнет и поярче, а порой, опомниться не успев, и уже — не над тобой, так в тебе — Большая Медведица, Орион, Скорпион, или столь длинный и правильный ряд таких послушливых звезд, какие на пастбищах небесных вовсе и не пасутся. С каждым это бывает, а тем, к кому милостивы звезды, являют они себя, как Моцарт (в том же тексте) о мыслях своих музыкальных сказал, потоком, гурьбой: отбирай какие хочешь; или как Гёте, о стихах своей юности, столь внезапно его посещавших, что писал он вкривь и вкось на листе, пока бумаги хватало: звездный ливень ловить не успевал.

Музыки может и не быть. Но вспыхивают и мерцают огоньки в сумбуре, и не много есть, думается мне, людей на свете, у кого никогда не сложилась бы из них *eine kleine Nachtmusik*. Дремлет там, конечно, и совсем другое: схемы грамматики, логики; пресные истины рассудка; без них не обойтись никак. Спросит вопрошатель: девятью девять — сколько? И я, в сумбур не заглянув или его не заметив, отвечаю: восемьдесят один. Есть математика и в музыке. Ритму нелегко обойтись без метра. Нужен был циркуль тем, кто строил Парфенон. Но прямых линий (совсем прямых) в нем все-таки нет, да и назывался циркуль у греков «вышагивателем» или «раком»: в самых гладких и трезвых именах таится музыка их возникновения. Отчего музыка? Оттого что там, где рассудка мало, чтобы выйти из сумбура, там нужна она, там прислушиваются к музыке. К музыке звука или к музыке смысла, или к обоим: рассудок одни только клички аптекарских изделий да термины придумывать горазд.

«Взятая сама по себе, мысль — нечто вроде туманности, где не существует никаких закономерных разграничений». На этот раз лингвист это говорит; тот самый, гениальный и боготворимый нынче (не всегда впопад) Соссюр, который избавления от тумана нигде, конечно, не видел и не искал, кро-

ме как в дифференцирующей (тем самым и побеждающей сумбур) предметности слов и в обеспечивающей эту их функцию (или закономерное расширение ее) языковой системе. В *этой* функции слов (я называю ее сигнитивной), в этой их способности обозначать предметы сквозь смыслы, прикрепленные к определенной комбинации фонем — основа языков; ничем другим языкознание и не занимается; это достаточно важно: без этого предмета ее занятий человечества и представить себе нельзя. Но из этого как раз и следует, что поэтическая речь ведению его не подлежит или подлежит лишь в той мере, в какой она пользуется — принуждена пользоваться — внеположной собственным ее требованиям языковой системой (русским, например, языком или любым другим). Языкознание определяет, как именно речь эта пользуется языком, но сама ее поэтичность не вмещается в его понятия. Речь или слово генетически и уж во всяком случае логически предшествуют языку; да и всецело подчиняются ему (поскольку он создан) только в сигнитивной своей функции. Смыслы передаются и вне систем, да и без слов (жестами, например); сквозь эти смыслы, а жестами («дейксис») и помимо смыслов, могут передаваться и (элементарные) предметные значения. Но главная функция внеязыковой, как и надязыковой (по-своему пользующейся языком) речи — смысловая, сигнитивность вообще отстраняющая, значениями не интересующаяся или отодвигающая их на задний план. Там, где она *внеязыковая*, она и вовсе бессловесная. Функция эта зовется в просторечии искусством.

Речь рождается не из языка, не из системы (как нелепо было бы такое представление!), а из сумбура — в нас, которому соответствует хаос в еще не опознанном нами мире. Она рождается вместе с разумом и остается долгое время, а во многом и навсегда, неразлучной с ним, что и выразили греки прозорливым понятием своим: логос. Они только не решились в этот логос включить бессловесную речь музыки, или всей в целом мусики, куда ведь и слово было вплетено; и не захотели причислить к нему высказывания других искусств, как изобразительных, так и не изображающих (хотя некоторые черты изображения могут быть присущи орнаменту и пространственному символизму архитектуры). Разум во всех этих «речах» участвует несколько не меньше, чем в словесной,

но рассудок в них сколько-нибудь крупной роли не играет: основным устремлениям их он столь же чужд, как и поэтической речи или расстилающейся по ту сторону словесной ткани, воображению нашему внятной речи вымысла. *Разум* всем этим речам не чужд; без мысли, разумом руководимой или руководства его ищущей, они обойтись не могут. Этого греки недоглядели, — по крайней мере в устройстве своего языка, в расчленении понятий, им предопределенном (да и в сократовской критике мифа, противопоставляемого логосу). Не поняли этого после греков и до наших дней также и все те, кто признавал наличие логоса только в словесном искусстве, не в другом; Эрнст-Роберт Курциус, увы, был один из них; как будто бессловесною тварью, если не в жизни, то в творении своем, мог оставаться Бах или строитель Амьенского собора. «Все мысль да мысль! Художник бедный слова!» Нет, неправ был Баратынский, думая, что резец, орган и кисть обходятся без мысли: им не меньше, чем стихопишущему перу нужна мысль, отличающаяся, конечно, как и мысль поэта — и совершенно теми же чертами — от мысли шахматиста, химика или бухгалтера. Как неправ был и Толстой, музыку, в разговоре с Горьким, назвав «немой молитвой души», а слова обозвав «пятаками в кошельке мысли».

Вся путаница в этом деле проистекает из недостаточного различения мыслей от мыслей, слов от слов, сигнитивной функции знаков от выражающей их функции. Пятаки в кошельке это разменные слова обыденной речи, заменимые любыми другими, лишь бы нетронутым осталось их предметное значение (через смысл обозначаемое, но без внимания к смыслу, как и звуку), а также ярлыки идеологий или термины наук. Ими рассудок оперирует, — как и разум, — когда он пользуется рассудком. Но поэтическая речь, если и теми же словами говорит, произнося их, делает их другими. Многие стихотворения, совсем как музыку (тоже не всякую), можно назвать «немой молитвой души»: они немы, если говорящими считать лишь совсем иные человеческие речи. И точно также Гердер был неправ, когда, напротив, музыку относил «к ним чувственным» (если словами Баратынского высказать его мысль), так как обращается, будто бы, она, в отличие от поэзии, к одному лишь чувственному (или можно сказать материальному, звуковому) нашему слуху. Такого искусства, одну лишь поверх-

ность восприятий раздражающего, и вообще нет: это лишь низшая, в ничто переходящая граница всякого искусства. Музыка и поэзия обе, хоть и по-разному, ухо наше «ласкают», а если нужно (хотя бы для большей ласки), то и «терзают»; но и обе с душой беседуют, уму и сердцу нечто говорят, а не просто «тешат слух», и даже не просто удовлетворяют требования той предварительной проверки структурных и смысловых связей, с которой понимание и оценка любого творенья начинаются, но к которой они отнюдь не сводятся. Романтики, и как раз немецкие, большей частью склонны были, в отличие от Гердера, отдавать предпочтение музыке как наиболее непосредственному, в передаче душевной жизни, из всех искусств; от них, в конечном счете, и Толстой унаследовал этот взгляд. По Ваккенродеру, «в ней одной звучат струны нашего сердца, и мы внимаем их звучанию». Четверть века спустя ему ответил, однако, другой рано умерший, но успевший полней проявить себя (и не только в *мыслях* об искусстве) чудесными стихами одного из совершеннейших своих творений, провозгласив «неслышные мелодии» — не к слушающему нашему «чувственному уху» обращенные — более сладостными, чем слышимые нами. Причем не сверхчувственность слова имел он в виду, как Гердер, а нечто подлинно «немое»: неподвижно-безмолвное пение линий и форм на рельефах украшенном мраморе греческой вазы. В этом услышал он «музыку души» и ее «немую молитву»; в этих беззвучных напевах.

Все были правы, и Китс не меньше других. Как и все были неправы, поскольку и охладев, а не пребывая в пламени восторга, продолжали думать, что какая-то одна разновидность выражающей (то, что выражению подлежит), а не обозначающей (то, что поддается обозначению), речи непременно должна быть предпочтена другим, не в отдельных случаях и для разных целей, а вообще: как наиболее «выразительная» или самая близкая к тому, что выражения требует и чего обозначить — обыкновенной, обозначающей речью высказать — невысказанное. Толстой назвал музыкальную речь немой, а Китс пластическую форму (или, скажем лучше, модуляцию форм) безмолвной. Мог бы он ее назвать и безгласой, чего о музыке сказать нельзя; но имеется тут, в сущности, в виду (как Толстой и пояснил) отсутствие слов; то самое, значит, что весьма многим и мешает распространять

понятие «речь», или в этом аспекте взятое понятие языка, на бессловесные искусства. Недаром, однако, и Верлен один свой стихотворный цикл назвал «романсами без слов»: там и действительно слова, если к ним отнестись, как к словам обыденной речи, не больше роли играют, чем в тех романсах, где мы, вслушиваясь в музыку, теряем желание вслушиваться в слова. И не говоря уже об искусстве вымысла, которого словесным вовсе не следовало бы и называть (ведь не называют же — по-русски, по крайней мере — живописного искусства малярным, хоть и невозможно полностью изъять из живописца маляра); но и само искусство слова — не того слова искусство, которое мы каждый день, каждый час размениваем на словесные пятаки. Есть в «кошельке мысли», который тот же ведь, что и кошелек слова, еще и другие, другую мысль вмещающие слова, хоть и кажутся они теми же самыми, если не учесть изменения их смысла. Правда, закон для них — закон языка, а не речи — один. Глинка (если от сравнительно поверхностных черт отвлечься) пишет по-музыкантски; Врубель (если польскую кровь ему припомнить) по-малярски; Пушкин *прежде всего* пишет по-русски; русскими словами *мыслит*; в нем и поэта от русского поэта отделить нельзя. В искусстве вымысла можно; в искусстве слова невозможно: никак нельзя словам до того стать пушкинскими, что и перестать быть русскими. Этого о звуках не-языковых, о красках, линиях не скажешь. И не в том тут дело, что слова определенному коллективу служат (то есть людям, говорящим на определенном языке, русском например), а в том, что они служат вместе с тем и совсем другим потребностям того же коллектива. Этим вызван и вздох «о если б!» От музыканта вздоха «о если б без звука!» еще никто, как будто, не слышал. Из мелодии, как из цвета или сочетания цветов, можно сделать сигнал; но объясняться насчет житейских наших дел при помощи слов куда сподручней.

Утешить Фета легко. Ты же ведь сам как раз и мастер мелодией обволакивать, пронизывать, тушить и зажигать слова, делать их не теми, какими говорят «позвольте прикурить» или рассуждают о капитализме и социализме. Да и всякая, даже и в прозе, поэтическая речь, пусть и не столь к звучанию музыки близкая, о музыке помнит, и если ее звучанию откажется подражать, то равнодушной к собственному звуку

все же не становится. Тревога Баратынского, тем не менее, понятна. «Все мысль да мысль...» Существуют и впрямь мысли, не тех слов ищущие, какими живет поэтическая речь. Словесной будучи, как и (в других искусствах) бессловесной, она хаос превращает в космос, выводит мысль из сумбура, рассеивает туман. Но совсем его развеять, сумбур полностью устранить, ради чего и от космоса отказаться, хаосом знаний хаос незнания заменив, «тьмой низких истин» (не низких, а к высоте и низости безразличных) удовлетворившись, — это подвиг рассудка, а не разума. Рассудку нужна чисто рассудочная речь. Он и отбирает для нее слова — поскольку особых знаковых систем не изобретает — заботясь о том, чтобы слова эти ничего не выражали, не изображали, не «воплощали» (метафорой этой именуют высшую ступень изображающего выражения), а служили бы лишь значками понятий, обобщающих факты и отношения между фактами. Опеки разума над собой он не признает; речи и доводы его (как логический позитивизм показал) к поэзии, то есть к бессмыслице относит. Бессмыслица для него все то, где о смыслах печется человек. Факт исключает смысл. Знак всего лишь обозначает то, что в сигниативных системах ему положено обозначать.

Рассудок «очищает» язык, тем самым выхолащивая речь, которой он предписывает пользоваться языком, как переписчик пользуется не им изготовленной пишущей машинкой. В обычном разговорном, а тем более письменном языке и без того есть много слов и оборотов, либо очищенных уже, либо вполне пригодных для такого очищения. Но есть и поддающиеся скорей другого рода чистке, мышлению о человеке и о человеческом потребной, разумом руководимой, которому перед рассудком незачем склонять колен. Могут и они смущать поэтов. Лучшая тому порука три посмертно изданные записи Гюго. Первая о словах поэта или приемлемых для поэта: «Слово есть плоть мысли. Плоть эта живет». Вторая не о них: «Неудобство слов в том, что у них больше контура, чем у мыслей. Все мысли смешиваются по краям; слова — нет. Некоторая расплывчатая сторона души от них ускользает». Иначе говоря, словам не хватает того сумбура, куда бывают погружены мысли, словами еще не ставшие. Толкование это подтверждается третьей записью, 1865 года (близкой по времени ко второй): «Верить в то, у чего есть контуры, сладост-

но. То, во что я верю, лишено контуров. Это меня утомляет». Контуром обладает догмат, — хоть это и не совсем тот, не той четкости и сухости контур, каким, силою вещей, очерчиваются истины математики и естествознания. Но различие это, крайне важное для нас, о поэзии, об искусстве мыслящих в «контурах» разума, но не пренебрегающего им рассудка, — для поэта, хоть и не безразлично, а все же не в такой степени существенно. Для нас, филологов, критиков, историков, границ своей дисциплины не забывших, остаток сумбура в нашем мышлении — зло, неизбежность которого мы сознаем, отказываясь, однако, променять его на худшее зло приближения (чаще всего еще и мнимого) к рассудочности тех наук, где она оправдана внечеловечностью их предмета: ни разума, ни слова тому, что они изучают, не дано. Для поэта — хоть и поэзия, как любое искусство, есть *выход* из сумбура — остаток его даже и не зло: известная расплывчатость мысли, трепетность ее, неметалличность ему положительно необходимы. Сама точность его речи состоит в точности схватывания этой — все-таки — неточности. Сама плоть его слова расплывчата в известной мере: как всякая живая плоть, чей контур не может быть вычерчен, а может быть только нарисован. Та «отрицательная способность», которая, по Китсу, ему необходима, для того ему и нужна, чтобы, покидая сумбур, все-таки сохранить целительную, то есть цельность охраняющую, частицу этого сумбура.

Помощь ему есть. Он музыкой речи спасает музыку смысла. Он со звуком не расстаётся. Он из сумбура выносит, в свой космос уносит звукомысл.

3. Зачем так звучно он поет?

«Высокой страсти не имея / Для звуков жизни не щадить...» Это Пушкин (в первой главе) о своем Онегине, которого он поэтом сделать не пожелал: «Не мог он ямба от хорея / Как мы ни бились, отличить». О поэте, о себе — не так: «Мы рождены для вдохновенья, / Для звуков сладких и молитв», или: «Уста волшебные шептали / Мне звуки сладкие мои». — Как это бесило всех наших мракобесов навыворот, да и сейчас продолжает бесить (потому что их много и теперь, только Пушкиным возмущаться они себе, в отличие от

прежних, не позволяют). Бесили их и бесят, еще больше, чем «молитвы», именно «звуки», «сладкие» эти звуки. «И толковала чернь тупая: / Зачем так *звучно* он поет?» Именно этого рода тупицы, не понимавшие зачем, чернью и были названы. Недаром и гораздо позже, памятник себе воздвигая, Пушкин сперва написал: «И долго буду тем любезен я народу / Что *звуки* новые для песен я обрел», а потом, решив должно быть, что *всему* народу вряд ли именно этим будет он любезен, ограничился поминовением более общепонятных своих заслуг.

Сам он, во всяком случае, от звуков свою поэзию не отделял, мыслил ее звучащей, звуковой. Когда не ладились стихи, сетовал: «насильно вырываю / У музы дремлющей несвязные слова. / Ко *звуку* *звук* нейдет...» А когда ладились, писал (в «Египетских ночах»): «...*звучные* рифмы бегут навстречу стройной мысли». Дело тут, однако, не в одних рифмах, как и нет основания думать, что к звучанию прозы был он равнодушен. Чувствителен был он и строг в стихах, своих и чужих, ко всему звучанию поэтической речи, а не только к тому, что относится к рифмовке или к механике стихописанья, для него отнюдь не механической. Прочитав послание Вяземского к Жуковскому, он в кишиневском дневнике 21-го года записал: «*К кому был Феб из русских ласков* — неожиданная рифма *Херасков* не примиряет меня с такой какофонией». Зато звучание совсем иного рода — «любви и очи и ланиты» — заслужит через несколько лет надписи на полях: «Звуки италианские! что за чудотворец этот Батюшков!», вторая половина которой вернее, чем первая, потому что итальянцу вереницы гласных и-и-о, и-и отнюдь не пришлись бы по душе. Конечно, измерял он и оценивал звучание стихов не одним лишь мерилom простого благозвучия, а, с другой стороны, и смыслом звуковому их качеству не жертвовал: искал не звуков помимо смысла, а «союза / Волшебных звуков, чувств и дум». Вяземскому, в 25-ом году, о стихе «Сердитый влаги властелин» (в его «Водопаде») писал: «Вла-вла — звуки музыкальные, но можно ли, например, сказать о молнии *властительница небесного огня*? Водопад сам состоит из влаги, как молния сама огонь». Но какой бы алгеброй он гармонии стихов ни поверял (как в собственном их звучаньи, так и по связи его со смыслом), прежде всего надлежит со всей бес-

спорностью установить, что не признавал он поэзии, к звукам безразличной, или пользующейся ими всего лишь как средством, не укорененным в самом ее существе.

Разумеется, мог он, в силу многовековой и всякому в его время знакомой традиции, всего только *называть* звуками то, что в просторечии звалось словами поэта или его стихами: поэт ведь был или слыл со времени Гомера певцом, — пел, а не просто говорил. Можно считать, что и Пушкин, — но не машинально все же, а умно и любовно, — этой традиции следовал. Она ведь только подтверждала то, что он чувствовал, что знал — о себе — и сам. О пении, как о лире, или о музе, пусть и говорил, традиции следуя, условно; звуки тем не менее для него были чем-то вполне реальным, живым, пережитым, — как те, что нашел он «музыкальными» у Вяземского, так и образующие музыку стиха, ряда стихов, строфы. Звучит ведь, по его чувству, прежде, чем слово, сама его рождающая душа, подобно тому, как в стихотворении 23-го года он о своем «лукавом демоне» писал: «С его неясными словами / Моя душа звучала в лад», или как всего проникновенней напишет через десять лет: «И пробуждается поэзия во мне: / Душа стесняется лирическим волненьем, / Трепещет и *звучит* и ищет, как во сне, / Излиться наконец свободным проявлением». Именно о пробуждении, о рождении поэзии тут идет речь. В звучании она рождается, звуки ее пробуждают, — или она их будит. И поэтому, когда в посвящении «Полтавы» говорилось «Узнай, по крайней мере *звуки*, / Бывало, милые тебе», не было это, не могло быть простой условностью. Тем более, что и начинается стихотворение словами о голосе, то есть о звуках:

Тебе — но голос музы темной
Коснется ль уха твоего?

А кончается еще одним упоминанием о звуке — не стихов теперь, но живого голоса; о звуке, звучащем в памяти, в той памяти, что, зазвучав, сделавшись звуком, вызвала рождение чудесных этих стихов:

Узнай, по крайней мере, звуки,
Бывало, милые тебе —
И думай, что во дни разлуки,

В моей изменчивой судьбе,
Твоя печальная пустыня,
Последний звук твоих речей —
Одно сокровище, святыня,
Одна любовь души моей.

Тут мне скажут, однако, — романтики скажут, но и анти-романтики поддакнут: «высокие все эти слова — о голосе, звуках, музыке, любви — верим ли мы им, или не верим — одно; тогда как вла-вла, согласитесь, совсем другое». Не соглашусь и предложу: попробуйте, вставьте «когда-то» вместо «бывало», прочтите: «Узнай, по крайней мере, звуки, / Когда-то милые тебе». Что ж — звуки налицо, да не те: осекся голос, заглохла музыка. «Бывало» и «милые» согласованы были звуком, а теперь согласованности нет. Когда рождается поэзия, когда душа «трепещет и звучит и ищет, как во сне, излиться наконец свободным проявлением», свобода этого проявления ограничена бывает у подлинных поэтов его совершенством (по суду самого поэта), а совершенство зависит от того, найдет ли ищущая душа полноту звуко смыслового воплощения для своего «трепета», своего «лирического волнения». Если нужные звуки найдены, они незаменимы, и каждое вла-вла, каждое «бывало» вместо «когда-то» тут попадает на учет. Не то что, чем больше звуковых сближений и соответствий, тем лучше. «Из русских ласков» покорило слух Пушкина. «Роняет бор багряный свой убор» (вместо «роняет лес») было бы скверно, не по смыслу только (боры не багрянеют), но и по звуку. «Трепещет и звучит» душа не для того, чтобы погромче протрещать в стихе, а чтобы воплощение трепету найти в созвучном этому неслышному звучанью слове.

В слове, — значит в звучащих смыслах слов, а не в звуках подвластных музыканту, тоже по-своему осмысленных, но иначе, чем слова. Истину эту упускать из виду не следует; но и не следует ее истолковывать слишком узко и боязливо. Поэтическая речь не тем смыслом жива, которого ищет речь рассудочно-практическая; оттого ее звуковая сторона так для нее и важна. Важна не только (как во всякой речи) для распознавания словесных смыслов, ведущего к опознанию предметного их значения, но и своей многообразной, нередко смутной, иногда едва уловимой связью с этим смыслом —

внутренней, а не навязанной лексической системой языка — и меняющей или видоизменяющей этот смысл, безотносительно к предметному значению, которое в поэзии отпадает или отходит на задний план. Пушкин для неизменных особенностей поэтической речи особенно показателен. Он музыкален и певуч, не будучи в своей поэзии по преимуществу певцом и музыкантом. Его стихи, с другой стороны, никогда от «нормального», от «прозаического» смысла слов очень далеко не отступают; но *как раз поэтому* словесные звуки, оттеняющие и дополняющие словесные смыслы, играют в его стихах такую огромную роль, — гораздо бóльшую, чем у многих поэтов, склонных усиленной образностью уплотнять смысловую ткань своих стихов. Но вовсе без внимания оставить звук они тоже, разумеется, не могут. Стихотворцам препятствует в этом уже тот факт, что пишут они не прозу. Фридрих Шлегель, со свойственной ему в молодые его годы лаконической резкостью, провозгласил основой метрики «императив» сделать поэзию музыкой, «омузыкалить» ее; а немного позже Шелли, в своей «Защите поэзии», подчеркнул неразрывную связь, в стихах, звукового ряда со смысловым и необходимость *для смысла* того «гармонического возврата» или повтора звуков, который составляет основу всякого стихосложения. Отсюда выводил он и невозможность перевода поэтических произведений, подобно тому, как уже Данте, за пятьсот лет до него, невозможность эту объяснял именно музыкальной природой стиха, а не образностью его словесной ткани: той музыкой его, что почерпнута из определенного языка и не может быть переселена в другой язык. Оттого-то, писал он, и Гомер, в отличие от стольких других греческих авторов, не был римлянами на их язык переведен; оттого из Псалтыри, при переводе ее с еврейского на греческий, с греческого на латинский язык, улетучилась сладостная музыка.

Музыка поэтической речи предшествует ее смыслу; но ведь и музыка не бессмысленна; никакая, а тем более эта, предшествующая поэтическому смыслу. Точнее будет сказать: окончательному смыслу воплотившейся в слова поэтической речи предшествует — где-то там, в сумбуре — туманно угадываемый смысл ее звуков, ее музыки. Так и проза порой возникает — у Флобера, например — из предчувствуемых интонаций и ритма будущих фраз; так едва ли не всегда возникают стихи,

что, конечно, не исключает их заранее данного тематического замысла или заказа. Никто Шиллера особенно «певучим» или «музыкальным» поэтом не считал; если ему что вредило, то никак не избыток сумбура, и в частности музыкального сумбура, а скорей избыток намерений, сознательности и воли. Но сознательность способствовала самонаблюдению, и в двух письмах, другу своему Кёрнеру (25 мая 1792) и Гёте (18 марта 1796), он весьма четко о себе сказал, что в момент, когда он садится писать стихи, «музыкальная их сторона гораздо чаще предносится его душе, чем ясное понятие о их содержании», и что чувство, испытываемое им, поначалу, явственного предмета лишено: «известная музыкальная настроенность» предшествует у него «поэтической идее». Такие свидетельства не редки; они только в устах Шиллера особенно красноречивы. Гёте ведь тоже говорил Эккерману, что «такт», как он в данном случае выразился, рождается «как бы бессознательно» из поэтического «настроения». Тактом он тут, по всей видимости, назвал ритм, или метрическую схему, оживающую для стихотворца, благодаря внесению в нее более определенной, уже смутно связанной со смыслом ритмической инфлексии. Так, без сомнения, и возникают стихи. У посредственных поэтов из чужого ритма: они вспоминают, думая, что творят; у богаче одаренных из дарованного именно им, из их взволнованного сумбура, а не чужого. Но тут надо сделать очень существенную оговорку. Звучание поэтической речи, даже и стихотворной, это не просто звучание стиха. Это звучание всей словесной ткани стихотворения, соотносительное выражаемым ею смыслам. Оно становится более ощутимым благодаря стиху; но иностранцу, незнакомому с языком данного стихотворения, останется невнятным именно потому, что не совпадает с тем звучанием «самого стиха», которое слышит так же хорошо и он.

Тут я сошлюсь на столетней давности указание автора, который в целом симпатии у меня не вызывает, но проницательность отдельных суждений которого и в других случаях противоречит тем формулам поверхностного эстетизма, что некогда его прославили. В своей статье о Вордсворте, 1874 года, Уолтер Пэтер заметил, что стихотворный размер («метр») — он мог бы сказать «к самому стиху относящаяся музыка» — у этого поэта лишь прибавка «к той более глубокой музыке

слов и звуков», которая порой и в прозе не отсутствует (в «благородной» прозе, как он говорит). Движение стиха у него как бы даже успокаивает то волнение, «почти мучительное иногда», которое возникает «одинаково в стихах и в прозе» при их выразительной насыщенности, и зависит, «уже и в ритме своем, не от метра, а от некоего трудно уловимого приближения самого звука слов к тем образам или чувствам, которые они в нас вызывают». Не только это вполне верно характеризует лучшие стихи Вордсворта, но и применено может быть к поэтическому искусству вообще, за исключением — да и то не безусловным — лишь той разновидности его, где ритмико-мелодические, наиболее близкие к музыке качества стиха решительным образом господствуют над смысловыми и звукосмысловыми качествами его словесной ткани. Для оценки этих качеств необходимо знание языка, то есть понимание смысловой стороны примененных поэтом словесных звуков. Без него и само качество этих звуков не будет воспринято должным образом. Для восприятия почти одной своей напевностью действенных стихов достаточно слабого знания языка, приблизительного понимания их смысла; для восприятия других необходимо знание настоящее, понимание полное. И речь тут идет — важно подчеркнуть это во избежание недоразумений — не о понимании поэзии, не о поэтическом смысле, а о необходимой предпосылке его: о самом обыкновенном, «словарном» смысле слов (которым обусловлено и предметное их значение): поэзия его преобразует, в звуко-смысл превращает, преображает, но ни писание, ни чтение стихов без него не может обойтись.

Зачем так звучно он поет, — это не значит «зачем, вместо того, чтобы говорить, как все мы, слагает он стихи по правилам стихосложения». Это значит: зачем он отвергает нашу речь ради другой, где слова иначе и тесней связаны со своим звуком, и где их смысл становится иным, не нашим, а если прежним и остается, то как-то странно замыкается в себе. Если так поставить вопрос, то и ответ на него, в самой общей форме, возможным окажется предвидеть: оттого ищет другой, что о другом желает говорить; и вопрос породит много других вопросов, на которые есть надежда, что за поэта мы сумеем ответить когда-нибудь. Отчего, например, он, ни о каких камнях не думая, слово «камень» для заглавия своих сти-

хов избрал, а мы, еще стихов не прочитав, уже смысл и звук этого слова взвешиваем как-то по-новому, о камнях точно также не помышляя. Но никаких разумных ответов — и даже вопросов — поэтической речи касающихся, мы не найдем, покуда не отучимся думать, что в стихах главное — стихи, и что изучение стиха (моделей стихоплетства) открывает нам путь к пониманию искусства слова, даже и стихотворного.

Анализ звуко смысла тут нужней; им я в следующей главке и займусь. А стихи... Сколько их — на все лады — ни пишет стихоплет, он не становится поэтом. Написанные поэтами полезно и отрадно изучать; но не в отвлечении от того, что делает их поэзией.

(Продолжение следует)

В. Вейдле



Тяжелеют снега на холмах полуночной земли —
Бесконечное солнце ушло за глухой горизонт.
На казенной тропе ты замрешь — не дыши и внемли —
Ты услышишь как голос ее одинок, невесом.

На кустах, на деревьях, в глазах — белоснежная мгла —
Это крылья раскрыл свои гиперборейский павлин,
Это черных холмов полукруглые колокола
Поднимают как звон поднимают малиновый дым.

О как медленно время стучит в опустевшей душе —
Оголенных полей тяжелеют простые снега.
В этом чистом гробу — наливайся, грусти, хорошей —
С небольшим опозданием станет нам участь легка.

1970 г. Подмоскowie. Сенеж-озеро.



В высоких снах потерян этот день —
Снег опускается сквозь зрительные линии —
Светла и ласкова небесная свирель
Поющая в воздушном ослеплении.

Мерцающий прозрачен горизонт.
Неодолимо бремя расставания.
Так гаснет день, так угасает легкий взор,
Так возникают белые растения.

Они цветут над бледною землей,
Над остывающим дыханием и глазом,
Колышется их погребальный строй
И каждый лепесток безгласен.

И вот безмолвная откинулась зима...
Небесная свирель — печаль — оцепенение...
Снег опускается и сводит тех с ума,
Кому безумье — исцеление.

1971 г. Москва.



Под зимним небом глухота —
Стога мертвеют одиноко —
Ночь безвозвратна и пуста,
И холодна, как смерть, дорога.
Ночь безвозвратна, ночь пуста —
Ни звука, ни огня, ни Бога.



В больших гробах тела растений
Еще хранят живую смерть —
Тот запах множественных тлений
С лица земли нельзя стереть.

Над краем неба и пустыни,
Под жестким саваном тоски,
Вспоминаньями пустыми —
Травинки, листья, лепестки.

Горит их мертвое дыханье
Неуловимо и тепло —
Их душ святое колыханье,
Их мыслей светлое стекло.

Чрез эти призрачные ночи,
С неутоленною тоской,
Собранье их воскреснуть хочет
И возвратиться в мир земной.

Так вновь и вновь родные тени
Нас посещают и томят,
И превозмогши цепь забвений
О прошлом мире говорят.

И вдруг в угаре узнаванья,
В угаре боли и беды,
В своем замедленном сознании
Мы видим Божии следы.

Михаил Гробман, 1968 г. На Оке под Тарусой

КАЗИМИР ВЕЖИНСКИЙ

ЗАТМЕНИЕ ЛУННОЙ МЕТАФОРЫ И СМЕРТЬ

*«Стихи это состязание со смертью,
Кто скорее, кто скорее».*

К. Вежинский

В 1953 г., в 33-ей кн. «Нового журнала», я уже писала о поэзии замечательного польского поэта Казимира Вежинского (1894-1969), тогда еще здравствовавшего. За время, прошедшее с тех пор, поэзия Вежинского претерпела много изменений. Тот, кто незнаком с ней, и должен был бы сейчас сравнить ранние и поздние сборники, не зная кем они написаны, несомненно пришел бы к заключению, что они написаны двумя разными поэтами. Если уже в «Мерке мака» (Лондон, 1951 г.) попадаются стихи без рифмы и разносложные стихи с разнообразными ритмическими схемами, сменившими восьми- и десяти-сложные ямбы, мастером которых был молодой Вежинский, то стихи последних трех сборников «Оболочка земли» (Париж, 1960 г.), «Сундук на плечах» (Париж, 1964 г.) и «Сон-призрак» (Париж, 1969) совершенно современны, в большинстве случаев без рифмы, с расшатанной строфой и зачастую с минимумом ритма. Можно только поражаться как сложившийся поэт с выработанной поэтикой мог так обновить свой поэтический инструментарий, смог приблизиться к таким поэтам младших поколений как Тадеуш Ружевич (1921-), Збигнев Герберт (1924-) и даже Ежи Гарасымович (1933-). Но в последних сборниках поэта поражает не только новая форма. Почти с самого начала «Оболочки земли» и до конца «Сна-призрака» читателя поражает какая-то новая умудренность поэта, заглянувшего в самые глубины жизни, куда он прежде не заглядывал.

Молодой Вежинский известен как поэт радости жизни, упоения жизнью, красотой, природой, всякой мелочью бытия, которые он видел «под углом восхищения». В этом смысле

очень характерно его стихотворенье «Посещение» из сборника «Весна и вино» (1919 г.) с таким началом:*

Друзья мои! Что это за визит!
Чем мне встречать вас, о мои безмерно?
Пусть снами зацветет в окне прекрасный вид
И майской зеленью украсится пусть ферма.

Правда, позже, начиная приблизительно с 1929 г., в котором вышло два сборника «Разговор с пущей» и «Фанатические песни», «угол восхищения» сменяется взглядом человека, который отдает себе отчет и в социально-политических проблемах, который мучительно ощущает «серость» жизни и тюрьму большого города, в подвалах и на чердаках которого гибнут люди. Вежинский даже чуть не оставляет лирику, перейдя к прозе (сборник «Границы мира»). Еще позже, после катастрофы 1939 г., Вежинский пытается поэтически откликнуться на всё случившееся, «не молчать среди боя», в поэзии он ищет также и убежище от «страшного мира», уходит в воспоминания. Но никогда он не вскрывал таких экзистенциальных глубин как в последних трех сборниках, где преобладают стихи посвященные «последним вещам», как говорили в эпоху барокко. Что такое эти «последние вещи?» Это — смерть, которая занимает в сборниках при всем разнообразии и широте тематики, характерной для Вежинского, видное место. Количество стихов о смерти — поражает читателя. В «Оболочке земли» их 28 на 76 стихотворений, в «Сундуке на плечах» их 23 на 70, в «Сне-призраке» их 36 на 70. Том «Оболочка земли» открывает большое (3½ страницы) стихотворение п.з. «Пятое время года», в котором говорится об общении с умершими родителями, уводящими поэта «в глубь, в таинственное пространство, где весне, лету, осени и зиме даны имена на другом языке», где нет времени и где для поэта открывается последнее время года, пятое:

И полон смерти как тишины
И полон вечности как холода.

Мать говорит поэту: «Тебе нечего здесь жалеть. Смерть и жизнь — одно и то же». За этими стихами идут другие, в

* В этой статье перевод стихов Вежинского на русский — везде мой. З. Ю.

которых особенно поражает одно: — Вежинский всегда очень любил птиц, наблюдал за ними, знал их, «возился с ними» по своему собственному признанию (см. стих. «Что я делаю» в «Оболочке земли» — «В июне: вожусь с птицами, почему — не знаю. Это меня успокаивает».) Эту свою любовь к ним он запечатлел во многих стихах, и нигде раньше не писал ничего подобного как в этих холодящих кровь стихах:

Переодетые, чтобы нельзя было отличить...
Сидят на крышах,
Смотрят вниз,
Вытягивают худые шеи из порванных риз,
Чтобы нельзя было отличить
Переодетые в птиц
Пришельцы из чуждых миров.
Сидят прожорливые гробовщики,
Прилежные плакальщики,
У них кладбищенские лица
И в глазах холод...

Подобным же примером может служить стихотворение «Глицинии», в котором Вежинский, нежно любящий цветы и травы, вдруг глядит на глицинии другими глазами, видя в них змей, «дерево Лаокоона»:

ГЛИЦИНИИ

Глицинии прекрасные кусты
Но посмотрите во что они разрослись!
Веревками окрутили мой дом,
Ноги, руки и плечи,
Лежат на мне,
Душат меня
Тяжкими змеями,
Деревом Лаокоона.
Зарастаемый живьем в тихие вечера,
В дни мирные и буколические,
Задыхаюсь в веревках,
В этой проклятой красоте,
И хотел бы еще закричать
Пока всё пройдет,
Но губы у меня из дерева,

Из полопавшейся коры,
И рот залит цементом,
Глицинии прелестные,
Глицинии!

«Баллада про стол» в «Оболочке земли» кончается призрачным путешествием мертвых по морю. «Некролог» посвящен всем погибшим в газовых камерах, в концентрационных лагерях, в придорожных рвах, всем тем безымянным, «для которых не пишут некрологов». «На площади Бастилии» — это невеселые раздумья в кафе на площади Бастилии о том, что во время великой французской революции на эшафоте погиб, по подсчету историков, 2561 человек, а в наше время массовых убийств неизвестно сколько погибло — 10, 20 или 30 миллионов: этого не подсчитал еще ни один историк. В Париже адрес старого друга, польского поэта Яна Лехоня, выбросившегося из окна нью-йоркской гостиницы в 1956 г., дает повод написать стихи «Не доехал...» В «Сундуке на плечах» тоже несколько посвящений умершим друзьям: поэту Владиславу Броневскому (1897-1962), писательнице Стефании Захорской. Есть и стихи «Эмили Зикинсон», тоже в траурном ключе.

В этом сборнике среди стихов о смерти выделяется «Баллада о двух гробовщиках», в которой очень живо нарисованы два гробовщика с разными темпераментами, один «страшитель» и аскет, другой — веселый, симпатичный, с которым поэт любит выпить в баре на Кладбищенской улице и которого первый гробовщик упрекает в том, что он «не чувствует серьезности смерти» и серьезности своего призвания. В заключении поэт размышляет о том кто из них прав. «Окна» посвящены самоубийцам (вероятно, тоже воспоминанию о Лехоне), которых «притягивают окна» как спасение от «тревоги существования». Хорош «Санитарный рецепт», в котором поэт советует «стирать мокрую кровь пока она еще свежа холодной водой как после бритья...», кровь с картотек безопасности, с истории усовершенствованной до лжи, со смертного тела, со всего, для чего нужна кровь...

«Баллада нашего времени» рассказывает простыми, непоэтичными словами о гибели человека, которому «цементом залили рот» (ср. «Глицинии»!) и над которым издевались,

говоря, чтобы он просил помощи у мира, ссылаясь на «достоинство человека, на десять божьих заповедей, на 100 государственных конституций, на свободу, равенство и братство» и т.д. К эти стихам примыкает «Эпитафия» о павших на войне, которых поливают известью и которых поглощает земля. «Убивайте друг друга дальше. Умершие выше этого». — говорит поэт в конце. Смерть чаще всего появляется именно в финале, иногда совершенно неожиданно, если ей не посвящено все стихотворение. Иллюстрацией этого может послужить и стихотворение «365 раз», которое привожу полностью:

365 раз

365 раз я написал слово «любовь», «всё», и «мир»,
 365 раз я ждал утром пока ты проснешься,
 365 раз я бился до полудня над бумагами,
 365 раз я ударялся головой о стену,
 365 раз я боялся, что гора родит мышь,
 365 раз я шел в полдень на почту,
 365 раз я думал о делах прошедших и о будущем,
 365 раз я смотрел в окно видя и не видя,
 365 раз я тащился вокруг городка вечером,
 365 раз я слушал с моста как чайки кричат перед сном,
 365 раз я ложился в постель,
 365 раз я знал, что завтра снова пойду на почту,
 365 раз я знал, что гора снова родит мышь,
 365 раз я переворачивался на левый бок к стене.
 Пока не повернусь. И так уж останусь.

Как же борется поэт со смертью? Он состязается с ней словом: «кто скорее, кто скорее...» Слово дороже ему жизни:

Выслушали его, выступали его

Хорошо всё, здорово.

Я забыл лишь спросить что —

Сердце или слово.

.....

.....

И на что мне это? Разве кто из них знает

Час моей смерти?

Если у меня слово биться перестанет

К чему мне сердце?

Поэт записывает слово под диктовку кого-то невидимого, кто стоит за ним. (см. «Слово к орфеистам»). Он не знает, что тот говорит, но повторяет слова за ним, «не слышит этих слов», но умеет их написать, и «это так важно, что он больше ни о чем не спрашивает». Поэт призывает других «орфеистов» не смотреть кто стоит за ними, когда они пишут, и шопотом подсказывает им нужные слова.

Слово-дом, слово-песня, слово-мир, в котором живет зачарованный поэт! Стихи посвященные слову, напоминающие стихи лучшего сборника поэта «Мерка мака» (см. в «Новолунье», кн. 33-я «Н. Ж.») и более ранних его сборников.

Может быть, лучше всего суммировал свое отношение к слову Вежинский в прозе, в книге «Моя частная Америка», где он вспоминает как работал «в две руки» над книгой о Шопене (вышедшей на английском и польском языках) и сборником «Мерка мака» в глуши штата Массачусетс:

«Слово не только звук, которым выражают понятие, не только средство сноситься и мнемотехническое средство. Слово является также самобытной жизнью, которая течет на протяжении многих сот лет, у которой есть свои взлеты и упадки, которая расцветает или замирает. В слове отражается мир как на цветной фотографии, а история мира высказывается в слове точнее чем в отпечатках ступней на предисторическом камне. Слово — наиболее личное участие человека в мире и самое живое свидетельство жизни. После последнего слова наступает смерть».

В последних сборниках мы находим также стихотворение «Одно слово», в котором отражено то, что можно назвать новой поэтикой Вежинского: наивысшая экономия поэтических средств, краткость, эллиптичность, отсутствие всякой риторичности и громких, специальных «поэтических слов», отличающие всю новую польскую поэзию.

«Одно слово» призвано выразить боль и отчуждение современного человека. В своих последних сборниках Вежинскому часто удается выразить эту боль, боль добровольного изгнанника, эмигранта, боль современного человека, происходящую от отчужденности, неустроенности, неприятности его в мире. Недаром друг Вежинского, замечательный польский писатель и поэт Иосиф Виттлин назвал Вежинского в последнее десятилетие его творчества «одним из самых выдающихся вы-

разителей отчужденности современного человека». (Культура, 1969 г. «На прощание Вежинскому»). Действительно в стихах, пропитанных горечью, слышится всюду эта отчужденность, эта выброшенность человека из упорядоченного и гармонического мира, его желание найти какой-то приют, какую-то крышу, где бы можно было приткнуться и уцелеть от грозящей отовсюду гибели.

В мире «слишком много темноты, слишком много зла». «Над миром нависла катастрофа», темнота сгущается для Вежинского метафорически в «ночь», ночь, совершенно отличную от тех поэтических и романтических ночей поэзии его юности и даже зрелости. В стихах «Эпоха электростанции» в начале дано ироническое описание создания «нового человека» и «эпохи электростанции», а в конце — его возможный конец «в эпоху модернизированного палеолита». Когда после наших «сеятелей» и «отцов народов» останется несколько радиоактивных зерен пшеницы в память того, «как превосходно нам удалась эпоха электростанции и расширенная ночь». Стихи кончаются призывом: «Темноты всех стран, соединяйтесь над протестом и немощностью черной поэзии, то-есть горькой правды». Другие стихи, написанные на смерть Яна Палаха, сжегшего себя в Праге, кончаются другим призывом:

Не отдавай его земле,
Не задерживай в пути,
Он нам нужен:
Может быть нападет на нас огнем,
На нас, всех уснувших,
Ударит им в нашу ночь.

Так происходит переосмысление всего того, что было дорого поэту в дни его молодости и поэтической зрелости. Стихи «о последних вещах» вытеснили все остальное, «одно слово», которое скулит от боли, вытеснило все другие слова, поэт сделал предметом своих произведений все те вечные вопросы, которых избегал. Его «созидательная гармоничность», уступила место намеренной дисгармоничности, его жизнеутверждение уступило место утверждению смерти как единственной, неоспоримой реальности. Тут надо отметить и «затмение» лунной метафоры, которая занимала такое видное место в сборнике «Мерка мака» и в других сборниках. В сборнике

«Мерка мака» из общего числа 93-х стихотворений «ночь» и «луна» являются фоном или временем действия в 53-х! Из поздних сборников Вежинского луна почти совсем исчезает. Она встречается всего 9 раз в сборнике «Оболочка земли», 3 раза в «Сундук на плечах» и 3 раза в «Сне-призраке». Но появление ее всегда показательно: оно как и прежде связано с вдохновением, с поэзией, с служением музе и со встречами с ней. Показателен «Случай в Аризоне», где описан внезапный прилив вдохновения во время ночной остановки аэроплана. «Схваченный на лассо месяца» — поэт говорит:

Тут останусь, тут переменюсь
Как месяц и как Пикассо...

Но это только — единичный случай. Луна перестала быть вдохновительницей, спасительницей от отчаяния, как перестала ею быть зачастую и сама поэзия. Последние стихи полны мучительного раздумья о смерти, криков о помощи — S.O.S. — чувства усталости и бессилия. Характерно все же, что в одном из последних стихотворений «Зачарованный» — прибегая к старой канонической рифме, что редкость в этом сборнике — поэт клянется в верности искусству: «Даже сомневаясь в себе, я знал об искусстве, что несмотря ни на что, несмотря на гибель, я останусь ему верен».

Поэт сохранил верность слову и поэзии до последнего издыхания: за несколько часов до смерти он еще звонил в библиотеку, проверяя «алгеброй гармонию», правил корректуру последнего сборника, который уже вышел посмертно. В заключение хочу процитировать начало стихотворения «Слово», в котором выражено все, чем жил поэт и чем надеялся преодолеть смерть:

Что мне осталось тут? Слово
Срезанная с вечного дерева ветвь.
Делаю скрипку из нее и снова
Ясень в руках моих начинает петь.

Зоя Юрьева

НА БЕРЕГАХ СЕНЫ

О ГЕОРГИИ АДАМОВИЧЕ

Адамович так говорит в своих воспоминаниях о Бунине: — «Я никогда не мог смотреть на него, говорить с ним, слушать его без щемящего чувства, что надо бы на него наглядеться, надо бы его послушаться, именно потому, что это один из последних лучей какого-то чудного русского дня».

Но, заменив Ивана Алексеевича Георгием Викторовичем и Бунина — Адамовичем, я, не меняя ни одного слова, могла бы написать все это об Адамовиче. Это как раз то, что я чувствовала, глядя на него. Да, я никогда в последнее время не глядела на него без щемящего чувства, что надо бы на него наглядеться, надо бы его послушаться... именно потому, что это один из последних лучей какого-то чудного русского дня. Один из последних? Нет, последний. Больше не осталось никого. Как точно, как хорошо и правильно он, говоря о Бунине, сказал это о себе.

Адамович, как и Бунин, редко вел связные отвлеченные беседы и любил говорить только о пустяках. Но эти пустяки всегда были переполнены «скрытой содержательностью» и светились его глубоким умом. Он сам знал за собой эту черту и часто повторял строки Георгия Иванова:

Поговори со мной о пустяках,
О вечности поговори со мной

Ведь «пустяки» всегда перекликались у него с «вечностью». В капле воды для него, как для Блейка, — отражался весь океан. Самый казалось бы пустяковый разговор с ним открывал «поля метафизики», как он сам насмешливо говорил. Еще об его отношении к «пустякам» — его собственными словами. И опять как будто о нем самом — из его некролога об Александре Гингере: — «Всегда разговор с ним бывал интересен, даже если и касался сущих пустяков или какой-

нибудь смешной мелочи. Ум человека обнаруживается в пустяках, пожалуй, очевидней, чем в предметах важных и высоких, где за фразеологией и туманами так легко скрыть мыслительную нищету. Он был умен в мельчайших своих наблюдениях, а наблюдал он людей и жизнь усердно».

Да, все это как будто о нем, будто он сам о себе писал.

Когда осенью 71 года он объявил мне, что хочет лететь в Америку, я испугалась — ведь это ему не по силам. Его утомляет каждый выход из дома, каждый разговор. А тут полет, бесконечные встречи и приемы, чествования, выступления. Он согласился со мной: — Да, конечно. Но если я сейчас не полечу, то мне уже никогда не удастся. Никогда. — Против этого спорить было невозможно.

— Что ж? Раз доктор вам разрешил... — Я не стала его отговаривать, да он и не послушался бы меня.

Все время, пока он был в Америке, а он отсутствовал гораздо дольше, чем предполагал, — я страшно беспокоилась о нем, несмотря на то, что он писал успокоительные письма, только вскользь упоминая, что был болен — «съел что-то неподходящее», и уверял, что он «осторожнее осторожного», отказывается от многих выступлений, сиднем сидит дома и совсем не утомляется.

Я успокоилась только когда он вернулся в Париж. Ну, слава Богу! Я напрасно волновалась. Все мои предчувствия оказались вздором. Полет в Америку, оказалось, даже пошел ему на пользу. Он как будто даже поздоровел и помолодел. Оттого, что «хлебнул славки».

Но на это мое утверждение он только махнул рукой.

— Ну какая там «славка». Сами знаете. К тому же я не честолюбив.

Нет, этому я не совсем верила.

— Бунин утверждал, что нечестолюбивых писателей нет и быть не может. Только одни это скрывают и ловко прикидываются скромными. Вы не согласны с ним, Георгий Викторович?

Адамович пожал плечами.

— Не согласен. Но давайте не спорить. Терпеть не могу спорить, Доказывать утомительно, но и молчать, когда хочется возражать, тоже утомительно. Мне с вами так легко оттого, что я с вами почти всегда одного и того же мнения. Вы меня и я вас с полслова понимаем. Должно быть оттого, что когда-то

мы с вами дышали петербургским воздухом тех «баснословных лет» — «Блажен, кто им когда-нибудь дышал».

И, как он постоянно делал, перескакивая с темы на тему, без связи между ними, продолжал:

— Довид Кнут был настоящий поэт. А кто его теперь помнит? Я кивнула и произнесла нараспев:

«Имя тебе непонятное дали — ты забытье

Или вернее цианистый калий имя твоё».

Он улыбнулся.

— Что ж? Вот вы и без спора как будто победили меня. Сознаюсь, мне очень приятно, когда меня цитируют. И когда помнят мои старые стихи наизусть. Все же, повторяю, я нечестостлюбив и даже скромн.

Спорить мы в ту, почти последнюю, встречу не стали. Разговор перешел на общих знакомых в Америке — кто как живет и что делает. И кто помнит меня и просил мне кланяться.

Теперь я спрашиваю себя — был ли Адамович скромн? И вспоминая всевозможные факты его жизни и всяческие его высказывания, почти с уверенностью могу ответить — да. Он был скромн.

Конечно, это не мешало ему быть самолюбивым и памятливым. Я не хочу сказать — злопамятливым, хотя все обидное, сказанное о нем, он помнил десятками лет, он никогда не мстил за обиды. Но нанесенные его самолюбию обиды все же эмоционально окрашивали его суждение об обидевших его.

Так он, сам того не сознавая, не мог простить Марине Цветаевой ее «Цветника», кстати, чрезвычайно неудачного критического произведения, совсем не достойного ее таланта. Она, так великолепно умевшая восхищаться, не умела, как учил когда-то Чуковский «проткнуть острым пером врага так, чтобы раненого унесли с поля битвы». Адамович, несмотря на одно из лучших его стихотворений, посвященных ее тени, «Поговорим хотя б теперь, Марина», до конца по существу остался ей враждебен и в своем последнем письме из Ниццы писал мне: «Вчера я писал разные мелочи для себя и для вечности впрок и написал, что трех писателей мне иногда читать неловко (за себя и за них) в нисходящем порядке: Достоевского, Розанова и Цветаеву».

Конечно, его многое раздражало в неудержимом размахе

Цветаевой. Раздражал его ее московский стиль, его коробило от ее эгоцентризма и мифотворчества. Но если бы не было ее злосчастного «Цветника», он все же, я думаю, гораздо снисходительнее судил бы о ней. Особенно после ее трагической смерти.

Хотя это и кажется парадоксальным, Адамович в стихах меньше всего ценил талант. — Слишком безудержно, слишком пенится, звенит и летит. Слишком талантливо, — говорил он о стихах одного из наших лучших поэтов. — Признаю все достоинства, но они оставляют меня холодным, а стихи должны волновать и задевать.

Таланту он предпочитал одаренность, ум, чувство меры, экономию средств, умение вовремя замолчать. Так, он считал, что «по истине, без волнения внимать невозможно» стихотворению Боратынского:

Царь небес! Успокой
Дух болезненный мой,
Заблуждений земли
Мне забвенье пошли
И на строгий твой рай
Силы сердцу подай.

И был «готов смиренно преклонить колени» перед автором их, как он сам писал в своих «Комментариях».

Это было наше с Адамовичем единственное крупное расхождение во взглядах и вкусах. Нет, я совсем не была согласна с ним. Но это не вызывало ни спора, ни пререканий. Он сказал только: — Что ж? Это доказывает, что у вас безошибочный правильный вкус и слух на все дурное, а о прекрасном вы иногда судите неверно.

— А может быть, — сказала я, — вам кажется, что я всегда правильно сужу о дурном оттого, что и вы того же, как и я, мнения. А на самом деле мы оба ошибаемся. И это совсем не плохо, а только нам обоим кажется плохим.

Он кивнул:

— И это возможно. Но Боратынского я вам не уступлю.

— Зато я вам с удовольствием уступлю место в его строгом раю. Довольно с меня мучений и неприятностей на земле. В раю я надеюсь блаженствовать.

Он рассмеялся.

— Спасибо. С охотой займу ваше место.

На этом и закончился наш несостоявшийся спор. Я почувствовала, что говорить о моем возмущении не следует, что это может кое-что испортить. «Если надо объяснять, то не надо объяснять» часто повторяла Зинаида Гиппиус. И это было особенно правильно в отношении Адамовича. Он понимал с полуслова, без объяснений, или не понимал вовсе. Не принимал, не соглашался, несмотря ни на какие объяснения и доводы. В стихах он больше всего ценил не «за сердце хватающие строки», не «звуки небес», не «доплеснуть до луны», а тяжесть слов падающих подобно камням. Паузы и то, что скрыто за паузами.

Еще до войны мне — и не мне одной — казалось, что Адамович не очень любит стихи, что для него лучшее стихотворение не стоит «непоправимо белой страницы». Одни словом что парадоксальное утверждение «современная музыка идет к молчанию» могло быть повторено и в отношении поэзии и что, по Адамовичу, поэзия идет к молчанию, и он всеми силами стремится помочь ей в этом.

Но я, конечно, ошибалась. В чем смиренно сознаюсь. Редко кто так любил и так мучился поэзией, как он. Он жил и дышал ею.

Как всегда, когда я пишу или говорю об Адамовиче, я уклоняюсь в сторону, я уношусь или вперед или назад в воспоминанья. Я слишком много думала и знала о нем, он играл слишком большую роль в моей жизни. Мне трудно остановиться на каком-нибудь часе или дне, проведенном с ним, трудно правильно последовательно писать о нем. Он как-то слишком не то что велик, вернее глубок, слишком широк и многообразен.

“*Mouvante comme l'onde*” — так он неоднократно и в письмах и в разговорах характеризовал меня и прибавлял, — оставаясь неизменной. Но и сам он был такой же, оставаясь, по существу неизменным.

Как-то, после выхода моей книги «На берегах Невы», мы говорили о том, как надо писать воспоминания. Я спросила его, хочет ли он, чтобы я написала о нем. И он ответил:

— Хочу, конечно, вы ведь пишете доброжелательно. Пожалуй, даже слишком доброжелательно. Все всегда у вас лучше, чем были. Немного такими, как их задумывал Бог. Вы

смывает с них их грехи и все пороки. Они как отражение в магическом зеркале. Но вы так ловко это делаете, что они все у вас оживают. Но неужели вам не хочется рассказать про них и дурное? Они от этого еще выиграли бы. Неужели вам не хочется показать их не приукрашенными, в их «натуральном безобразии»?

Я покачала головой: — Не хочется. Я ведь никогда не привираю. Я только иногда не все говорю, что знаю.

— А знаете вы действительно много. Я бы на вашем месте написал дополнение. Чтобы его напечатали через двадцать пять лет после вашей смерти, и в нем все, без утайки, рассказал про всех. Всё про всех. Хотя и сейчас уже не мешало бы кое-что подсолить и подперчить — для пикантности.

Но на это я не могла согласиться:

— Ну нет. Никогда. Это было бы злое дело. Ведь дурное всегда гораздо ярче запоминается, и это значило бы заклеить и опозорить всех поэтов и писателей — чистым не остался бы ни один. Ведь за каждым что-нибудь да числится.

— Это как раз то, что отделяет писателей от обывателей и придает писателям человечность. «Подл, да не как вы» — как про Байрона сказал Пушкин:

Я спрашиваю: — А вы хотели бы, чтобы я про вас?

Он задумывается на мгновение: — Откровенно — хотелось бы. Но, конечно, не все, что знаете. Кое о чем необходимо промолчать. Но очень многое можно рассказать — конечно, с тактом. — И уже меняя тон: — А вам, наверно, кажется, что вы меня насквозь видите, до конца знаете? Так ведь?

Я качаю головой.

— Нет, совсем не кажется. Очень приблизительно вижу и знаю. Но все же, пожалуй, лучше, чем другие.

— Никто никого не знает, — полусентенциозно, полупиронически произносит он. — А меня действительно особенно трудно узнать. Ведь я и сам себя не знаю и часто удивляюсь своим поступкам. И даже словам.

— Вы заперты, как тюремные двери, на три поворота, на крюк, болт и цепь, — говорю я в тон ему шутливо. Он кивает.

— Или как сейф. Но, может быть, в сейфе вместо золота и долларов пуговица хранится. Или еще хуже — он пуст. Жаль, что я молчать не умею. Я о себе много лишнего говорю. И о других. Пожалуйста, никогда не открывайте мне ваши

тайны. Побожусь, поклянусь и тут же разболтаю. Не могу не разболтать. А потом жалею.

В тот же вечер, уже прощаясь со мной у входа в метро, он сказал:

— Не торопитесь писать обо мне. О живых писать трудно. Неблагодарное это дело. И не слишком покрывайте меня сахарной глазурью. Я не был тем, кем мечтал быть в молодости. И сейчас не такой, как хотел бы. А меняться поздно. — И он как-то застенчиво добавил: — Все же помните, когда будете писать обо мне:

А ведь из человеческих сердец
И это обманувшее сияние...

Я уже спускалась по лестнице. Он смотрел мне вслед растеряннo и печально. Мне вдруг стало невыносимо жаль его. Я быстро повернулась, поднялась к нему и протянула ему руку. Я хотела утешить его, сказать, что понимаю его, но не нашла слов.

— Георгий Викторович... я...

Но он улыбнулся грустно, высоко поднимая брови.

— «Знаем сами всё, молчи», — произнес он нараспев эту, так часто повторяемую нами брюсовскую строчку, и прибавил тихо: — Спасибо. Бегите скорей, а то на поезд опоздаете.

Он, не выпуская моей руки, смотрел на меня «своими чудными глазами». Да, действительно чудными. И мне в эту минуту показалось, что в них проходит вся его неудавшаяся жизнь, все его одиночество. И тоска. Я стояла перед ним молча, не решаясь уйти. Он повторил: — Спасибо. Ну, бегите, а то опоздаете.

И я снова, уже не оборачиваясь, спустилась в метро, а в памяти моей звучали его строки:

О том, что мы живем,
О том, что мы умрем,
О том, как грустно всё
И как непоправимо...

«Есть в близости людей заветная черта», — писала Ахматова. Черта, которую невозможно перешагнуть. И я ее особенно чувствовала именно с Адамовичем. В нем было что-то,

мешавшее окончательному дружескому сближению, что-то останавливающее на этой «черте», делающее последнюю откровенность невозможной — какая-то душевная стыдливость и застенчивость. И отсюда недоговоренность, скрытность, вернее замалчивание самого главного. Вот, вот, казалось, он заговорит до конца откровенно, щемящим сердце голосом, о самом тайном, сокровенном, что мучит его. Вот, вот... Но он вдруг обрывал на каком-нибудь словце, выкидывал «риторическое» коленце или прятался за какую-нибудь цитату стихов и продолжал о «пустяках».

Были у нас с ним и заповеданные области разговоров, разговоров, которые он вел только со мной — как он уверял меня. Хотя в этом совсем не уверена. Он был, насколько мог, откровенен со мной с самого начала. Но не оттого, что я сразу же внушила ему какое-то особенное доверие. Нет, просто оттого, что он был в те годы очень дружен с Георгием Ивановым, и я, выйдя замуж за Георгия Иванова, поселилась вместе с ними на Почтамтской в квартире его тетки, где мы прожили все трое целый год в самой предельно близкой дружбе.

Часто молодые жены ревнуют своих мужей к их друзьям и становятся помехой в мужской дружбе. У нас же произошло обратное. Я подружилась с Адамовичем сильнее, чем с самой любимой из моих подруг. Так, как с ним, ни до него, ни после я ни с кем не была дружна.

Квартира его тетки, мадам Белэй, хотя и очень роскошная и прекрасно обставленная, все же состояла лишь из трех огромных комнат: спальни, столовой и кабинета.

Адамович поселился в спальне, мы с Георгием Ивановым в кабинете. Жили мы семейственно интимно и целые дни проводили вместе. И только на ночь расходились по своим комнатам.

Я проводила с Адамовичем не меньше времени, чем с Георгием Ивановым. Мы с Адамовичем вставали рано, тогда как Георгий Иванов по скверной привычке спал до двенадцати. Хозяйством я совсем не занималась и чувствовала себя здесь гостьей. У нас — ведь это было уже в 21 году во время Нэпа, была прислуга отлично готовящая и сама составлявшая наши меню. Она ставила нам самовар, и мы с Адамовичем пили утренний час вдвоем.

К «брэкфесту» он являлся в шелковом персидском халате,

доставшемся ему по наследству от «господина Белэя», покойного мужа его тети. Халат этот был слишком велик и широк для Адамовича. Туго перетянутый в талии он образовывал множество топорщившихся складок и доходил до земли.

Голову Адамович повязывал голубым газовым шарфом, чтобы волосы лежали как можно глаже. В этом наряде он производил странное впечатление, очень забавлявшее меня.

Как-то раз, когда Мариана отлучилась, он открыл на стук дверь кухни какому-то красноармейцу, пришедшему предложить свои услуги: — Хозяйка, дров поколоть не надо-ть? Или полы натереть? — И не получая ответа от ошеломленного Адамовича — Что, хозяйка, оглохла, што-ль? Дрова колоть не бабье дело. А я, мне сподручно.

Адамович, давясь от смеха еле выговорил: — Не надо. Мой муж наколет. И закрыв за ним дверь, бросился ко мне в столовую рассказать о «происшествии». Мы так громко смеялись, что разбудили Георгия Иванова. И он присоединил свой смех к нашему. С тех пор в продолжении нескольких недель мы называли Адамовича «хозяйка», что неизменно веселило и его и нас. Об этом, как и о многих других мелочах и «пустяках», мы с ним часто вспоминали и здесь, в Париже. Даже этой зимой еще вспоминали.

Разговоры у нас, конечно, были разные, но они часто соскальзывали в заветную область «странностей любви» в прошлом и настоящем. Я не собираюсь рассказывать о ней, несмотря на его совет рассказать о других, и о нем в том числе, все, что я знаю, «чтобы всё, всё о всех». Все же мне кажется необходимым подчеркнуть одну его, мало кому известную черту — его стихийную — не нахожу другого слова — страстность, его огненный темперамент, так плохо, казалось бы, вязавшийся с его внешностью, с его благовоспитанной сдержанностью, с его петербургской изысканной подтянутостью. Этот безудержный темперамент заставлял его терять голову и совершать неразумные поступки; он проявлялся и в его картежной страсти. Адамович был безрассудно и неудержимо азартен. Он начал играть уже в Петербурге, в 21-м году, в только что открывшихся клубах. Ему чрезвычайно не везло. Он постоянно проигрывался в пух и прах.

— Опять «пух и прах!» — сообщал он мне утром за чаем

и, заламывая руки, стонал: — О Господи! Какая тоска, какая скука!...

На что я неизменно произносила фразу из какого-то переводного романа:

— Зачем вы так поступаете, сэр?

Он продолжал вздыхать.

— Звезды, звезды, какая тоска!..

Скука и тоска нападали на него и терзали его, «как дикие звери», по его же словам.

— Не уходите, посидите со мной, — просил он меня. — Одному мне еще более тошно. Я весь исхожу скукой как клюквенным соком. С вами мне легче.

Георгий Иванов шутил говорил, что Адамович феноменально, гениально нечеловечески скучает, и это заменяет ему вдохновение. Сам Адамович признавался в стихах: — «Но так скучать, как я теперь скучаю, / Бог милосердный людям не велел». Впрочем, эти приступы скуки не мешали ему быть почти постоянно в хорошем настроении и всегда очень вежливым со мной. Но скучал он не только после карточных проигрышей. Иногда, в самые казалось бы, благополучные дни, когда я одевалась к утреннему чаю, до меня доносилось: — Господи! Какая скука, какая тоска!

Но ведь он вчера никуда не ходил, не играл. У нас были гости. И, значит, это не от проигрыша. Я выходила, притворяясь, что не слышала его вздохов и стонов. И начинала говорить о стихах. О его, о своих, о чужих — в те дни стихи были главным содержанием моей жизни. И он, понемногу втягиваясь в разговор, забывал о своей скуке.

Я удивлялась, как они сравнительно мало места занимали в разговорах Адамовича и Георгия Иванова, предпочитавших им «пустяки» и говоривших о поэзии легкомысленно. Я привыкла к серьезному, благоговейному отношению к поэзии Гумилева. К тому, что «Служение муз не терпит суеты». А здесь на Почтамтской царствовала суета. Даже суета суеты. И лень. Они целыми днями куда-то спешили, чем-то были заняты, чему-то смеялись. И ничего не делали. И это меня очень удивляло. Мне, ученице Гумилева, казалось, что поэты должны работать, что день без нового стихотворения — потерянный день. Но такие взгляды смешили их.

— Стихотворения появляются вот так — из ничего. Ра-

ботать над стихами, — насмешливо уверяли они, — глупая и даже скверная, вредная затея.

Кстати, Георгий Иванов сохранил этот взгляд на всю жизнь. Он остался таким-же ленивым, как был, или, пожалуй, стал еще ленивее. Тогда как Адамович в эмиграции очень изменился и стал по-настоящему трудолюбив, хотя и отрицал это, уверяя, что пишет из «преодоленной лени» и необходимости существовать, — «а так бы ни строчки».

У большинства людей характер с годами портится. Они становятся эгоистичнее, скупее на чувства, черствеют и озлобляются. Это естественно. Умнеют ли люди под старость? Мне кажется — нет. Становятся скептиками. Приобретают «жизненный опыт». И теряют доброту.

Почти все. Но Адамович — исключение.

— Вы с годами теряете недостатки и приобретаете достоинства, — говорила я ему шутя.

— Ах, нет, дело не во мне, а в вас. Вы стали добрее, снисходительнее, а, может быть, и менее наблюдательной. Вот вам и кажется, что я стал лучше.

Я соглашаюсь.

— Возможно, что я стала лучше, хотя вряд ли.

— Онегин, я тогда моложе,
Я лучше, кажется, была...

Он откидывает голову и смотрит в окно на парижское вечернее небо. — Онегин, я тогда моложе... — Это для меня одни из самых божественных строк — вся эта глава. — Сегодня очередь моя. — И в особенности: — Руки бесчувственной своей... — Ведь если — «Бесчувственной руки своей» — вся прелесть, вся магия пропала бы. А это, казалось бы, ничем не вызванная перестановка слов. — И вот Адамович говорит о Пушкине, весь преобразившись. Говорит серьезно и долго, с увлечением. Пушкин, Лермонтов и Толстой для него те «три кита, на которых держится русская литература». И вдруг:

— А ведь мы с Жоржем, это было еще до вас, хотели исправить Пушкина. И выпустить «Исправленного Пушкина». Я и сейчас холодею, когда вспоминаю об этом.

Я смеюсь.

— Конечно, знаю, помню. Ничего, по-моему, страшного не

произошло бы, если бы действительно выпустили. Ведь вы тогда были очень молоды.

Он морщится.

— Не всякое идиотство можно оправдать молодостью. Слава Богу, что мы не решились. Я бы этого себе никогда не простил. Ни себе, ни Жоржу. Это его была идея. Ведь он начал эгофутуристом, а я...

— А вы всегда были классиком — с молодых ногтей. И остались им. Но, Онегин, вы сейчас гораздо лучше, чем раньше.

Адамович действительно становился лучше с годами. Он, хотя этому и трудно поверить не знавшим его еще «в те баснословные года» в Петербурге, как-то душевно «молодел», приобретал качества, присущие молодости: отзывчивость, доброту, желание контакта, легкость общения и готовность заводить новые дружбы. Он становился все менее эгоистичным, все более снисходительным к слабостям других.

— Надо прощать — часто повторял он. — Конечно, это не легко и мне не всегда удастся. Я ненавижу тех, кто передает мне: — А тот или та о вас сказали... — Я ведь и сам и о той и о том... — это вовсе не значит, что я о них плохо думаю. Только для острого словца, раз они мне под язык или под перо попались в письме. И они обо мне так. Но в чужой передаче всё становится оскорблением. И трудно забыть и простить.

Правда, даже и о своих друзьях, о тех, к кому он относился с настоящей симпатией и уважением, он почти всегда говорил с насмешкой, остро подмечая их комические черты, давая им забавные клички. Как делал и Георгий Иванов. Я привыкла к такой его манере. Но вот уже лет десять он все реже высказывал резкие мнения о людях и все чаще говорил:

— Нет, в сущности он не глуп, а только кажется глупым, — если его невнимательно слушать. Он просто не дает себе труда разобраться в путанице своих мыслей. — Или: — Она, конечно зла, но ведь она очень несчастна. Оттого и зла. И к тому же ведь дура. Пожалеть ее надо. — Об одном нашем общем знакомом: — Конечно, он постоянно меняет свои мнения. Но он искренен. Каждую минуту. Правда, на одну только эту минуту, в следующую он уже может переменить мнение. Но всегда искренен. — Надо быть гораздо снисходительней к

людям, — и прибывлял полунасмешливо: — «Не суди и не судим будешь». А вот я не могу. Сужу с утра до вечера всех и вся. И первого себя. За то, что сужу. И вообще за всё.

Адамович — я не знаю, замечал ли это кто-нибудь, кроме меня, — был очень застенчив, хотя умело маскировал свою застенчивость. Но победить ее, как он победил свой эгоизм, ему не удалось. Застенчив он был не только внешне, но и внутренне. Внешнюю свою застенчивость он научился хорошо скрывать. И вряд ли кто, принимая его у себя, догадывался, что ему стоило мучительных усилий войти в гостиную, полную гостей, и поцеловать руку хозяйки. Он сам признавался мне, что у него сжимается сердце, когда он переступает порог чужого дома. Даже самого дружеского, где его с нетерпением ждут. Правда, только на одну минуту. Потом совершенно проходит. — А вот выступать публично мне гораздо легче. Даже совсем легко. Пойдите поймите почему. — Он подымал брови и с недоумением смотрел на меня.

— Оттого, что вы прирожденный оратор и эмигрантский златоуст, — уверяла его я.

Адамович действительно прекрасно говорил. И очень легко. Как то раз, еще до войны, мы с ним приехали в «Зеленую Лампу» прямо после обеда у нас. Он должен был выступать с докладом, но ни за обедом, ни в такси ни слова не было сказано о его предстоящем докладе. И только приехав в «Зеленую Лампу», он отошел от нас с Георгием Ивановым и уселся на стул в коридоре.

— Подождите. Я останусь тут. Мне надо обдумать, что я буду говорить. Пять минут. Через пять минут, не раньше — можете объявить заседание открытым.

Георгий Иванов был бессменным председателем «Зеленой Лампы». Правда, роль эта была чисто декоративная. Он ограничивался только тем, что открывал и закрывал заседания и предоставлял слово ораторам. В отличие от Адамовича Георгий Иванов не обладал никакими ораторскими данными и в публичных дебатах не участвовал. За все существование «Зеленой Лампы» он прочел один лишь доклад. Прочел по написанному, а не сказал. О символизме.

Пяти минут для Адамовича оказалось вполне довольно. Он в тот вечер — как, впрочем, и всегда — отлично говорил. Адамович был великолепным оратором, что обнаружилось уже

в собраниях «Зеленой Лампы», в конце 20-х годов. Но блестящим собеседником, тем, что французы когда-то называли “causeur”, он не был. И даже слегка гордился этим.

— Нет, — говорил он, — я совсем не завидую «тэбельточным» успехам Жоржа. Мне непонятно, как это он режет и бреет и мгновенно отвечает *du tic an tas*. Иногда мне даже неловко за него, и в то же время я восхищаюсь им. «Таких уж нет и скоро совсем не будет» — по определению Ильфа и Петрова в «Золотом теленке» или в «Двенадцати стульях».

Да, таких блестящих собеседников «уж нет и скоро совсем не будет». Мне, по крайней мере, за все годы эмиграции ни в Европе, ни в Америке никого, кто бы мог сравниться в этом отношении с Георгием Ивановым, встретить не пришлось. Не исключая и Тэффи. В Петербурге равным ему был один Михаил Леонидович Лозинский, тоже «остроумный свыше всякой меры, блистательный разговорщик».

З. Н. Гиппиус сразу оценила Георгия Иванова и стала сажать его за чайным столом с своего правого, лучше слышащего уха. С ним она вела длинные беседы не только по «воскресеньям», но часто и вечерами, когда она приглашала его одного «поговорить с глазу на глаз» о стихах и о русских делах. Русские дела интересовали его не менее, чем ее.

К психологическим, метафизическим и религиозно-философским дебатам он был абсолютно холоден, лишь изредка прерывая их каким-нибудь саркастическим замечанием, вызывавшим общий смех. Так, на одном из воскресений, когда И. И. Фондаминский говорил об ордене интеллигенции и обещал скорое всемирное царство элиты, Георгий Иванов, вздохнув, произнес:

— Все это так, Илья Исидорович. Только — элита едет — когда-то будет? — чем «зарезал» пламенную речь Фондаминского. После взрыва смеха он уже не мог найти прежнего тона.

Кстати, от превращения «улиты» в «элику» рикшетом пострадал и Элита-Величковский, тут же переименованный Зинаидой Николаевной в Улитку-Величковского. Она, как Адамович и Георгий Иванов, тоже любила давать людям клички. Так, одного христианского философа она прозвала «подколюдным ягнёнком». Придумала она и пожелание: «Степун тебе на язык». Выслушав однажды мрачные предсказания Мереж-

ковского о «холоде и мраке грядущих дней», она воскликнула: — «Степун тебе на язык!» —

Адамович в те довоенные, догитлеровские годы принимал горячее участие в религиозно-философских спорах с Мережковским, доходивших иногда до курьезов. Так, на одном заседании «Зеленой Лампы» Мережковский, весь исходя раздражением и вдохновением, теряя почву под ногами, задал слушателям ошеломляющий вопрос: — «Господа, с кем же вы? С Христом или с Адамовичем?»

Но воспоминания опять уносят меня назад, к тому сказочному двадцать первому году. Моя жизнь там, на Почтамтской, в квартире тетки Адамовича резко отличалась от прежней. Там все было совсем иначе — другой быт, другие привычки и понятия. Как будто я переехала не из одной части Петербурга в другую, а в неведомую, фантастическую страну. Там многое поражало меня и очаровывало, а иногда и корбило. Все было совсем не так, как у меня на Бассейной 60. Я привыкла вставать рано, делать гимнастику, обтираться даже зимой холодной водой и, одевшись, съев остаток хлебного пайка, засаживаться за очередное писание стихов.

Но здесь, на Почтамтской, по моим понятиям, вставали очень поздно — часов в девять вставал Адамович, а Георгий Иванов — тот иногда окончательно просыпался только к двенадцати.

Когда мы куда-нибудь шли вместе, а это происходило постоянно, — мне приходилось их ждать. Я одевалась быстро, они же уже готовые к выходу, в пальто, останавливались перед зеркалами, осматривая себя, особым образом подягивали галстук или приглаживали и без того гладкие волосы. Были они оба очень, даже чересчур изящны, по мнению Гумилева. «Не люди, а какие-то произведения искусства. Оба — и ваш Жорженька больше, чем Адамович. Ни дать ни взять, этрусская ваза. Но за этрусскую вазу, как бы она вам ни нравилась, выходить замуж невозможно», — говорил он.

На Почтамтской никто не работал, за исключением дней перед сдачей переводов во «Всемирную Литературу». Тогда и Адамович и Георгий Иванов засаживались за них на целый день и нередко на целую ночь. Переводили они оба с удивительной легкостью и быстротой и очень хорошо. Георгий

Иванов перевел почти всю «Орлеанскую Деву» Вольтера, а Адамович — «Чайльд Гарольда» Байрона и многое другое.

Конечно, и на Почтамтской писались стихи. И даже много стихов. Большая часть «Чистилища» Адамовича написана именно там. Но писались они незаметно, проходя, как бы возникая неизвестно откуда. Мою манеру сочинять стихи они оба дружно высмеивали. — Это ремесленная, а не поэтическая работа. Брось! Брось! Пиши только, когда почувствуешь, что это тебе необходимо, — твердил Георгий Иванов. — Не высиживайте стихов, как курица цыплят, — поддерживал его Адамович.

Мы жили очень дружно и, несмотря на отчаянные кризисы скуки Адамовича, очень весело. И он и Георгий Иванов были крайне вежливы и предупредительны не только со мной, но и друг с другом. За одиннадцать месяцев нашей общей жизни мы ни разу не поссорились. Мне они постоянно старались угодить всячески, главным образом гастрономически, принося пирожные и семгу. Тогда уже начался НЭП, и кондитерские открывались на каждом шагу.

Как то вечером Георгий Иванов уехал на сутки к сестре в Петергоф, я была одна дома и читала, Адамович просунул голову в дверь кабинета:

— Я принес вам семгу. Она на буфете в столовой. Съешьте ее всю, мне не оставляйте пожалуйста. А я пойду к себе. Мне надо спешно кончить перевод. Простите, мне некогда.

Я обрадовалась — я была голодна — и, поблагодарив, отправилась в столовую и осмотрела буфет. Семги не было. — Георгий Викторович, — крикнула я, — на буфете нет! — Неужели? Верно, я по рассеянности куда-нибудь в другое место положил — ответил он из спальни. — Простите, я очень занят! Поищите, не мешайте мне, пожалуйста!

И я принялась искать всюду, где только можно, побывала в прихожей, осмотрела подзеркальник, обшарила ящик для перчаток. — Нет, нигде! — снова крикнула я ему. — Я придвинула стул и влезла на него. Но на высоком шкафу с посудой, кроме пыли, ничего не оказалось. Дверь в спальню осталась открытой. Стоя на стуле, я заглянула в нее. Адамович не сидел за сверкающим своей золотистой поверхностью столом из карельской березы и на нем не было ни листка бумаги, ни чернильницы, ни книг — решительно ничего. Адамо-

вич стоял спиной к двери перед большим зеркалом, в котором отражалась часть столовой и я на стуле.

— Нигде нет! — повторила я устало. —

Он вышел из спальни ко мне и громко рассмеялся.

— Нет? И там нет? Неужели? Ну, и настойчивая же вы, — даваясь от смеха произнес он, — я уже четверть часа люблюсь, как вы ищете и рыщете. Настоящая ищейка. Нет семги? Конечно, нет. Ведь я ее и не покупал!

Я оторопела. — Зачем же вы? Зачем?...

— А чтобы посмеяться, — невозмутимо объяснил он. — Мне было так скучно и тоскливо. Я ведь опять «в пух и прах». Вот мне и захотелось развлечься.

Я продолжала смотреть на него во все глаза. Молча. Потом слезла со стула.

— Вы сердитесь? — спросил он удивленно. — Неужели? Я покачала головой.

— Нет. Но я очень удивлена. Я вас не знала. Вы не такой, как мне казалось. Совсем не такой.

— А какой?..

Но я, не ответив, повернулась, прошла в кабинет и закрыла за собой дверь. Через несколько минут, когда я уже успела раздеться и лечь, он постучался ко мне, но я не ответила. «Нет, конечно, — думала я засыпая. — Этого я никогда не прощу ему. Он мне больше не друг. Я не хочу жить у него. Я уговорю Жоржа. Мы уедем. Мы переедем в Дом Искусства. Завтра же».

Но на следующее утро он так искренне, так истово просил у меня прощения и так горестно каялся, что я не только простила его, но даже пожалела его за очередной в пухи-прахский проигрыш. За всю нашу более чем полувековую дружбу это была единственная, так и не состоявшаяся, ссора.

Когда года два тому назад, обедая с ним, я вспоминала о случае с семгой, он долго не мог вспомнить его. А вспомнив, огорчился.

— Неприятно о себе такое вспоминать, очень неприятно. Мне, когда я думаю о себе в прошлом, о себе прежнем, всегда хочется повторить — «Онегин, я тогда моложе / И лучше, кажется...» — А вот оказывается, что и в молодости не лучше, а даже еще хуже.

Я перебила его: — Да, вы стали лучше, чем были в молодости. По-моему, это очень хорошо. И редко кому удается.

Он задумчиво посмотрел на меня:

— Странно это, и как-то даже не верится. Мне казалось, что у меня к вам тогда было столько нежности. Одна только нежность...

Да, нежности у Адамовича ко мне тогда, действительно, было много. Как-то я, набегавшись за целый день, прилегла на диван в ожидании вечернего чая и заснула. И вот сплю и чувствую, сквозь сон, что кто-то смотрит на меня. Я с трудом открываю глаза и вижу Адамовича. Он стоит, немного наклонившись надо мной, и смотрит на меня с каким-то не свойственным ему выражением грусти.

— Вы так трогательно, так беззащитно спали, — говорит он тихо. — Простите, я вас разбудил. Но мне вдруг стало так страшно за вас, что у меня даже сердце сжалось. Вы ведь всегда ждете счастья, вы уверены, что будете счастливы. А я боюсь, что вам придется пережить много тяжелого, очень много. И мне так хотелось бы вас защитить. Вы еще не понимаете, насколько жизнь жестока, насколько люди несчастны. В особенности здесь и теперь.

Но я засмеялась: — Нет, нет, неправда! Именно здесь и теперь я очень счастлива. А дальше будет еще лучше, гораздо, гораздо лучше, уверяю вас, вот увидите!

Он покачал головой. — Что же, хорошо, если вы хоть сейчас счастливы. Счастливы не только наяву, а и во сне. Ведь вы улыбались во сне. Лежите, лежите!..

Он подошел к роялю, стоявшему тут же в нашем кабинете. Он любил и хорошо знал музыку, но играл очень плохо. Настолько плохо, что я иногда с трудом узнавала в его исполнении знакомые мне вещи. Он стал что-то тихо наигрывать, а я снова закрыла глаза.

— Узнаете? — вдруг тихо спросил он меня.

Я прислушалась.

— Кажется, «Мне верить хочется» — моя мать когда-то пела. Да, да, конечно, это «Мне верить хочется».

— А слова вы помните?

— Да, помню: — «Мне верить хочется, что этих глаз сиянье / Не омрачит гроза житейских бурь...»

Он продолжал играть, пока в прихожей не стукнула дверь

— Жорж вернулся! — Я вскочила, готовая бежать ему навстречу. Адамович закрыл крышку рояля и встал.

Там же на Почтамтской я пережила благодаря Адамовичу и свою настоящую встречу с Тютчевым. До этого времени я чувствовала к нему больше почтения, чем любви. Но однажды, когда мы, что с нами довольно редко случалось, сидели одни за вечерним чаем, никуда не собираясь и не ожидая гостей, Адамович вдруг, без всякой связи с тем, что только что говорил, откинул голову и стал медленно и как-то мечтательно читать:

«Вот иду я вдоль большой дороги...»

Это стихотворение было мне неизвестно. В моем томе Тютчева, составленном его вдовой, его вовсе не было. Я слушала, не зная, чье оно, слушала, чувствуя, что стены столовой раздвигаются, исчезают и потолка над головой уже нет... Летний вечер. Сумерки. Я стою в траве и вижу, что далеко впереди по большой дороге тяжело идет кто-то «в тихом свете гаснущего дня», а над ним в прозрачном небе — облако, похожее на ангела, или ангел, похожий на облако.

«Ангел мой, ты видишь-ли меня?...» — почти шопотом кончает Адамович.

Я так потрясена, что не могу даже спросить: — чьи эти стихи? Я молчу. Но и Георгий Иванов тоже молчит, и только дав молчанию продлиться, а стенам и потолку вновь занять свои места, говорит:

— Как ты чудно читаешь, Жорж! Это мое любимое стихотворение Тютчева. Но так, как ты, его никто не читает.

А я все еще не могу ничего сказать и только смотрю на побледневшее, вдохновенное лицо Адамовича. Это была одна из моих самых потрясающих, как мы тогда говорили, самых незабываемых встреч с поэзией.

Жизнь на Почтамтской мне казалась особенной, необыкновенной не только потому, что это были медовые месяцы моего брака с Георгием Ивановым. Она была очаровательна сама по себе, очаровательна благодаря обоим Жоржам — Георгию Иванову и Георгию Адамовичу.

Оба они очаровывали меня. Я даже не знаю, который из них сильнее. Очаровывали всем. Но больше всего своей манерой говорить. При Гумилеве у нас в «Цехе» полагалось «го-

ворить с придаточными предложениями», исчерпывать тему до конца и формулировать свои мысли с акмеистической точностью. Но они говорили не только без «придаточных предложений», но даже без главных предложений одними отрывками, лоскутками фраз, собственными или ими придуманными словами — как бы на собственном языке. И это восхищало меня. Слушая их, мне часто казалось, что я присутствую при каких-то таинственных переговорах, что они владеют какими-то эзотерическими знаниями.

Они между собой никого почти никогда не называли по имени или фамилии. У всех были прозвища и клички — или, как мне тогда казалось, «тайные имена». Так, Ахматову они называли Амхой, Гумилева Великим Мугом или просто Мугом, и я не могла понять, почему и откуда они знают эти «тайные имена», и только уже в Париже Георгий Иванов открыл мне, что это просто наоборот читающиеся фамилии — Ахматова — А вот Амха, Гумилев — Велимуг — никакой тайны и магии. Но тогда все казалось мне полным чудес. Они казались мне воплощением поэзии. Такие легкие, легкомысленные и вместе с тем глубокие, с бездонными сердцами и умами. Особенно Адамович, с его кризисами скуки и тоски, поражавшими меня. Мне казалось, что его тоска библейская тоска, та, что «тяжелее морского песка».

В ту зиму на Почтамтской я любила сидеть с ними на широком диване втроем в сумерках, “entre chien et loup”, как они изысканно называли переход от дня к вечеру, и слушать их. Уже в Париже Адамович прочел мне свое стихотворение:

Без отдыха дни и недели,
Недели и дни без труда.
На синее небо глядели,
Влюблялись — и то не всегда.
И только. Но брезжил над нами
Какой-то божественный свет,
Какое-то легкое пламя,
Которому имени нет.

И я вдруг увидела с невероятной отчетливостью огромный кабинет в наступающих зимних сумерках, широкий диван, и на нем нас троих — посередине меня, с бантом в волосах,

справа Адамовича, слева Георгия Иванова в его любимой позе с подогнутой ногой. И над нами, освещая нас, «какое-то легкое пламя, которому имени нет». Увидела глазами памяти то, что не умела разглядеть тогда, в ту мою последнюю, счастливую зиму в Петербурге.



В начале июля 22 года Георгий Иванов, добившись с большими трудностями и хитростями командировки для составления репертуара государственных театров на 23-й год, спешно покинул Петербург. Спешно оттого, что его командировка была на редкость «липовой» и в «верхах» могли понять это и отменить ее. Конечно, Георгий Иванов мог оптировать Литовское подданство — он родился в Ковенской губернии, в имении своего отца. Но стать, хотя бы по паспорту, литовцем казалось ему изменой России.

К театральному делу Георгий Иванов никак не был причастен, ровно ничего в театре не понимал и не любил его. Для своего удовольствия он в театр никогда не ходил, а бывал в нем только на представлениях пьес — Кузмина, Ал. Толстого, Ауслендера и других «людей нашего круга», хотя он и был в дружеских отношениях с целым рядом актеров и балетных танцоров с Мейерхольдом и Бобишей Романовым во главе. Но это уже по линии «Бродячей собаки» и «Привала комедиантов». Действительно лучшего «театрального спеца» найти было трудно. Но Луначарский тогда еще не лишился своей власти и выдавал самые фантастические командировки.

Мои бумаги еще не были готовы — я оптировала с большими сложностями латвийское гражданство и покинула Петербург с эшелоном две недели после того, как Георгий Иванов уплыл на торговом корабле в Германию.

На эти две недели я перебралась к себе домой на Бассейную 60. С Адамовичем я продолжала видеться ежедневно. Мы так привыкли друг к другу за этот год, что это нам казалось совершенно необходимым. Или я приходила на Почтамтскую или он ждал меня в «Доме Искусств» и мы вместе шли в Летний сад. Мы проводили вместе много времени, он провожал меня вечером до моего подъезда и прощаясь полунасмешливо цитировал себя:

— Еще, еще минуточку повремени, палач! — и уже серьезно продолжал: — Постоим тут еще минуту. Ведь скоро вы уедете. Еще несколько дней, и вас не будет. То есть вы, конечно, будете где-то. Но для меня вы исчезнете. Мне трудно привыкнуть к этой мысли. Очень трудно.

Я была переполнена самыми радужными надеждами и нетерпеливо ждала часа отъезда.

— Но ведь вы скоро приедете в Берлин. И все будет еще лучше, гораздо лучше, чем здесь — убеждала я его. — Как часто мы мечтали о Париже, а теперь мы будем жить в Париже. Разве это не чудесно?

— Да, — соглашался он. — Да, конечно. Но когда еще это случится. И я совсем не уверен, что это будет чудесно. И что мы правильно поступаем. Во всяком случае здесь теперь кончается часть нашей жизни. Навсегда, безвозвратно кончается. И это очень грустно. «Это молодость наша уходит — это наша любовь умирает. — Улыбаясь прекрасному миру — и не веря уже ничему». — Как правильно сказал Жорж. Он ведь, уезжая, чувствовал то же, что и я. И тоже грустил. А вот вы полны иллюзий. Дай Бог, чтобы вы не разочаровались. И чтобы мы все трое скоро вернулись домой.



Незадолго до его поездки в Ниццу я спросила его, обедая с ним в ресторане — все там-же на Елисейских Полях.

— А помните, как вы мне однажды, когда мы гуляли в Летнем саду рассказывали, что вы всю ночь не могли решить вопроса — согласились ли бы вы умереть, чтобы весь мир был счастлив. За счастье всех людей. Умереть безвестно, анонимно. Так, чтобы никто и не знал, отчего вы умерли. И никогда никто не узнал бы.

Он кивает.

— Помню. Отлично помню. Ведь эта мысль занимала меня очень долго. Но я так и не мог решить, способен ли я или нет. А впрочем, и сейчас не знаю. Думаю, что нет. Хотя, казалось бы, тем ничтожным количеством дней и ночей, которые мне еще осталось жить, пожертвовать не так уже трудно. Цена очень невысока. Жить-то мне осталось...

Но я перебиваю его:

— Никто не знает, сколько кому осталось жить. Вот Зайцеву уже девяносто лет, а он совсем бодр. А мы с вами и до ста с хвостиком... На меньшее я не согласна.

Он насмешливо улыбается: — Конечно. — Знать никому не дано / То, что судьбой суждено, / — как вы очень глубоко-мысленно заявили в вашем стихотворении о Елизавете Австрийской. К тому же, ведь я вам уже говорил не раз, — я вообще в свою смерть не верю. По недомыслию не верю. Не могу себе представить. Не верю, в сущности, все так же, как в девятнадцать лет на берегах Невы. Я износился главным образом снаружи, а не внутри. Зато снаружи... — Он вдруг начинает смеяться. — Я каждое утро, когда бреюсь перед зеркалом, повторяю, глядя на себя, — я ведь после сна весь в мешках и морщинах, одутловатый, с кругами под глазами и желтый: «Как вы молоды! Может ли быть, чтобы старость играла в прятки?» — Действительно! Как я молод! До чего вы мне польстили в вашем стихотворении!

Но я спорю, я не соглашаюсь, и это ему явно приятно.

— А седых волос у меня, правда, и сейчас мало. Хотя волос и вообще мало, и все меньше. — Он проводит рукой по гладко причесанной голове привычным жестом. — Я ведь стал почти лысый. Вы заметили?

Но я уверяю его: — Нет, не заметила. — И это ему тоже приятно.

— А помните, как я вам подарил Тютчева? — спрашивает он неожиданно.

Половина наших разговоров, как всегда, полны всевозможными «а помните?»

— Ну, конечно, помню. — И я подробно восстанавливаю перед ним тот сентябрьский вечер 21 года.

Он слушает, слегка зажмурившись.

— Да, да, так все и было. Но как будто не со мной. Как будто на другой планете. И вместе с тем — безусловно со мной и даже совсем недавно, на днях. Ну, как мой американский полет.

О своем американском полете он рассказывает сравнительно немного.

— Вы же сами знаете, как все там. Я старался поменьше утомляться. И вот видите, благополучно вернулся. А вы боялись. Я рад, что вас не послушался. Было бы жаль, если бы я

так и не увидел Америки. Все-таки это прекрасное воспоминание, на всю жизнь.

«На всю жизнь», а жить ему оставалось немного больше месяца. Ведь этот разговор происходил в нашу предпоследнюю встречу.

— А о Тютчеве я вспомнил оттого, — продолжает он деловито, — что ломаю себе голову, его ли это строчка «Я просиял бы и погас»? Или это Анненский? Не знаете?

Нет, я не знаю. Но мне тоже кажется, скорее Анненский.

— У меня нет Тютчева. А мне нужно для моих записок, — говорит он. Для «записок для себя и для вечности», как он шутливо называет их. Он не раз говорил мне, что много пишет в последнее время — «Так взгляд и нечто» — по его определению.

— У вас, кажется, есть Тютчев. Поищите если не лень. Я обещаю поискать.

И я, действительно, искала, но торфпливо и небрежно. И не нашла. Все же для очистки совести я через несколько дней послала свой томик Тютчева Адамовичу в Ниццу.

13 февраля 1972 года Адамович писал мне:

“Madame cherie,”

Он всегда называл меня «мадам», вот почему: когда мы все трое в 23 году поселились в Париже, меня очень огорчало и даже сердило, что в магазинах меня неизменно называли «мадемуазель». Я постоянно жаловалась ему на это. Это смешило его — «Радоваться надо, а не огорчаться. Значит, вы очень молодо выглядите. Ну ничего, чтобы утешить вас, я буду звать вас «мадам». И так до конца он всегда с тех пор и звал меня мадам.

...А за Тютчева тем более «верный дружбе глубокий поклон», что я, едва раскрыв его, напал на строчку: — «Я просиял бы и погас». — А я был уверен, что это Анненский! И вообще спасибо за Тютчева, так как я многое забыл и перечитываю иногда, как новое / то хочется поставить 5 с тремя плюсами, то тройку. Пушкин гораздо ровнее. / Ну, что еще? Ничего, в сущности, и, пожалуй, tant mieux...»

«Ничего в сущности» — кроме смерти, в которую он «не верил». И хотя он вряд ли сознавался в этом самому себе — боялся. Но об этом в другой раз. Ведь воспоминания мои об Адамовиче далеко не исчерпаны этими страницами.

Перечитывая письма Адамовича, я неожиданно нашла среди них на отдельном листке «Мадригал Ирине Одоевцевой». В свое время я почти не обратила на него внимания, но теперь он тронул меня настолько, что мне захотелось привести его здесь:

Ночами молодость мне помнится,
Не спится... Третий час.
И странно, в горестной бессоннице
Я думаю о Вас.

Хочу послать я розы Вам,
Все — радость. Гора нет.
Живете же в тумане розовом,
Как в 18 лет.

Г. А. Ницца, 1971

Розы он мне тогда действительно прислал из Ниццы. А вот его комментарии, сопровождавшие «Мадригал»: «Это, конечно, не Бог весть что, но от лучших чувств. И, правда, я ночью в Ницце думал о Вас, как все у Вас случилось в прошлом и настоящем. Если надо объяснять, то не надо объяснять. А тут и объяснять нечего».

И дальше в том же письме: «Если Вам правда, а не для приятного словца, нравится моя «Марина», то я очень рад. Мне все кажется, что только теперь, в самой старости, я мог бы писать настоящие стихи, но понимаю, что поздно и ничего не выйдет.

Ну, дорогая Madame, обнимаю Вас, шлю всякие пожелания и очень хотел бы знать, что все у Вас хорошо. Как Несчастливцев говорит Счастливице: «Ты да я, кто же еще?». Это во всех смыслах.

Ваш Г. А.»

Ирина Одоевцева

ПОСЛЕДНИЙ АДАМОВИЧ

*La vérité de l'homme c'est d'abord
ce qu'il cache.*

André Malraux

*И про отца родного своего
Мы, зная все, не знаем ничего.*

Евг. Евтушенко

Не знаю, как относился Адамович к Мальро. Не приходилось с ним о нем говорить. Но об Евтушенко говорили часто и много, потому что оба знали его хорошо и искренне его любили, хотя за последнее время, с тех пор как возобновились его заокеанские экскурсии, мой энтузиазм к нему (как к человеку) существенно охладел. Отношение Георгия Викторовича к Жене не изменилось.

Сначала я недоумевал, потом понял. Но стоило мне это немалого труда: для этого нужно было сделать еще один шаг для понимания самого Адамовича, той его глубины, которая обуславливала его отношения к людям, раскрывая одну из сторон его сложного внутреннего мира.

Здесь я хочу сделать одно предупреждение: не обладая, как некоторые, «фотографической памятью», я, по возможности, буду избегать цитат в кавычках, которые, даже переданные точно, зачастую совершенно искажают смысл сказанного. Важны ведь не только воспроизведенные слова, столь же важны и обстановка в какой они были сказаны, настроение говорившего, интонация голоса, сопровождавший их взгляд, тот, та или те, кому они говорились. И все это зачастую бывает важнее первого.

Помню, передал я Георгию Викторовичу слова Евтушенко о себе самом: — «Я знаю, что делаю подлости, но я не подлец». Он словно вздрогнул, задумался, сразу не ответил, но я понял, что дал ему «ключ» к Евтушенко, то, что он чувствовал, но сформулировать не мог.

Впоследствии он часто повторял мне эту евтушенковскую фразу. Ведь, в сущности, что она означала? Попросту то, что нельзя судить человека по одним его поступкам, не всегда поступки выражают настоящий, внутренний его облик, человек слаб, несовершенен, подвержен соблазнам и страстям и, что это, видимое и внешнее, не настоящий, а лишь кажущийся человек. Адамович и главным образом «последний» Адамович (Адамович последних лет) удостоился этого — не второго зрения (им он не обладал) — но зрения проницательного, которое ведь тоже дается очень немногим.

Теперь другое. Несмотря на мою близость к Георгию Викторовичу, на наши с ним, последние два года чуть ли ни ежедневные телефонные разговоры, я при его жизни так и не знал каким, по-настоящему, добрым человеком он был: его проницательностью я не обладал. Главное же, добрым не на словах, а на деле. Многие стороны его характера, точнее его внутреннего существа, мне ясно виделись, меня привлекали, даже импонировали мне: его внимательность, беззлобность, какое-то его «сущностное» отношение к людям и к жизни: он никогда не придавал значения мелочам, легко прощал в запальчивости сказанную резкость, старался вникнуть в сущность собеседника, в его внутренний, а не внешний облик. И вот, подметив все это, я все же просмотрел его замечательную черту — доброту.

Через несколько дней после его смерти, в Париж приезжал его ницкий приятель В. Ильинский, офранцузившийся русский, женатый на француженке, еще очень молодой человек. Его и его семью Адамович очень любил. Они всегда встречались в Ницце и Георгий Викторович любил играть с его детьми. Ильинский был буквально потрясен парижской мансардой Георгия Викторовича: двумя соединенными комнатками для прислуги, убожеством обстановки, вдобавок без центрального отопления. Ведь в Ницце Адамович так щедро помогал нуждающимся, кому-то посылал деньги, дарил игрушки детям: невозможно, чтобы в Париже он почти во всем себе отказывал!

То же самое рассказывали мне и одни его парижские друзья: та же помощь нуждающимся, те же подарки детям. Вот только при жизни он накрепко наказывал никому об этом

не говорить. А я ни о чем этом не догадывался! Не к моей чести.

Но думаю искренне, что не всегда Адамович был таким. До 1948 года я его вообще не знал. Да и потом знакомился с ним как-то трудно и медленно, не получалось «контакта», случайные встречи и разговоры носили штампованный характер. Не мог (или не умел) рассмотреть я в нем человека, которого узнал лишь за несколько лет до его смерти. Со слов же лучше его знавших, у меня сложилось впечатление, что он был замкнутым (в какой-то мере он таким и остался), немного насмешливым, знавшим себе цену и умевшим «держаться расстояния», человеком. Начал же он меняться лишь за самое последнее время. И вот это-то для меня было — самое ценное в Георгии Викторовиче.

Есть люди от природы добрые, не умеющие делать зла. Они такими родились, такими живут. Но радость на небесах не от них, а от раскаявшихся грешников. В древних мистериях «новым человеком» назывался такой, который кроме других испытаний сумел отказаться от своих прежних привычек, симпатий и антипатий. Такой человек становился «рожденным от Духа», победив в себе прежнего — «природного человека».

Мне кажется, что последние годы Георгия Викторовича были как бы «годами его посвящения», путем — от «природного Адамовича» к «Адамовичу новому», к тому необычайному человеку, которого мне выпали честь и счастье знать.

Как же это произошло? Здесь я могу высказать только догадки: я не был столь интимен с Георгием Викторовичем, чтобы разговаривать с ним на подобные темы, да на них и не разговаривают, разве что с духовником. Таким образом то, что происходило с Георгием Викторовичем — метаморфозу его внутреннего существа — кстати, тщательно скрывааемую, я мог наблюдать только извне, ловить в интонациях голоса, в словно невзначай брошенных фразах. Вот здесь-то и помогли наши почти ежедневные телефонные разговоры последних двух лет.

Точно не помню, но кажется у Бирюкова я прочел, что кто-то спросил у Толстого — как он может писать так, как он пишет? (за точность формулировки не ручаюсь), Толстой ответил — «Потому, что я все время думаю о смерти»: знаменитое толстовское «е.б.ж.». Адамович тоже все время (послед-

нее, во всяком случае) думал о смерти. Говорить о ней не любил, но думать не переставал. И все ею проверял. Мне кажется, что в этом, в постоянных мыслях о смерти — не в страхе смерти, а именно в мыслях о смерти — и в сопоставлении с нею всего остального, если не разгадка «последнего Адамовича», то во всяком случае, его освещающий свет. Смерть не есть только конец человека (для материалиста) и не только переход в иной мир (для религиозно верующего), смерть, прежде всего, высшая реальность, грань, смыкающая два мира и две реальности по-сю-и-по-ту-сторонние. Как-то, говоря о жизни, Георгий Викторович сказал (цитирую по памяти) — «Да, для жизни важно лишь то, что важно для смерти».

Что это значит? Смысл разговора был таков: — Жить осталось мало, смерть может прийти в любой момент (он знал, что сердце очень не в порядке, об этом его предупредили врачи), значит надо стараться ограждать себя от всего лишнего, поверхностного, случайного и делать то, что действительно важно, думать — главное думать — о самом важном, об итоге и об этом приближающемся переходе.

С такими мыслями жил последние свои годы Адамович. Но это вовсе не значит, что он стал угрюмым, нелюдимым, способным разговаривать лишь о «самом важном», о «проклятых вопросах» и «последних истинах». Тот, кто его знал, кто встречался с ним за месяцы и даже за недели до его кончины, знает, что это совсем не так. Именно на эти темы он говорить не любил. Не любил из-за внутренней застенчивости, из-за того, что французы называют *rideur* и, думаю, еще и из-за того, что сомневался — найдет ли для них, для этих тем понимающего собеседника.

В каждом из нас есть какая-то психологическая баррикада, заслон, которыми мы охраняем наше внутреннее существо, наше «святая святых», от посторонних взглядов, от внешних касаний. В каждом из нас живет эта наша внутренняя самозащита: опасение быть непонятым. Отсюда почти непреодолимый императив — скрывать от других наши глубочайшие и часто прекрасные стороны нашего внутреннего существа. К тому же, если «мысль изреченная есть ложь», т.е. не все мысли можно облечь в адекватные им слова, то как же быть

с тем, что человек только чувствует, но не находит для этого подходящих слов?

Я уже говорил, что в разговорах со мной лишь редко и то полунамеками, случайно оброненным замечанием, цитатой из того или иного писателя Георгий Викторович открывал это свое сокровенное, себя настоящего. Во всем же остальном он был прежним Адамовичем — остроумным и блестящим собеседником, любившим пошутить и посмеяться. — «Бросим мировые вопросы. Лучше расскажите что-нибудь «за жизнь». И вот так, за разговорами «за жизнь», у одних наших общих парижских друзей, накануне его отъезда в Ниццу, т.е. за две недели до смерти, кто-то вспомнил смерть С. К. Маковского — «Какая прекрасная смерть: заснул и не проснулся!» Георгий Викторович вздрогнул и, словно сам с собой, — «Не знаю... Я бы хотел подготовиться два-три дня...» Дальнейших его слов не помню, не помню даже были ли они. Знаю только, что замечание всех нас удивило, хотя разговор на эту тему не завязался.

Мне кажется, что это желание «подготовиться... два-три дня» как раз и показывает мало кому известного Адамовича. И показывает с некой религиозной стороны, если под религией понимать не то или иное официальное вероисповедание, но «связь» одного бытия с другим. Мне лично, из-за моего увлечения антропософией, из-за «дерзновенной мечты» все сделать, чтобы не «потерять себя» в момент смерти и сознательно перейти в иной мир, эти слова и это желание Георгия Викторовича более чем понятны. Вот только — откуда они у него?

Или еще: Георгий Викторович любил повторять, переделанную им по-своему, старинную поговорку (откуда она — право не знаю): «Женатый человек всю жизнь живет, как царь, а умирает, как собака. Холостяк же всю жизнь живет, как собака, но умирает, как царь». Почему? Потому что он в одиночестве. В высочайший, в предельный момент своего земного бытия, когда ему приоткрывается бытие иное, когда он уже не принадлежит ни народу, ни жене, ни детям — никому больше на земле, но Духовному миру, человек должен встретить этот момент *один*, без посторонних — остающихся по сю сторону — без земных. Так я понимаю это. Но опять же — откуда такое у Адамовича?

На этот вопрос почти невозможно ответить без риска навязать Георгию Викторовичу то, что чувствую я сам. Если все же я пытаюсь это сделать, то лишь потому, что «иной Адамович» в гораздо большей мере Адамович, каким я его *чувствовал* и продолжаю *чувствовать*, чем тот, каким я его знал. Потому что есть познание человека знанием и есть «чувствование» человека — восприятие его чувством. И делаю я это тем смелее (не уверенней, а именно — смелее), что сам Георгий Викторович больше воспринимал людей чувством, чем познанием. На эту тему у нас было несколько бесед: — «Я чувствую внутреннюю порядочность Евтушенко, его внутреннее благородство и доброту, тогда, как «Х» (не хочу называть фамилию), хоть и показался мне симпатичным, даже умным, но я не почувствовал в нем настоящей глубины».

Да не истолкует читатель это «чувствование», как некое легкомыслие, нечто вроде фантазерства капризных натур. Вот уж от чего «последний Адамович» был бесконечно далек. Желание не ошибиться в людях, как можно лучше в них разобраться было одной из его главных черт.

Итак — «два-три дня подготовиться к смерти». Как это понять у Адамовича, как будто мало имевшего отношения к религии, скептика? Да, для очень многих Георгий Викторович казался неисправимым скептиком. Но эти многие или сами были скептиками (при чем скептиками, не на высшем, а на низшем уровне) или принадлежали к тем, для которых никаких сомнений и загадок не существовало, как будто всю свою жизнь они просидели в секретариате Господа Бога, и уже не говорили, а проповедывали. С такими людьми тоже — какие могут быть разговоры, кроме вопроса: «А откуда вы все это знаете?» Ведь в том-то и дело, что Адамович ничего не знал (и знал, что не знает), но многое, быть может даже слишком многое, чувствовал.

Если человек всю свою сознательную жизнь думает о смерти — «Легким голосом иного мира Смерть со мной все время говорит» — такой человек не может желать внезапной смерти, т.к. он чувствует (я умышленно говорю «чувствует»), что со смертью не все кончается, что-то остается, что-то «переходит».

Я не скажу, чтобы мы много говорили на эти темы, но касались их часто и как бы отрывочно, полужазами, двумя-

тремя словами. И вот какое у меня создалось впечатление: человек исключительного ума, внешне как будто бывшего для него главным мерилom, Георгий Викторович был вместе с тем и человеком необыкновенно глубокого «чувствования» (не нахожу другого слова), своего рода бёмовского «унгрунда», из которого всё исходило и которое всю его внутреннюю жизнь определяло и направляло. И это делало его настоящим религиозным человеком, но, опять же, не в смысле принадлежности к той или иной религии.

Это же заставляло его всё время помнить о смерти, прислушиваться к тому, что она ему «говорит», готовиться к ней и стараться не дать застигнуть себя врасплох. Судьба, увy, решила иначе. Но, быть может, иначе только для нас. Что знаем мы об уже вневременном измерении последнего мгновенья?

Но и здесь ни в каком случае не следует смешивать это его «религиозное отношение» с отношением к смерти православного или католика, или человека другой религии. В религиозности Георгия Викторовича не было ничего от преданий и традиций. Стоит прочесть хотя бы его «Комментарии», чтобы в этом убедиться. Его религиозность была результатом его собственных раздумий, медитаций, внутренних вопрошаний, рождавшихся из того, что я назвал его «унгрундом», зачастую не позволявшим ему понимать и принимать даже евангельские тексты.

Смерть — высшая и последняя шкала, измеряющая всё остальное, краеугольный камень, на котором всё остальное зиждется. Георгий Викторович жил с мыслью о смерти, не позволяя себе о ней забывать. Поэтому ему была чужда всякая мелочность, я просто не представляю себе, чтобы за последние годы его жизни что-нибудь могло его задеть, обидеть. Сколько раз он мне повторял — «Нет ничего смешнее обиженного человека». Даже самые значительные политические новости оставляли его равнодушным. (Скажу в скобках, что он был совершенно убежден, что мир летит в тартарары, к неизбежной планетарной катастрофе и поэтому даже не старался разобраться в происходящем: — «Да, да, знаю — Индия, Пакистан, новая напряженность на Среднем Востоке... Ну и?.. Вот расскажите, что-нибудь «за жизнь». Творящееся его просто пугало. Равнодушен он был и к космическим полетам,

и к высадкам на Луне: — «Для чего? Кому сё это нужно?»).

«За жизнь»!... Сколько раз я слышал это «за жизнь» во время наших разговоров! Несмотря на свой пессимизм, Георгий Викторович любил и очень любил «потрепаться», пошутить, не зло посплетничать. Любил же он это, как мне теперь кажется, по двум причинам: и потому, что действительно забавлялся различными мелочами (прекрасно зная им цену) и потому, что они отвлекали его от не всегда веселых мыслей.

Помню, как-то я его спросил — «А как вы представляете себе это «потом»?» Он отшутился — «Кто-то задал такой же вопрос Бергсону: с каким чувством он ожидает то, что будет после смерти? — «С любопытством», ответил он. Вот так и я: с любопытством». Конечно, слово «любопытство» вряд ли подходит. Нужно было бы что-то более веское. Но тогда нужно начинать и соответствующий разговор. Но не явится ли этот разговор переоценкой своих сил и повторением чужих истин? Вот этих-то чужих истин, особенно когда они касались глубочайших тайн бытия, не выносил Адамович. Он был слишком ими ранен, слишком ими мучился, чтобы допустить по отношению к ним малейшую фальшь. Уж пусть лучше шутка: — «с любопытством».

Из этого же «измерения» смертью, сопоставления всего с нею, вытекало и его отношение к людям. За последние годы (а речь здесь только о них), я не знаю человека с которым бы он поссорился, с кем был бы груб, о ком отозвался бы резко. Подсмеивался, подшучивал — это бывало, но не больше. Он слишком много передумал, достаточно переборол в себе «прежнего Адамовича», чтобы не понимать, что всякий человек, какой бы он ни был, достоин любви, а значит и жалости. Если же не хватает сил для любви, пусть только жалости. Не из высокомерия, конечно, но из глубочайшей жалости к самому себе. Но для этого прежде всего нужно видеть себя таким, каким ты есть. И это удастся очень мало кому. «Пора смириться, сэр», любил он повторять знаменитую блоковскую строку: пора смириться.

Все это делало Георгия Викторовича глубочайшим пессимистом. Как-то он мне сказал (опять по памяти) — «Оптимист даже не представляет себе, о чем идет речь». Не представляет или не хочет думать о том сколько в мире страданий, болезней, нищеты. Не думает, что чуть ли не два мил-

лиарда людей голодают, а сотни миллионов даже в наше время должны работать по пятнадцать часов в сутки, чтобы не умереть с голода. Не приходит ему в голову, что десятки миллионов детей никогда не были сыты, никогда не слышали ласкового слова и умирают прожив всего несколько лет. Миллионы других заставляют воевать и убивать друг друга, ради выгоды и тщеславия единиц, выдуманных лозунгов и ложных идеалов. Оптимисты попросту не хотят об этом думать, прозябая в своем эгоистическом уюте, за карточным столом или с биноклем на скачках. Забывают, что их тоже поджидает старость, болезни, смерть...

Георгий Викторович остро чувствовал неблагополучие и зло мира, в котором жил и частью которого был сам. Отсюда и его пессимизм. Этим чувством обуславливались и его литературные суждения и вкусы. Кстати, за последнее время он с настойчивостью повторял, что он — не литературный критик, а эссеист. Я совершенно не собираюсь касаться того, как в свое время, раньше, относился Адамович к тому или иному писателю, к тому или иному литературному произведению. Я достаточно знаю в чем его обвиняли его литературные враги, за что его ценили единомышленники и друзья. Наверно и те, и другие в чем-то были правы. Но я не критик и не литературовед, к тому же и прежнего Адамовича я слишком мало знал.

Мы довольно часто говорили с ним о литературе — о прозе и о поэзии — и его высказывания были в полном согласии с его внутренним миром. От писателя Адамович прежде всего требовал правды и ответственности за то, что он пишет. Отсюда и его любовь к Толстому, настоящее преклонение перед ним. Ведь и Толстой все поверял смертью. От него-то Георгий Викторович и научился этой высшей «цензуре» в жизни и литературе. Затем — простота, суровая простота. То, что дается труднее всего. Он не выносил «педалей», пафоса, пышности. Не «Песня председателя» из «Пира во время чумы», представлялась ему, как, напр., Ходасевичу, вершиной пушкинского творчества, а ответ Татьяны — «Онегин, я тогда моложе...» Или — «И с отвращением читая жизнь свою...» Или, но это уже у Блока, — «Ночь, улица, фонарь, аптека...»

Всем известно его отношение к Достоевскому, «писателю для юношества», «в сущности эпизоду в русской и даже в

мировой литературе». Но может быть здесь и сам Георгий Викторович слишком «нажал педали»? Может быть. Знаю только, что до самых своих последних дней он не изменил своего мнения, да и не мог изменить. Слишком много было у автора «Братьев Карамазовых» страсти, кипения, неистовства, не всегда просветленной мучительности... Помню, как-то я ему сказал — «С Достоевским живут, с Толстым умирают». Он задумался. — «Да, да... Наверно так... Главное, уметь умереть».

Наверно, многие знавшие Георгия Адамовича лично или только по его книгам и статьям, упрекнул меня в «лакировке» или хуже — в идеализации человека-Адамовича, в попытке представить его чуть ли ни святым, не имевшим ни слабостей, ни недостатков. Не защищаюсь. В каком-то смысле таковой и была моя задача: обрисовать «внутреннего человека», показать не то, что было в нем отрицательного, но постараться раскрыть его положительные стороны — «Божий замысел о нем», как сказал бы Бердяев. «Божий замысел» — это человеческая совесть, которая живет в каждом из нас, вот только один человек старается ее заглушить, а другой не перестает к ней прислушиваться. Георгий Викторович принадлежал к вторым.

Затем, и это мне хочется особенно подчеркнуть, — слишком часто воспоминания и мемуары пишутся чуть ли не с единственной целью свести счеты с людьми, непременно найти отрицательные стороны у человека, чтобы лучше скрыть свои собственные. Отсюда, отчасти, и нагромождение цитат, как правило верных, но зачастую совершенно неверно характеризующих человека. «Воспоминателю» почти всегда хочется быть судьей, судить и решать, хотя непонятно — кто ему и дал на это право?

От всего этого я, как мог, постарался отмежеваться. Пусть эти страницы будут неполными. Пусть «такого» Адамовича мало кто знал. Но пусть тогда узнают и о *таком* Георгии Викторовиче Адамовиче.

К. Померанцев

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ В ЖИЗНИ

Когда я перебирала ряд маленьких сценок из жизни Б. Н. и задумалась над тем общим, что их объединяет, во мне вдруг неожиданно вспыхнуло — гуманизм. Сперва это большое слово очень удивило, почти смутило меня, и я хотела тут же отбросить его, как случайно набежавшую мысль. Но потом, взглядевшись и дав себе более ясный отчет о том, что невольно бросалось в глаза и останавливало мое внимание в ряде проявлений Б. Н., я увидела, что это слово прозвучало во мне не случайно. В нем как бы оформилось для сознания то, что давно уже жило во мне бессознательно и действовало как отбор впечатлений, отлагавшихся на протяжении лет. При жизни Б. Н. этому, конечно, не было места в душе. Но теперь, когда его нет, и память выносит пережитое и невольно сопоставляет все мелочи, подводя итог и делая выводы, я вижу то, что не видела прежде, что отступало перед богатством его живого воздействия. Вижу шире и больше — и глубже. Мне открывается новый и неожиданный смысл многих его слов, поступков и действий, пусть самых маленьких и как будто случайных.

Я начинаю понимать, например, что мое внимание привлекала не только простота в обращении Б. Н. со всеми, и не только его особая деликатность и мягкость по отношению к так называемым простым людям, и даже не его человечность, а какой-то неуловимый оттенок, сквозивший во всем этом. И теперь в воспоминании, за всем этим встает для меня живой и единый, прежде несознаваемый фон, или звук, — или веяние, — все равно как это назвать.

Мне ясно теперь, что меня поражало в Б. Н. не *ЧТО* его действий, а *КАК*. В этом *КАК* и слышу я явственно непроизвольное веянье той эпохи, которая утверждала достоинство человека.

Этот отрывок из «Воспоминаний об Андрее Белом», написанных его женой Клавдией Николаевной Бугаевой, мы получили из Совсоюза. В рукописи он называется «Борис Николаевич в жизни». РЕД.

Это и был тот высокий фон, который сквозил за всеми движениями души Б. Н., обращенной к людям. В каждом он прежде всего предполагал и уважал — *ЧЕЛОВЕКА*.

В этом не было ничего преднамеренного или надуманного. Это было так же естественно, как все в Б. Н. В «уважении к человеку», его природная мягкость сочеталась с основами его мировоззрения, где гуманизм, в самом широком значении, был решающей доминантой.

Начать с того, что Б. Н. ко всем решительно обращался на «вы» и нисколько не считался с тем, что порой это «вы» звучит очень странно и, быть может, даже не нужно. Но в этом отношении ему было решительно все равно, кто перед ним: деревенская женщина, принесшая молоко, сезонник, коловший дрова, мальчик-разносчик с корзиною «выборгских хлебов», сторож, извозчик, наконец — даже нищий. Я ни разу не слышала, чтобы Б. Н. сказал «ты» незнакомому — как он говорил — человеку. Тем более не было у него никаких «братец», «любезный» и других выражений в том же снисходительно небрежном тоне.

Напротив — он становился каким-то особенно мягко вежливым, когда имел дело с теми, «чье человеческое достоинство не ограждено никакими внешними знаками» и где общественное положение дает одним видимое преимущество перед другими. — «Я еще должен посмотреть, кто заслуживает большего уважения: *ЭТОТ* профессор, или *ЭТОТ* извозчик» — говорил он убежденно, иногда почти с вызовом. Он старался быть «бережным» к людям.

Конечно, при его темпераменте, при постоянной занятости своими мыслями, которые отвлекали его и делали произвольно рассеянным, при переполнявшем его и требовавшем себе исхода душевном богатстве, это далеко не всегда удавалось.

С другой стороны, он порой пересаливал в своем обращении, предполагавшем ту степень сознательности, которой тут не могло быть. Но часто ему было не до того, чтобы различать и вдумываться. Он знал об этом и поэтому раз и навсегда усвоил себе такую манеру, при которой было бы возможно меньше шансов ушибить или обидеть другого. И он ко всем подходил одинаково. В этом сказывался еще его глубокий непосредственный демократизм. Для него, действитель-

но, самое главное был ЧЕЛОВЕК, независимо от всех условностей и форм нашей жизни.

Помню, как в клинике, где Б. Н. провел свой последний месяц, он глубоко поразил приглашенного к нему парикмахера. В это время он был уже настолько слаб, что сам не мог бриться, а отставшие волосы сильно его беспокоили, и он с нетерпением ожидал «избавителя». Когда тот вошел и, поклонившись издали, хотел раскрывать свой чемоданчик, Б. Н. вдруг с ласковой улыбкой протянул ему руку и едва слышно сказал: — «Здравствуйте... спасибо сердечное... что пришли...» (он с трудом говорил). Лицо парикмахера, молодого еще человека, покраснело и дрогнуло. Он почти растерялся. Эти слова, улыбка, жест руки, исхудавшей и слабой, едва отделившейся от одеяла, взгляд синих внимательных глаз, серьезно и прямо к нему обращенных, — все это было так неожиданно, так непривычно.

Когда процедура бриться окончилась, и молодой человек вышел, порывисто и как-то бурно пожав снова поднявшуюся к нему руку, Б. Н. взглянул на меня и, как бы извиняясь, — врачи запретили ему все лишние движения, — тихо, но твердо сказал: «Нельзя... Ведь — человек...»

Невольно в душе прошла сценка из «Масок»: видный политический деятель, «князь» приезжает в лечебницу навестить больного профессора Коробкина, открытием которого он заинтересовался. При входе он «спотыкается», как об стул, о стоящую тут же сестру милосердия, «снисходительно» приветствует ее «самопроизвольно зажившею кистью руки», «головой, улыбкой, склонением корпуса в это же время» — с преувеличенной почтительностью устремляется к профессору. Для «князя»: «стулоподобные люди, как-то: фельдшерицы, — вполне не предмет демонстрации: они — претык: ...Хладно потыкавши пальцем претык, — князь с порывом: к профессору».

Как-то осенью в Кучино пришел к нам маляр замазывать окна. Мы с Б. Н. как раз собирались гулять. Хозяйка ввела в наши комнаты тихого, очень бедно одетого человека. Он тут же завозился у подоконника со своей замазкой. Я быстро оделась и вышла, а Б. Н. задержался, разыскивая по обыкновению затерявшуюся шапку, перчатки, кашне. Через несколько минут он появился, и мы отправились. Прогулка длилась

часа два. О маляре как-то не было речи. Когда вернулись домой, он, уже окончив работу, ушел. Хозяйка остановила меня в кухне и спросила таинственным шопотом: — «О чем это *ОН* говорил с мужиком? Как вы ушли, мужик-то ведь плакал. Сам мажет, а слезы-то: во... в кулак. И приговаривает: Ну и человек... Это вот человек... Я его: Чего ты?... А он замолчал... Головой только крутит...»

Не передавая слов хозяйки, я спросила Б. Н., о чем у него был разговор с маляром. — «Да ни о чем. Я поздоровался. Предложил папирос (в это время с табаком было трудно) и спросил, где он работает... Больше, кажется, ничего... А зачем тебе это?» И когда я рассказала, он сперва удивился. Потом задумался и тихо, почти с болью сказал: «Как же мы слепы, рассеянны, замкнуты глухо в себе и небрежно небрежны».

В «Масках» Б. Н. рассказывает, как Никанор, брат Коробкина, приласкал ненавидимого матерью полуторогодовалого «шиша» — Владиславика. «Угрюмый, заброшенный «шишонок» свой носик задрав, кулачечком тряся доверчиво под животом Никанора: — и зверь любит ласку». «И зверь любит ласку» — в эти слова Б. Н. вложил очень многое. Он был глубоко убежден, что при нормальных условиях не только ласка, но простая приветливость имеет большое значение для совместной жизни людей и представляет собой уже мощный социальный рычаг, а не одно выявление личного прекраснотушения, не заслуживающего особого внимания.

Но он был очень вспыльчив и мог взорваться в любую минуту. Особенно же не выносил он несправедливости. И тогда вступался, несмотря ни на что.

Делаю выписку из воспоминаний Г.

«Помню: ночь в Коктебеле. У Макса на вышке чтение стихов. Поэт Шенгели читает стихотворение, незаслуженно оскорбляющее Горького. Кончил. Все молчат. Молчит и Макс — все принимающий. Вздвигается Б. Н.: «Макс, я уйду... У меня лампа наверное коптит...» — «Что ты, Боря, она и не горит вовсе». — «Ну, я уйду, все равно... Я не могу здесь оставаться. Я не позволю оскорблять русских писателей...» — «Ну, Боря...» — «Нет, я не могу... Это нельзя...»

Я не присутствовала при чтении и сидела у себя в комнате, когда бурей влетел Б. Н., за ним Мария Степановна, за ней, кажется, Шкапская и кто-то еще.

Г. продолжает: «Б. Н. всегда выражал свое негодование прямо, но всегда старался не говорить лишних слов, обидных тому, кто их заслуживал. Всегда протестовал горячо и в настоящем смысле — по существу. И я знала: если Б. Н. сердится, значит кого-то или что-то важное принизили, незаслуженно оскорбили. И если внешнего ответа сразу не имела, не понимала, в чем суть именно, то ждала — и ответ приходил. Со временем всегда понимала подлинную причину его протеста».

Другой подобный же случай произошел опять в Коктебеле, но через девять лет, в 1933 году. Мы жили тогда в доме отдыха Ленинградского Литфонда.

Как-то вывесили стенгазету, где в очень резкой форме задели администрацию и некоторых из отдыхающих. Газета вызвала общее неудовольствие. Читали, качали головой, ахали. Но говорить не хотели: еще попадешь в «историю». Статья была неприятная.

Б. Н. прочел ее, когда мы возвращались к себе после завтрака, и тут же взорвался. Случайно никого кругом не было. Весь день я уговаривала его не вмешиваться. Я очень боялась за него, так как знала, чем кончаются подобные вспышки. Просила его беречь себя и подумать о своем здоровье. Он мрачно молчал. За обедом едва прикоснулся к еде и быстро ушел. Я видела, что его не удержишь. И все-таки умоляла: «Обещай, что не будешь... Обещай...» Это было незадолго до 15 июля, когда с ним случился удар, и я пугалась его день ото дня растущей нервности и учащавшейся головной боли. — «Да, да» — отвечал он рассеянно. Но я видела, что он думает о своем и поступит по своему потому, что иначе не может.

За ужином, когда все собрались, он громко выразил свое возмущение по поводу «недостойной статьи». Сперва соседи старались замять, перевести в шутку. Тогда он стал возвышать голос. И кончил громовыми раскатами, которых укрыть уже было нельзя. Около собралась кучка, ему жали руки, сочувствовали. Кто-то хотел успокоить. «Что вы волнуетесь, ведь вас не тронули!».

В ответ грянула просто гроза: — «Вот именно потому, что меня не задели, я и могу говорить. И **ДОЛЖЕН** говорить. А вы этого не понимаете? Обидели людей, которые для вас

трудятся, обидели Н. Н., которую мы все знаем... Но меня не задели. И я благополучно молчу... Так, что ли?» — И долго еще негодовал. Вернулся домой измученный, с головной болью, но удовлетворенный. Дело было сделано. Второго номера стенгазеты не появилось.

Но с такою же силой он мог вспыхнуть и из-за пустяков, когда сталкивался с тем, что называл бесцеремонностью, праздным любопытством или навязчивыми приставаниями. Тут он мог яростно раскричаться на незнакомую даму, если она «бесцеремонно согнала» его с любимого места на пляже. Мог стремительно выгнать от себя самоуверенного молодого поэта. С раздражением отмахнуться от приставаний неугомонной поклонницы.

Привожу запись Н. В. Б.: — «20-е годы. Политехнический Музей. Лекция Андрея Белого об Александре Блоке. Движимый мальчишеским любопытством я проник «за кулисы» задолго до начала лекции. Сквозь занавес сюда смутно доносятся голоса слушателей, заполняющих постепенно огромную аудиторию. Андрей Белый возбужденно прохаживается по коридору, готовясь к выступлению. То небрежно и рассеянн, то с преувеличенно радостной улыбкой он здоровается со знакомыми, тотчас же уходит от них, старается уединиться, шепчет что-то про себя, жестикулирует, не замечая окружающих, временами останавливается, напоминает что-то, снова принимается ходить. Мимо него снуют устроители вечера. Раздаются звонки, предвещающие скорое начало лекции.

Поглощенный своими мыслями А. Белый садится на стул у стены, близко к выходу на сцену. Тотчас же рядом с ним усаживается пышная женщина с яркими губами. Это — жена поэта Р. Сначала она силится молча обратить на себя внимание Белого. Она смотрит на него восторженно, пьяно, влюбленно... Он не видит, или, может быть, старается не видеть ее. Тогда она неожиданно обращается к нему почти с мольбой: — «Борис Николаевич, позвольте мне только посмотреть в ваши луннолепестковые глаза...» Лицо Белого искажается вдруг страдальческой гримасой. «Ах, оставьте меня, — отстраняясь, громко и раздраженно говорит он ей, — оставьте меня, дайте мне подготовиться, уйдите от меня!». Кажется он сказал: «Уйдите от меня к чорту...» — во всяком случае именно это слышалось в тоне его голоса. На лице его неподдельная ярость

на пошлости поклонницы. Она обижена и смущена. Последние звонки... Белого зовут на сцену. Не обращая больше никакого внимания на Р., он устремляется к выходу на сцену».

Безжалостно, не думая о последствиях, реагировал Б. Н. на то, что он называл несправедливым, бесцеремонным и праздным. И совсем по другому относился он к простым, неприхотливым людям, особенно же к тем, кто работает — трудится, как он говорил. Он уважал и ценил ТРУД в любой форме и области. И даже чем скромнее была область труда, — тем «бережней» он подходил к ЧЕЛОВЕКУ, его исполнявшему. В этом смысле он не делал различия между женщиной рассыльной, принесшей ему из издательства корректурные гранки, и знаменитым врачом, приглашенным к нему во время болезни.

Зиму 1931 года мы жили в Детском Селе, а по продовольственным карточкам получали для нас в Ленинграде. Обычно продукты нам привозил П., который регулярно бывал в Детском Селе для работы над Блоком с Р. И., иногда жена П., изредка — Спасские. На этот раз все они были заняты, и с мешком появилась домашняя работница П., молодая девушка Лида.

Б. Н. встретил ее, как обычно встречал он людей, которые оказывали ему какую-нибудь жизненную услугу. Приветливо улыбаясь он пожал Лиде руку, пригласил сесть, отдохнуть хорошенько, «выпить чайку». Благодарил, что она «утруждает себя» и извинялся, что сам не приехал, занятый спешной работой (сидел в это время над Гоголем, и Лида застала нас как раз за диктовкой). Стал показывать свои рукописи и объяснять, что он пишет, сколько ему еще нужно прочесть, о чем написать.

Нам говорили, что это посещение произвело неизгладимое впечатление на Лиду. Ее мечтой сделалось жить у нас и помогать по хозяйству. Когда мы уехали в Москву, она очень жалела, что не будет видеть Б. Н., и просила передать: «Если им будет нужна домработница, пусть только напишут. Я непременно приеду».

О Б. Н. она отзывалась: — «При нем чувствуешь себя лучше. При нем хочется быть лучше. Он какой-то особенный человек. Хорошо бы пожить с ними. От него можно многому научиться». Лида была независимая, очень неглупая и по

своему тонкая девушка. Работу свою она считала временной и стремилась учиться. Когда Б. Н. непременно хотел чем-нибудь отблагодарить ее за услуги и спрашивал через П., что бы она хотела, она сперва решительно и даже резко отказывалась. И наконец соглашалась: — «Если уж хочет, пусть даст какую-нибудь свою книгу». Б. Н. подарил ей с надписью Никитинское издание «Петербурга».

В Кучине не только хозяева, но и соседи любили Б. Н., и когда привыкли, то обращались с ним запросто, как со своим. Он, в свою очередь, интересовался их жизнью, при встречах охотно беседовал и был в курсе всех дел.

Главным докладчиком, так сказать «премьер-министром», была наша хозяйка, женщина с фантазией и пылким воображением. На протяжении шести кучинских лет она была для Б. Н. своего рода нянюшкой Ариной Родионовной, и очень развлекала его своими яркими рассказами. От нее-то и узнавал Б. Н. все последние новости, которыми «переполненная» Е. Т. не могла не поделиться, внося самовар или подавая обед. Отойдя к двери, она сообщала взволнованно: «Левандовский нынче надстройку сделал шикарную (любимый эпитет Е. Т., выражавший предельный восторг), а сад весь засадил кустами смородины. И зачем ему эта смородина?» Или: «Косая Дарьюшка добыла-таки себе печку железную, а то мерзла старуха прошлую зиму, как в проруби». — «У Лазаревых этим летом цветник будет не то, что в прошлом году: снег чуть сошел, а уж копают. Навозу понавезли, песку понасыпали: мешают с землей. Продавать, видно, будут — цветы-то». «А Шилкин опять в Турцию укатил за хлопком. То-то Любви Васильевне шелковых чулков понавезет», — добавлялось с восторженным и добродушно завистливым вздохом, хотя шелковые чулки были ей так же нужны, как и Б. Н. Эта Любовь Васильевна, молодая уже маленькая женщина, с умильно пронирыливым видом и тихим голосом, временами появлялась у Е. Т. по несколько раз в день и кружила ей голову баснословными экспромтами о «турецких шелках», которыми заваливал ее муж. Рассказ о нарядах Л. В. и о том, какой она живет барыней, длился годами. Б. Н., смеясь, называл ее «Стирфорсом» Елизаветы Трофимовны. Он уверял, что у каждого человека есть и непременно должен быть свой «Стирфорс». Если же видеть,

каков здесь был «Давид Копперфильд», то картина получалась яркая.

Впрочем, при широкой натуре Е. Т., у нее был еще один «Стирфорс», как Б. Н. говорил — «по части съедобной» — «Елизаветушка», ее дальняя родственница. О гомерических аппетитах Елизаветушки рассказывалось с таким же упоением, как о шелках Шилкиной, но без зависти, скорее в тонах почтительного удивления и ужаса: «И куда это она столько ест... В момент батон белый глотает...»

Перед рабочим столом Б. Н. было окно, выходившее на калитку. Иногда он влетал с пером в руке в комнату и шептал, задыхаясь от смеха: «Елизаветушка. Стирфорс съедобный...» Я взглядывала в окно и видела, как мимо величественно плыла на крыльцо необъятных размеров фигура, обмахивающаяся от жары белым платочком.

Нужно сказать, что обоим «Стирфорсам» Б. Н. при встречах целовал руку. Те невероятно конфузились и рдели как розы, но принимали этот почтительный привет с каким-то невыразимым достоинством и, видимо, вырастали в своих собственных глазах.

В разговорах наших хозяев между собой большую роль играли еще какие-то таинственные «Епишка» и «Ксенофонтов». Их мы в глаза не видели. Но перегородка в домике не доходила до потолка, и мы постоянно слышали: «Епишка опять к поезду опоздал, так и остался дураком на платформе». Или: «Ксенофонтов-то нынче, видно, не служит... С поезда все уже прошли, а его не видать».

«Епишка» и «Ксенофонтов» возбуждали фантазию Б. Н. Он строил из них целые мифы, описывал их предполагаемую наружность, нравы, быт жизни. Вместе со «Стирфорсами», косой Дарьюшкой, вечно пьяным Никандрычем, Антонихой, Журавлихой и другими кучинскими обитателями, в переплетении со словарем Даля, они были вдохновителями многих «переулочных» сценок из романа «Москва».

Кроме Е. Т., чаще других Б. Н. разговаривал с Борей. Это был сын соседей, мальчик лет 12-14, которого Е. Т. приговорила носить нам воду. Когда Боря появлялся с ведрами, Б. Н. часто бывал на дворе: возился со снегом, разметал дорожки, сгребал в кучи осенние листья. Он неизменно приветливо окликал: «Здравствуйте, Боря». И тогда сам собой возни-

кал разговор: о школе, о товарищах, о событиях дня — у Поповых украли корову, на шоссе дача сгорела. «Мы с братом» провели радио. Бывало, Боря поставит ведра на землю и забыв о них, оживленно болтает, а Б. Н. стоит, опершись на лопату или грабли, и ласково смотрит.

Если Е. Т. начинала ворчать или жаловаться: «Опять воды не принес... Ветер у него в голове...», то Б. Н. заступался: «Нет, Боря славный: очень живой и смысленный. Что же, что он легкомысленный... В его годы это понятно». Боря помогал нам и «выручал» в разных случаях. Он исполнял иногда поручения Б. Н. в городе, при отъезде завязывал и нес чемоданы до станции. Делал все как-то легко, охотно и весело. Когда осенью мы возвращались с поездки на юг, то на столе Б. Н. ждал огромный букет: — «Это Борька принес, — поясняла Е. Т., — забежал, спрашивал, когда вы приедете».

В Москве, на Плющихе, председатель домкома рабочий Аксёнов, который хорошо знал всех обитателей нашей квартиры, скоро отметил Б. Н. и удивил кого-то из наших домашних, спросив неожиданно и очень серьезно: — «Что это он — от напряжения мысли такой?» — *КАКОЙ* — этого Аксёнов не пояснил, но при встрече как-то особенно внимательно раскланивался с Б. Н.

Вскоре случилось, что в контору за справками вместе с Б. Н. зашел один из наших друзей. Чтобы поднять в глазах Аксёнова престиж Б. Н., он начал говорить о значении Андрея Белого как писателя, которого знают не только у нас, но и за рубежом. Б. Н. рассказывал, что Аксёнов все это сдержанно выслушал, опустив глаза, а потом «твердо взглянул и ответил с достоинством: — Я тоже знаю его три года. В интонации прозвучало: «Нечего объяснять. Сам понимаю». — Мне стало неловко, — добавлял Б. Н. — и я поспешил увлечь Н. из конторы».

Летом 1932 года мы с Б. Н. гостили у моей сестры в Лебеядни. В одном домике с нами, в самом близком соседстве — смежные комнаты и общая кухня — жила семья молодых татар: Миша, рабочий с кирпичного завода, сестра его Рая, тоже работница, и ее муж Сергей, демобилизованный красноармеец. Сначала они очень дичились, «робели», по их выражению. Но скоро Б. Н. покори́л их сердца. Им нравилось, что

он такой простой и всегда «веселый». — «Не гордый и все смеется», — отзывались они одобрительно.

Как-то вечером он с увлечением рассказывал вышедшим посидеть на закате обитателям домика, — кроме татар — еще две старушки, хозяйка и дачница с сыном, — о Москве, о строительстве (интересовавшая его тогда тема), о своих путешествиях. Сестра спросила потом у татарки: — «Что же, Рая, понравилось тебе, что говорил Б. Н.?» — «Очень понравилось, хорошо говорил: точно песни поет». — «А что говорил, ты поняла?» — «Нет, ничего не поняла... Только хорошо говорил, еще бы послушала...» и Рая перешла на татарский язык, так как русских слов для выражения своих чувств ей не хватало.

Когда мы уехали, то долгое время воспоминания о Б. Н. были предметом разговоров всех. А в письмах сестры передавались приветы и приглашения снова приехать.

Б. Н. никогда не подделывался под слушателей или собеседников. Он говорил почти со всеми своим обычным языком, который менялся только от темы, характера затронутых вопросов и встречных реплик. Он был очень общителен, и самые оживленные разговоры возникали у него на каждом шагу. Своим конкретным вниманием, интересом и неподдельной искренностью он заставлял разговаривать даже молчаливых людей. Сам же он особенно любил расспрашивать всяких специалистов, профессионалов и мастеров своего дела. И после говорил с удовольствием: «Узнал много нового, такого, о чем только специалист может поведать. Вот: век живи, век учись». Познавательный момент всегда в нем присутствовал.

Выходило как-то само собой, что даже случайный разговор приобретал в конце концов определенное содержание. В таких случаях просто болтать Б. Н. не умел и вообще не любил пустословия.

Сколько разнообразных бесед завязывалось у него, например, на Девичьем Поле, где одно время мы постоянно гуляли. То присядет рядом возвращающийся домой рабочий-литейщик. И через две минуты уже Б. Н. с интересом погружается в тонкости литейного дела. То монтер объясняет детали различных проводок. То колхозник обстоятельно и неторопливо повествует о своих урожаях.

Еще больше в вагоне, при дальних поездках. Тут он ча-

сами мог слушать о производстве боржомских бутылок и задавать свои «углубляющие тему» вопросы. Или так же внимательно прослеживал все стадии процесса шлифовки зеркал, задачи преподавания химии в авиатехникуме. Или вдохновлялся яркими картинами рыбных промыслов на Севане, сообщениями о том, как нужно рыть артезианский колодец, и что значит — хорошо сшить и почистить ботинки. С чистильщиком сапог у нас на углу на Плющихе он был в оживленных отношениях, что, конечно, обязывало к покупке совершенно ненужных шурков, стелек, набоек. Узнал его имя, всю биографию, — кажется, бывший огнепоклонник из-под Баку, и проходя, неизменно раскланивался: «Здравствуйте, Ассур» (теперь уже имени точно не помню), на что тот отвечал с широчайшей улыбкой: «Здравствуй, здравствуй, давай сапоги чистить...» и призывно взмахивал щеткой.

Я не стала бы перечислять эти мелочи, если бы они не были связаны с тем, что в ином преломлении окрашивало собой творчество Б. Н. и сделало его реалистом в символизме. Это было стремление к познанию жизни из уст живых людей, произвольное наблюдение, собирание материалов для возможных будущих работ. Так, в 1905-6 гг. разговоры в городских и деревенских трактирах и чайных составили фольклорную основу романа «Серебряный Голубь», написанного только в 1910 году. Очень часто именно эти люди, не подозревавшие о существовании «Андрея Белого», говорили с ним очень открыто, сразу тянулись к нему и проникались безотчетной симпатией. Иные из них отзывались: «Особенный... Не такой, как другие...» А если спросить — чем он «не такой», и почему им нравится, что он «не такой», — то объяснить не могли. Но в силу диалектики жизни то, что необъяснимо привлекало одних, так же необъяснимо, стихийно и непреодолимо отталкивало, раздражало или просто пугало других. И возникали, тоже на каждом шагу, конфликты, которых он сам не умел разрешить.

В 1919 году мы проводили часть лета в Карачеве — маленький городок близ Орла. Вышло так, что мы разместились на разных квартирах. Б. Н.-чу прислуживала работница, крестьянская девушка, Аннушка, существо на редкость примитивное и дикое. Они никак не могли договориться. Приходя к Б. Н., я постоянно наталкивалась на сцену. Начиналось с

того, что Аннушку нужно было «выстукивать» снизу, т.е. стучать ей в пол, чтобы она поднялась из кухни. Б. Н. не решался постучать достаточно сильно, боясь помешать хозяевам. А между тем у них за стеной был всегда такой шум, смех, громкие разговоры, даже ссоры и чуть ли не драки. Но Б. Н.-ча все равно нельзя было уговорить, и он еле прикоснулся к полу ногой. Аннушка, конечно, не шла. Тогда он начинал выходить из себя: «Вот, не идет! Всегда так! Стучу ей, стучу!» Я брала палку и «выстукивала». Аннушка появлялась. Сперва я, в качестве гостыи, не решалась сразу же вмешиваться. И начиналось второе мучение. Подыскивая слова, с длинными, напряженными паузами, робко, будто в чем-то виноватый, Б. Н. рвался к ней издали: «Аннушка,... если вы можете... если не заняты... нельзя ли... пожалуйста...» Аннушка шарахалась, тащила дико глаза и в смертельном испуге пятилась к двери. Видно было, что она ничего не понимает и хочет лишь одного — поскорее уйти. Приходилось улаживать: «Аннушка, поставь самовар». Лицо ее прояснялось. На нем выступало отчетливо: «Только-то! Самовар! А как напугал. Даже дух захватило», — и вздохнув облегченно и громко, она удалялась.

Я спрашивала Б. Н., зачем он так все усложняет, зачем столько «пожалуйста». Разве он не видит, что Аннушке надо просто сказать: Поставь самовар, или: Принеси молоко. Вместо ответа, махнув рукой, Б. Н. бросался на постель, лицом к подушке, — его жест в минуты душевных расстройств и всяческих огорчений, — и приподнимая голову, искоса жалобно поглядывая, вскрикивал: «Не могу, не умею. Не знаю, КАК говорить...»

А через полчаса, прихлебывая крепкий чай, прочитывал мне блестящие страницы из «Путевых заметок», которые он тогда переделывал, о ярко «поющих витражах» готики, об «искролетах» итальянской мозаики, преобразующей камешки в «бурю света», о странно двоящейся «усмешке» в действиях Фридриха II Гогенштауфена, об «изразцовом смехе» Туниса, об арабах и берберях, о туарегах, «как ливень заливших черный пламень древней негерской культуры» с ее центрами: Диэннеею, и особенно Тимбукту, где «ключем били» науки, искусства, где процветал университет и собирались ценнейшие библиотеки.

Понятно, что Аннушка была от него больше, чем за ты-

сячу верст. Теоретически он допускал и соглашался, что излишняя деликатность в жизни только мешает, но практически всё оставалось по-прежнему.

Сколько раз бывало: подъезжаем к гостинице. Б. Н. идет справиться, есть ли свободные номера. Через минуту бежит негодующий, возмущенный. «Нет, нет, едем скорее отсюда...» — «Да почему? Разве все занято?» — «Нет, нет. Я не хочу... Грубияны... Невежи... Едем, едем скорей!...» Потом выясняется: не сумел договориться, не поняли, стали грубиянить и смеяться.

Этому трудно поверить. Ведь Б. Н. в любую минуту мог сделать доклад, прочесть лекцию, написать статью. Но сказать в двух словах, что ему нужен номер в гостинице он не умел. Роковым образом он вызывал глухой отпор или явную злобу во всех окошечках касс, за всеми конторскими столами или магазинными прилавками. Он раздражал, его не понимали. В его непривычной вежливости начинали видеть скрытый подвох и старались сделать какую-нибудь неприятность. Тогда он от «пожалуйста» и «извините» стремительно переходил в нападающий тон. И — готово! Никто не хотел исполнять его просьбы.

Странно, что в такие минуты он казался мне иногда красным платком, которым машут перед начинающими приходить в ярость животными. Тут сталкивались два слишком разных мира, не имевшие общих точек соприкосновения, две действительности, одинаково правомерные, но взаимно исключающие друг друга.

Он не сливался с толпой, как-то сразу бросался в глаза и вызывал внимание и интерес. За ним начинали следить, оглядываться, — далеко не всегда дружелюбно. Точно своим появлением он колебал привычные нормы, нарушал равновесие жизни. Точно он не укладывался в рамки общего быта, который неизбежно и жестоко мстил за себя.

С этим он ничего не мог сделать: начиная от мелочей и до самого крупного. Вопреки всем усилиям, всем принятым решениям «не зацепиться», пройти незамеченным, он как раз «зацепялся» и — раздражался «скандал», поднимались ожесточенные перепалки, где пострадавшим оказывался обычно Б. Н.

Хуже всего было в этом отношении в поездках. Попробую рассказать один характерный эпизод из нашего кавказского

путешествия. Мне трудно об этом писать, как трудно было переживать это вместе с ним.

Мы подъезжали к Риону. Предстояла пересадка на Ку-таис. За окнами — черная ночь и гроза, которая началась еще с вечера, едва мы отъехали от Батуми. Было страшно взглянуть в этот мрак. Зеленоватые молнии вздрагивали поминутно и призрачным, мертвенным светом озаряли сплошную завесу дождя. Казалось, что мы пересекаем не лесистую местность Мингрелии, а дно какого-то гигантского моря, тяжелые волны которого поглотили и навсегда отрезали нас своею зеленовато-свинцовой массой от света и солнца. На остановках тишина за окном разрывалась, и в уши бросался свист ураганного ветра. Он дико бил в стекла и в стенки вагона, а над головой рушились молоты гулких раскатов.

Б. Н. всегда ооень нервно реагировал на грозу, с трудом переносил «скопление электричества в воздухе». Теперь же он был утомлен уже двухдневным переездом из Красной Поляны, простужен и сильно кашлял. Его ужасало, как мы высадимся в этот «бред разъяренных стихий». И он ежеминутно вскакивал, бросался к окнам. «Потоп! Настоящий потоп!... Как мы выйдем в Рионе? Как отыщем носильщика?...»

Тщетно старалась я его успокоить, так как видела, что он уже раздражает наших спутников по купе. Это были здоровые, рослые люди, чисто выбритые, в длинных белоснежных рубашках, перехваченных узкими поясами. Бесцеременно вытянув ноги, они развалились на мягких диванах, побросав на верхнюю полку свои щегольские портфели. Из их громких разговоров можно было понять, что они направляются куда-то на съезд. Своим волнением и вскриками Б. Н. им явно мешал. Они косились в его сторону, вздергивали брови и, пожимая плечами, насмешливо улыбались. Всем своим видом они говорили: «Есть из-за чего волноваться. Подумаешь: пересадка, носильщики... У нас, вот, дела... А тут: пересадка...»

Наконец-то Рион. Остановка. Наш вагон в конце поезда. Платформа где-то вдаль намечалась огнями. Выглянули в окно: темнота, пустота, лужи внизу, ливень сверху. Стали вытаскивать вещи прямо в грязь. Б. Н. — в полном смятении. Где же носильщик?

Соседи прервали свой разговор и с веселым любопытством следили, что будет дальше. «Носильщик!» — крикнул Б. Н.

Носильщика не было. Только сверху, из ярко освещенного окна вагона — взрыв хохота. Люди в белых рубашках, засунув руки в карманы, веселились над нами.

Б. Н. разрывался, как лучше сделать: бросить меня одну в темноте и самому пойти за носильщиком? Или остаться с вещами и отпустить меня одну «в неизвестность» далеких платформ? Наконец, он решился и не оглядываясь кинулся к станции. Некоторое время я видела, как он метался там, точно большая черная бабочка, то попадая в свет фонаря, то исчезая. И, наконец, скрылся совсем. Я продолжала стоять в растущей тревоге: где он? Вот и поезд ушел. Стало еще темней и пустынной. Время тянулось томительно. Я не знала, что предпринять.

Вдруг издали возглас: «Где же она!» И уже совсем отчаянное: «Нет, да где же она!» Я откликнулась. Откуда-то сбоку вынырнули две фигуры.: Б. Н. с носильщиком. «Вот и хорошо», — вырвалось у меня. Но тут же голос мой оборвался. Б. Н. схватил меня за руку. Он был как в лихорадке: дрожал, точно в сильном ознобе и задыхался: «Сейчас расскажу... Увидишь сама... Они все хохотали... Устроили зрелище...» — Я повернулась к носильщику. Он был мрачен и тупился. Нехотя взял вещи и не глядя на нас пошел на огни. Мы за ним. Б. Н. крепче сжал мою руку. Вот и платформа. Нас ждала уже кучка народа и, окружив, двинулась вместе в вокзальную комнату. Взгляды всех приковались к Б. Н. с тупым любопытством.

Зал был переполнен, скамейки все заняты. Кое-как примостились на чемоданах. Поезд на Кутаис отходил через час. Толпа продолжала стоять и разглядывать, переговариваясь на незнакомом для нас языке. «Видишь, видишь, — зашептал Б. Н., — так они встретили меня с самого начала. Я искал носильщика, спрашивал, никто не хотел ничего объяснить. Только смеялись. Тогда я стал кричать, что по Кавказу нельзя путешествовать, везде беспорядок, о пассажирах никто не заботится и нет элементарных удобств. Тут же понесся не смех, а ропот, угрозы. Я вызвал зверя... И он зарычал...»

Не помню уж, как рядом с нами возникла фигура. Какой-то человек в форменной фуражке обратился к нам по-русски и стал успокаивать Б. Н. Начался разговор. Оказалось, что нам по дороге, что и он в Кутаис. Мы проболтали до самого поезда,

вместе уселись в вагон и всю дорогу слушали интересные рассказы о природе и нравах Кавказа. Б. Н. совсем отошел, почти развеселился, по обыкновению стал расспрашивать, развивать свои мысли.

В Кутаисе наш добрый гений также нас выручил. Когда мы вышли на перрон, извозчиков уже не было. И мы в недоумении стояли одни на площадке перед вокзалом, опять в темноте, под тем же ливнем. Компаньон наш куда-то исчез. Через несколько минут он вдруг появился в сопровождении маленького, невероятно худого и слабого старичка-еврея. — «Что это?...» — удивился Б. Н. — «А вот он понесет вещи. А мы пойдем за ним. Больше ведь нечего делать». — «Как *ОН* понесет... — ужаснулся Б. Н., — его самого надо нести... Я не могу допустить... Не могу... Так же нельзя... » Старичок еврей, не понимая настоящей причины взволнованных криков Б. Н., испугался, что его отвергают за малосилие. Кое-как, коверкая слова, он стал уверять, что донесет, что он привык носить очень большие тяжести, а наши чемоданы совсем легкие, и что, главное: «Хлеба... хлеба кушать надо».

Вместе со спутником мы с трудом уговорили Б. Н. согласиться. Но он отвернулся, нервно постукивая палкой по ступенькам, когда старик взваливал на спину наш чемодан и брал в руки портплед. Когда же тронулись и впереди нас, прихрамывая, заковыляла хилая фигурка носильщика, Б. Н. снова заволновался. Пришлось обогнать и пойти впереди, чтобы он успокоился и не рвался помочь.

Не изгладится из памяти этот путь от кутаисского вокзала до гостиницы. Черное небо, вспышки молний, гром. Гул ливня, клочкотанье где-то рядом вздутых потоков, неровная дорога, едва освещаемая тусклыми пятнами редко мерцающих фонарей. Лабиринт незнакомых садов, переулков и улиц. И — ни души. На одном из пееркрестков наш добрый помощник простился: «Мне сюда. А вы тоже скоро дойдете. Гостиница рядом».

Минут через десять дошли. Оказались свободные номера. Поднялись среди пальм и зеркал, по коврам белой лестницы. Все это как-то особенно бросилось в глаза после нашего странствия. Прошли по пустынному, очень светлому коридору в высокую, тихую комнату. Старичок поставил вещи на пол и присел тут же на корточки, тяжело дыша. «Сколько вам за

вашу помощь?» — обратился к нему Б. Н. — «Рубель», — раздалось нерешительно. — «Как рубль! За такую дорогу... За такой труд... Это же невозможно... Что он говорит!...» бросался Б. Н. то ко мне, то к старику. Голос его обрывался, на глазах были слезы. Старичок, опять не понявший криков Б. Н., испуганно залепетал: «Сколько дашь, сколько дашь...» И окончательно растерялся, когда Б. Н. не глядя захватил пачку бумажек, поймал его руку и крепко пожал, едва выговаривая: «Спасибо, спасибо, сердечное... Идите скорей. Отдохните. Сырость такая. Вы промокли насквозь». Я видела, что теперь старик плакал, прислонившись к стене, и своими бездонными, древними глазами глядел то на зажатые в его руке бумажки, то на Б. Н., который все еще продолжал что-то взволнованно и горячо говорить. «Идите, идите, — вмешалась я, чтобы прервать эту сцену, — нам тоже нужно отдохнуть».

В 20-21 гг. Б. Н. писал в своих афоризмах о «Правде»: — «Жалость. Слово то для меня слияние, символ: Любви, Света, Истины. В **ЖАЛОСТИ** — корень конкретной, доступной нам правды. ...Начало любви к человечеству — в любви-жалости к имярек, к одному, к единственному, к обывателю, к малому. Без этого начала любви всё — сон пустой. Недаром народ называет одним общим словом со-страдание и любовь. «Я жалею» — вот главное. «Я люблю несказанно» без жалости — сон, сон пустой. «Жалею» — есть: одновременно и плачу и смеюсь от любви. Оправдываю тебя, ближний мой, малый, как я, — в твоём малом, которое больше великого. И обнимаю тебя целиком: ты — страдаешь. Примем вести друг друга — друг в друга. И со-весть меж нами возникнет» («Так говорит правда», Зап. мечт. № 5).

Здесь корень повышенной, и как может иным показаться, чрезмерной впечатлительности Б. Н. Конечно, он был впечатлителен. Но кроме того, за каждым почти непосредственным впечатлением в нем поднимался мгновенно вихрь обобщающих мыслей и вызывал с удесятиренной силой реакцию, не всегда понятную для других. Он переживал *симптоматически* и во многих случаях — не отдельный пустяк, на который не стоит обращать внимания, а *симптом*, показатель, признак- чего-то, что требует к себе другого уже отношения. «Рубль» старичка-еврея так особенно поразил его еще и потому, что как раз перед тем, утром в Батуме, произошла совсем обратная сцена.

Б. Н. был готов щедро вознаградить за самую небольшую услугу, которую, кстати сказать, он неизменно называл помощью. Но зато он приходил в невероятный гнев и проявлял страстное возмущение, когда замечал желание «урвать», «запросить» больше, чем следует.

Мы подъезжали к Батуму. Едва пароход успел причалить и были спущены сходни, как «орава» галдящих носильщиков кинулась на палубу. Переругиваясь между собой, здоровенные парни стали нагло рвать наши вещи, требуя по пяти рублей, чтобы донести до извозчика. Возмущенный этим грубым натиском, Б. Н. в одну минуту растолкал их всех и с восклицанием, заглушившим сразу же все голоса: — «Бездельники... грабители... Вам бы на большой дороге грабить...» — бросился к пристани, захватив наши ручные вещи. Через мгновение несется обратно сияющий и без вещей: «Скорее... портплед, подушки... Ждет извозчик». — «Где?» — «Там» — довольный кивок головы куда-то вниз, в сторону. «А номерок?» — «Какой номерок?» — «Да извозчик-то как же? Как мы его найдем?» — Не отвечая, Б. Н. уже мчался обратно. Номерок, разумеется, не был взят. Но все обошлось благополучно, извозчик нас ждал.

А едва мы доехали до гостиницы, как Б. Н. свалился в припадке тяжелого гриппа, который он схватил еще на пароходе. Пролежал весь день, и вечером едва имел силы, чтобы доехать до вокзала и сесть в вагон.

Да, Б. Н. был очень горяч, очень страстен. Но в крупном он умел сдерживать свой порыв и довести до конца задуманное. Помню такой случай. С каким волнением, тоскуя по родине, он рассказал мне об этом в Берлине.

В 21 году, провожая его за границу, А. Д. сунула ему на дорогу небольшой сверток. Он положил его в свой чемодан и забыл. Уже в Ковно, где он задержался в ожидании визы и где «все ломилось едой», этот сверток попал ему в руки. Он раскрыл. Выпали черные, сухие кусочки «чего-то». Пригладился и — сердце сжалось, к горлу поднялся комок: — «Ведь это лепешки! Мама дала как гостинец в дорогу. Милая... *это* — гостинец!... И все они там — так. У них это — лакомство... Здесь же ...И рванулось: «Куда же я еду от них?... Мое место с ними, — делить этот черный кусочек...» — Только усилием

воли порыв поборол: все бросить, вернуться обратно. Стиснул зубы. И стал дальше ждать визу в Германию.

У Б. Н. был жизненный идеал человека, заветный и тайно хранимый. Он открыл его мне не сразу, а только после нескольких лет близости, в одну из тихих минут. И назвал его греческим словом, что значило — прекрасный и добрый или — прекрасно-добрый (благой), в одно слово, как оно звучало для греков. Этот утерянный ныне эпитет показывает, что они умели еще не отделять красоту от добра и воспринимать их одновременно, как внешнюю и внутреннюю сторону явлений.

Но Б. Н. слышал в этом слове больше. Для него прекрасное и доброе взаимно проникают, как бы химически окрашивают друг друга и являют собой совсем новое качество: прекрасно-доброе. Это значение скрыто звучит в настойчивых утверждениях Б. Н. принципа единства формы и содержания (как неразложимого формосодержания), — принципа, который лежит в основе его понимания символизма. Еще в 1906 году он писал: «Когда мы говорим о формах в искусстве, мы не разумеем чего-то, отличного от содержания».

А в 1932 году, уже подводя итоги прошлого, он пишет, что символизм есть «самосознание творчества, как критицизм, и он противопоставляет себя школам там, где эти школы нарушают основной лозунг единства формы и содержания».

В искусстве слова к безусловно прекрасно-доброму он относил прежде всего: Пушкина, Толстого, Диккенса (особенно Давид Копперфильд), Шекспира — творца Гамлета и Короля Лира.

Клавдия Бугаева

ИЗ ДНЕВНИКОВ И. А. БУНИНА

«Переписываю с клочков дневников заметки. Многое рву. А зачем кое-что оставляю и переписываю — неизвестно», записал Бунин на клочке бумаги 12 апреля 1946 года.

Часть этих заметок вошла в книгу Веры Николаевны Буниной «Жизнь Бунина»¹ и в ее «Беседы с памятью»,² некоторые по письмам цитирует в своей книге А. К. Бабореко.³ Кроме того один из дневников Бунина попал каким-то образом в Сибирь и выдержки из него были опубликованы в «Новом мире».⁴

Здесь печатаются некоторые из переписанных Буниным заметок, которые, поскольку мне удалось проверить, прежде опубликованы не были. Я выбрала те заметки, которые представляют собой интерес либо с художественной точки зрения, либо с точки зрения знакомства с взглядами Бунина или открывающие что-то в его творчестве, как и заметки, имеющие биографическое значение. Так как опубликованы были главным образом выдержки из дневников раннего периода, я предполагаю сосредоточить свое внимание на более позднем времени и начинаю с марта 1916 года. Некоторые из записей сохранились в рукописи (почерк Ивана Алексеевича Бунина), другие переписаны на машинке и местами исправлены рукой Бунина.

Зиму 1916 года Бунины проводили в деревне. 21 марта Иван Алексеевич записывает:

«Вечером гуляли по задворкам, возле кладбища. Темь,

¹ В. Н. Муромцева-Бунина, Жизнь Бунина (1870-1906) Париж 1958.

² В. Муромцева-Бунина, Беседы с памятью, Новый журнал 59, 60, 62, 63 и Грани 47, 48, 49.

³ А. Бабореко. И. А. Бунин, Материалы для биографии, Москва 1967.

⁴ Н. П. Смирнов-Сокольский, Последняя находка, Новый мир, 10/1965.

туман. Сад виден неясно, рига совсем не видна, только когда подошли к ней, обозначилась ее темная масса.

Говорили об Андрееве.⁵ Все-таки это единственный из современных писателей, к кому меня влечет, чью всякую новую вещь я тотчас-же читаю. В жизни бывает порой очень приятен. Когда прост, не мудрит, шутит, в глазах светится острый природный ум. Все схватывает с полслова, ловит малейшую шутку — полная противоположность Горькому. Шарлатанит, ошарашивает публику, но талант. Впрочем м/ожет/ б/ыть/ и хуже — м/ожет/ б/ыть/, и самому кажется, что он пишет что-то великое, высокое. А пишет лучше всего тогда, когда пишет о своей молодости, о том, что было пережито.

Дома нашли газеты и «Совр/еменный/ мир».⁶ Задирчивая статья Чирикова о Тальникове — Чириков «верит в рус/ский народ». В газетах та же ложь — восхваление доблестей рус/ского/ народа, его способностей к организации. Все это очень взволновало «народ, народ»! А сами понятия не имеют (да и не хотят иметь) о нем. И что они сделали для него, этого действит/ельно/ несчастн/ого/ народа?»

На следующий день (22 марта) Бунин продолжает:

«Коля⁷ записал то, что я вчера говорил с ним и принес мне эту запись: — Ив/ан/ Алекс/еевич/ статьей Чирикова и газетами так⁸ взволнован, что до поздней ночи, уже сидя и ежеминутно куря в постели, говорил:

— Нет, с какой стати он так его оскорбляет? Кто дал ему на это право? Ах, уж эти русские интеллигенты, этот ненавистный мне тип! Все эти Короленки, Чириковы, Златовратские! Все эти защитники народа, о котором они понятия

⁵ Писатель Леонид Андреев.

⁶ Журнал, издававшийся М. К. Куприной.

⁷ Племянник Бунина Н. А. Пушешников, которого Иван Алексеевич особенно любил.

⁸ После этих слов вклеена запись самого Пушешникова, начинающаяся словом «взволнован...»

⁹ За этим следуют три строки, зачернутые чернилами Бунина и подчеркнутые волнистой линией: «А что они сделали для этого народа, столь забытого, действительно жалкого народа. Ничего. Погоди, погоди, этот доблестный народ, над которым они так умиляются, им покажет!»

не имеют и о котором слова не дают сказать...⁹ А это идиотское деление народа на две части: в одной хищники, грабители, опричники, холопы, царские слуги, правительство и городовые, люди без всякой чести и совести, а в другой — подлинный народ, мужики, «чистые, святые, богоносцы, труженики и молчаливники». Хвостов, Горемыкин, городской это не народ. Почему? А все эти начальники станций, телеграфисты, купцы, которые сейчас так безбожно грабят и разбойничают, что же это — тоже не народ? Народ-то это одни мужики? Нет. Народ сам создает правительство и нечего все валить на самодержавие. Очевидно, это и есть самая лучшая форма правления для русского народа, не даром же она продержалась триста лет! Ведь вот газеты! До какой степени они изолгались перед русским обществом. И все это делает русская интеллигенция, которая вынесла на своих плечах то-то и то-то и т.д. О каком же здесь можно думать исправлении недостатков, о какой правде писать, когда всюду ложь! Нет, вот бы кому рты разорвать! Всем этим Михайловским, Златовратским, Короленкам, Чириковым- А то: мирские устои, «хоровое начало», «как мир батюшка скажет», «Русь тем и крепка, что своими устоями» и т.д. Все подлые фразы! Откуда-то создалось совершенно неверное представление об организаторских способностях русского народа. А между тем нигде в мире нет такой безорганизации! Такой другой страны нет на земном шаре! Каждый живет только для себя. Если он писатель, то он больше ничего, кроме своих писаний, не знает, ни уха, ни рыла ни в чем не понимает. Если он актер, то он только актер, да и ничем, кроме сцены, не интересуется. Помещик!... Кому неизвестно, что представляет из себя помещик, какой-нибудь синеглазый, с толстым затылком, совершенно ни к чему неспособный, ничего не умеющий. Это уж стало притчей во языцех. С другой же стороны — толстобрюхий полицейский поводит сальными глазками — это 'правлящий класс'».

25 марта.

«Облачный день, на черно-жирных буграх остатки талого снега, — что-то траурное.

.....
Пьеса А. Вознесенского «Актриса Ларина». Я чуть не заплакал от бессильной злобы. Конец русской литературе!

Как и кому теперь докажешь, что этого безграмотного удавить мало! Герой — Бахтин — почему он с такой дворянской фамилией? — называет свою жену Лизухой. «Бахтин, удушливо приближаясь...» — «Вы обо мне не тужьте... (вместо «не тужите» и т.д.) О, Боже мой, Боже мой! За что Ты оставил Россию!

Вечером на кладбище. Месяц блестит в перепутанных сучьях, большая Венера, но все-таки как-то сумрачно и траурно от земли и кое-где лежащего снега.

Потом небо стало туманиться и деревья стали еще тоньше и красивее».

.....

26 марта.

«После обеда были на Казаковке, на мужицкой сходке. Изба полна. За столом несколько замечательных лиц. Лысый, с острым черепом старик в розовом полушубке; старик со вздернутым носом и хитрыми глазами; старик с желто-кофейным, морщинистым лицом; мужик с черной курчавой бородой и ярко-румяными щеками, все время игравший, как на сцене. Очень хорошо, как всегда для меня, запах полушубков».

.....

27 марта

«После обеда сидели в избе Ивана Ульянова. Очень милый старик с постоянным приятным смехом. Две половины. Первая маленькая, с мокрым земляным полом. Тут всегда сидит полуслепая старуха. Во второй — с выбеленными стенами и горшечками для цветов на окнах — живет он сам и его жена, пожилая и уже вянущая. Вошли — она за работой возле окна, он на хорах, в полушубке, курит. Солнце ярко освещает часть избы».

.....

«А как влияет литература! Сколько теперь людей, у которых уже как бы две души — одна своя, а другая книжная! Многие так и живут всю жизнь начитанной жизнью».

30 марта.

«На крыльце у Александра Пальчикова. Богат, а возле избы проходу нет от грязи и навозу. Полушубок, кубовая рубаха, видная из растегнутого ворота, серо-серебристая борода. Весеннее небо, жидкие облака, ветер дует в голые деревья, ка-

чает их, а он говорит: «Ничего не будет после войны, все брешут. Как же так? Если у господ землю отобрать, значит, надо и у царя, а этого никогда не допустят». С большим удовольствием рассказывал, как ему на службе полковник раз «засветил подщочину». Крепостного права не хочет, но говорит, что «в крепости» лучше было: «Нету хлеба — идешь на барский двор... Как можно!»

Роман Григорьевой в «Современном/ Мире». Ее героиня «легкая, воздушная», « затесалась в толпу...» Кончена русская литература!»

1 апреля

.....

«Коля рассказывал, что встретил в «Острове» двух почти голых ребятишек — в рваных лохмотьях, в черных и мокрых, сопревших лаптях. Тащили хворост, увидали Колю — испугались, заплакали... И для этого-то народа требуют волшебных фонарей! От этого-то народа требуют мудрости, патриотизма, мессианства! О разбойники, негодяи!»

2 апреля

«Фельетон Сологуба «Преображение жизни». Надо преобразать жизнь и делать это должны поэты. А так как Сологуб тоже причисляет себя к поэтам, то и он преобразует, пища. А писал он всего о гнусностях, о гадких мальчиках, о вожделении к ним. Ах, сукины дети, преобразители».

5 апреля

.....

«Возле караулки Настька моет калоши, собирается в церковь. Желтое страшно яркое на солнце платье. В избе дышать нечем, натоплено, все купались. Федор с мокрыми волосами, розовый.

При возвращении домой на несколько минут густой быстрый дождь. Все думаю о той лжи, что в газетах насчет патриотизма народа. А война мужикам уже так осточертела, что даже не интересуется никто, когда рассказываешь, как наши дела. «Да что, пора бросать. А то и в лавках товару стало мало. Бывало зайдешь в лавку...» и т.д.

23 мая 16 г. Елец.

«У парикмахера. Стрижет и разговариваем. Он про женский монастырь (оговорился от привычки быть изящным): дамский монастырь.

Для рассказа: встречный пароход на Волге всегда страшно быстр; ночь уездн/ый/ город. Крепкий костеной стук колодушки.

Беллетрист/ическая/ пошлость «Белая как дебелия купчиха».

.....

Пьяный мужик шел и кричал:

Проем же именье

Сам заруюсь у??? ья¹⁰

В этом вся Русь. Жажда саморазорения, атавизм».

26 VI. 16

«Гнало ветром дождь. Сейчас — 7 часов вечера — стихло. Все мокро, очень густо-зелен сад. За ним, на пыльной туче бледная фиолетово-зеленая радуга. Хрипел гром.

.....

Следует перерыв в несколько месяцев. Записи возобновляются осенью.

27 октября 1916 г.

«Читаю записки В. Бертенсона «За тридцать лет». Еще раз убеждаюсь в ничтожестве человеческих способностей — сколько их, людей, живших долго, видевших очень многое, вращавшихся в обществе всяких знаменитостей и обнаруживших в своих воспоминаниях изумительное ничтожество. Вспоминаю книгу Н. В. Давыдова — то же думал и ее читая.

Прочел (перечел) «Дневник Башкирцевой» (издание несчастной Фанни Татариновой). Все говорит о своей удивительной красоте, а на портрете при этой книжке совсем нехороша. Противное и дурацкое впечатление производит ее надменно-вызывающий, холодно-царственный вид. Вспоминаю ее брата, в Полтаве, на террасе городского сада. Наглое и мрачное животное, в башке что-то варварски-римское. Снова думаю, что слава Б/ашкирцевой/, основанная ведь больше всего на этом дневнике, непомерно раздута. Снова очень не-

¹⁰ Неразборчиво написано.

пр/иятний/ осадок от этого дневника. Письма ее к Мопас/сану/ задирчивы, притязательны, неуверены, несмотря на все ее самомнение, сбиваются из тона в тон, путаются и /в/ конце концов пустяковы. Французская манера писать, книжно умствовать; и все — наряды, выезды, усиленное напоминание, что были такие-то и такие-то депутаты, графы и маркизы, самовосхваление и снова банальные мудрствования.

.....

Мой почерк истинное наказание для меня. Как тяжело и безобразно ковыляю я пером.¹¹ И всегда так было — лишь иногда немного иначе, легче.

Душевная и умственная тупость, слабость, литературное бесплодие все продолжается. Уж как давно я великий мученик, нечто вроде человека, сходящего с ума от импотенции. Смертельно устал, — опять таки уж очень давно, — и все не сдаюсь. Должно быть, большую роль сыграла тут война — какое великое душевное разочарование принесла она мне!»

.....

28 октября 16 г.

«Почти весь день тихо, тепло, туман. Ходил с ружьем за голубями. Кисловато пахнет гнилью трав и бурьянов, земель.

Ночь изумительная, лунная. Гуляли, дошли до Пушешниковского леса. Вдали, низко по лесной лощине, туман — так бело и густо, как где-нибудь в Нижегородской губ».

29 октября 16 г.

«Не запомню такого утра. Ездили кататься — обычный путь через Пушешниковский лес, потом мимо Победимовых. С утра иней на деревьях. Так удивительно хорошо все, точно это не у нас, а где-нибудь в Тироле.

Писать не о чем, не о чем!»

4 декабря 16 г.

«Четыре с половиной часа. Зажег лампу. За окнами все дивно посинело. Точно вставлены какие-то сказочные зелено-синие стекла.

¹¹ Это чрезвычайно несправедливое замечание. В большинстве случаев почерк Бунина не только разборчив, но и своеобразно красив, хотя и далек от так называемой каллиграфии.

Вчера прекрасный морозный вечер. Кривоногие китайцы коробейники. Называли меня «дядя».

Тут опять в записях большой пропуск. Вера Николаевна еще в октябре выехала в Москву. В ее дневничке¹² за 1916 год значится: «Декабрь 14 Приезд Яна».¹³ В Москве Бунин пробыл до 1 апреля (в дневничке сказано: Отъезд Яна в Петерб/ург/). 8 мая Бунин уехал опять в деревню, как записано у Веры Николаевны. Сама же она оставалась в Москве у родителей и только в июне (даты нет) сказано: отъезд в Готово. С этого времени возобновляются записи Бунина.

11 июня 17 г.

«Все последн/ие/ дни чувство молодости, поэтическ/ое/ томление о какой-то южной дали (как всегда в хорошую погоду), о какой-то встрече...

В ночь на пятое Коля уехал в Елец — переосвидельствование белобилетчиков. В набор, набор! Идиоты.

.....

Шестого телеграмма от Веры. Седьмого говорил с ней по телефону в Елец. Условились, что я приеду за ней и за Колей, а по дороге заеду к Ильиным. Вечером Антон (австриец) отвез меня в Измалково. На станции «революционный порядок» — грязь, все засыпано подсолнухами, не зажигают огня. Много мужиков и солдат, сидит на полу и идиотски кричит Анюта-дурочка. В сенях вагона 1-го кл/асса/ мешки, солдаты. По поезду идет солдатский контроль. Ко мне: сколько мне лет, не дезертир ли? Чувство страшного возмущения. Никаких законов — и все власть, все, за исключением, конечно, нас. Волю «свободной» России почему-то выражают только солдаты, мужики, рабочие. Почему, напр. нет совета дворянских, интеллигентск/их/, обывательских депутатов?»

.....

15 июня

«10 часов веч/ера/. Вернулись из Скародного. Коля, Евгений (который приехал вчера с Юлием из Ефремова)¹⁴ и Тупик

¹² В архиве я нашла дневничек, в котором Вера Николаевна записала даты того времени.

¹³ Так Вера Николаевна называла Ивана Алексеевича.

¹⁴ Евгений Алексеевич и Юлий Алексеевич Бунины, братья Ивана Алексеевича.

ездили в усадьбу Победимовых, я, Юлий и Вера пошли к ним навстречу. День прекрасный, вечер еще лучше. Особенно хороша дорога от Крестов к Скародному — среди ржей в рост человека. В лесу птичий звон — пересмешник и пр. Возвращались — уже луна над морем ржей.

У Бахтеровой сейчас хотели отправить в Елец для Комитета 60 свиней. Пришли мужики, и не дали отправить.

Коля рассказывал, что Лида говорила: в с. Куначьем (где попом отец Ив. Алексеевича, ее мужа) есть чудотворная/икона Ник/олая/ Угодника. Мужики, говоря, что все это «обман», постановили «изничтожить» эту икону. Но 9-го мая разразилась метель — испугались.

Тупик говорит, что в с/еле/ Ламском мужики загалдели, зашумели, когда в церкви запели: «Яко до царя»: «Какой такой теперь царь? Это еще что такое?»

В Ефремове в городском саду пьяный солдат пел:

Выну саблю, выну востру
И срублю себе главу —
Покатилась головка
Во зеленую траву.

Замечательно это «себе».

В Ефремове мужики приходили в казначейство требовать, чтобы им отдали все какие есть в казначействе деньги: 'Ведь это деньги царские, а теперь царя нету, значит, деньги теперь наши'».

.....

7 июля

.....

«Бунт киевский, нижегородский, бунт в Ельце. В Ельце воинск/ого/ начальника били, водили босого по битому стеклу».

13 июля 17 г.

«Все еще мерзкая погода. Холодно, тучи, сев/еро/ зап/адный/ ветер, часто дождь, потом ливень. Газетами ошеломили за эти дни сверх меры. Хотят самовольно объявить республику».

.....

14 июля 17 г.

«Прохладно, сильный ветер, солнце чисто.

Брюсов в предисловии к своей книге «Дальние и близкие»: «Не без колебания решился я издать эту книгу...» Как типична эта старинно-банальная фраза для этого архивариуса!»

27 июля 17 г.

«Счастливым прекрасным день.

Деревенскому дому, в котором я опять провожу лето, полтора века. И мне всегда приятно вспоминать и чувствовать его старину. Старинный, простой быт, с которым я связан, умирят меня, дает отдых среди моих постоянных скитаний. А потом я часто думаю о всех тех людях, что были здесь когда-то, — рождались, росли, любили, женились, старились и умирали, словом, жили, радовались и печалились, а затем навсегда исчезали чтобы стать для нас только мечтою, какими-то будто особыми людьми старины, прошлого. Они, — совсем неизвестные мне, — только смутные образы, только мое воображение, но всегда со мною, близки и дороги, всегда волнуют меня очарованием прошлого.

Еще утро, легкий ветерок проходит иногда по комнате, — открыты все окна. Которое нынче число? Если бы я даже не знал какое, я бы и так, кажется, мог сказать, что это конец июля, — так хорошо знаю я все малейшие особенности воздуха, солнца всякой поры года. В то окно, что влево от меня, косо падает на подоконник радостный и яркий солнечный свет, и глядит зеленая густота сада, блестящая под солнцем своей несметной листвой, в глубине своей таящая тень и еще свежую прохладу и то замирающая, затихающая, то волнуемая и тогда доходящая до меня шелковистым, еще совсем летним шорохом. В другие окна я вижу прежде всего ветви и сучья старых деревьев, — серебристого тополя, сосен и пихт, — и бледно голубое небо среди них, а ниже, между стволами, деревенскую даль: слегка синеющий на горизонте вал леса, желтизну уже скошенных и покрытых копнами полей, ближе — раскинувшееся по склону к мелкой речке поместье Бахтеярова, а затем, уже совсем близко, — старую низкую ограду нашей усадьбы, молодые елки, идущие вдоль нее, и часть двора, густо заросшую крапивой, — и глухой и жгучей, которую припекает солнце и над которой реет крупная белая бабочка.

Уже по одному тому, как высока крапива, мог бы я безошибочно определить, какое сейчас время лета. А кроме того сколько едва уловимых, но мне столь знакомых, родных с детства, совсем особых запахов, присущих только рабочей поре, косьбе, ржаным копнам!

И течет, течет мое спокойное, родное, счастливое деревенское летнее утро. Смотрю на пятна тени, косо испещрившей под елками ограду, на крапиву, на бабочку; потом на тихо колеблющуюся возле окон серо-зеленую бахрому корявых горизонтальных сучьев пихты, на воробьев, иногда садящихся на солнечный подоконник и с живым, милым, как будто чуть-чуть насмешливым любопытством оглядывающих мою комнату. Не слушая, я слышу то непередаваемое, летнее, как будто слегка заворачивающее, что производят летающие вокруг меня и роящиеся на подоконнике мухи, слышу шорох сада, отдаленные крики петухов — и чуть внятную детскую песенку кухаркиной девочки, которая все бродит под моими окнами в надежде найти что-нибудь, дающее непомнятную, но великую радость ее маленькому бедному существованию в этом никому из нас непонятном, а все-таки очаровательном земном мире: какой-нибудь пузырек, спичечную коробочку с картинкой... Я слушаю эту песенку, а думаю то о том, как вырастет эта девочка и узнает в свой срок все то, что когда-то и у меня было, — молодость, любовь, надежды, — то о том, где теперь косят работники, — верно уже у Крестов, — то о Тиверии, о Капри... Почему о Тиверии? Очень странно, но мы невольны в своих думах. И я представляю себе вот такое же как сейчас летнее утро, с тем же самым солнцем, что горит на моем подоконнике, и совершенно ясно вижу белый мраморный дворец на горном обрыве острова, столь знакомого мне, и этого человека, которого называли императором и который жил в сущности очень недавно, — назад тому всего сорок моих жизней, — и очень, очень немногим отличался от меня; вижу, как сидит он в легкой белой одежде, с крупными голыми ногами в зеленоватой шерсти, высокий, рыжий, только что выбритый, и щурится, глядя на блестящий под солнцем, горячий мозаичный пол атрия, на котором лежит, дремлет и порой встряхивает головой, сгоняя с острых ушей мух, его любимая собака...

Во втором часу вышел из дому, пошел в сад по липовой

аллее, в конце которой, за воротами, светлело, белело небо. Земля суха и тверда, приятно идти, на земле лежат уже кое-где палевые листья. Солнце скрылось, потускневший сад был под синеватой тучей, заходившей с юга, — очень хорошо. За воротами серо-зеленые бугры кладбища (давно упраздненного), дальше открытое поле, желтое, покрытое кое-где копами, кое-где рядами. Удивительная бирюза между ними на севере, сладкий, еще совсем летний ветер дует с юга из-под тучи и еще по летнему доносится хлопанье перепела.

Четвертый час. Крупный ливень, град, — даже крыша от него дымилась как будто. К северу из-за тучи белая гора другой тучи и млеющий синий яхонт неба. В комнате с решетчатыми окнами сырая свежесть, запах дождя, мокрой крапивы, травы.

Пять часов. Сад на низком фоне свинцово-синей тучи. Высовывался из окна под редкие капли дождя на эту сырую пахучую свежесть, в одной рубашке — необыкновенно приятно, почему-то страшно напомнило детство, свежесть и радость первых дней жизни.

Все дождь — до заката. К закату стало на западе, под тучей, светиться. Сейчас шесть. В комнате от заката, сквозь ветки палисадника, пятно странного зелено-желтого света.

Опять прошел день. Как быстро и как опять бесплодно!»

На этой записи кончаются деревенские дневники Бунина.¹⁵ В деревне Бунины оставались до конца октября. В дневничке Веры Николаевны сказано: «22 октября: Первое известие о погромах за Предтечевым... Волнение среди местн/ой/ интеллиг/енции/. Сборы». 23 октября Бунин навсегда покидает родные места. Вера Николаевна записывает: «Бегство на заре в тумане. Пленные. Последний раз Готово, Озерки, Большая дорога... Бабы: «войну затеяли империалисты». Бешеная езда. Рассыпалось колесо. Семь верст пешком в валенках и шубах. Елец. Ни единой комнаты ни в одной гостинице».

В Ельце Бунины пробыли до 25 октября (остановившись у Борченко), в Москву выехали 25 октября. «Отъезд в I классе», записывает Вера Николаевна, «мы — втроем и Орлов

¹⁵ Дневник, опубликованный в «Новом мире» (10/1965, стр. 213-221) охватывает время от 2 августа 1917 г. до мая 1918, но среди напечатанного нет записей после 21 ноября 1917 г.

(вероятно — с Орловым. М. Г.) Солдаты в проходах. Отношение не вражд/ебное/». Судя по записям в том же дневничке, в Москву Бунины приехали 26 октября.

Зиму они провели в Москве. Это время описано в «Окаянных днях».

В архиве я нашла страницы воспоминаний Веры Николаевны о жизни Буниных весной 1918 года и о их отъезде из Москвы. Там, между прочим, сказано:

«В начале мая Ян вместе с Ю. И. Эйхенвальдом (думается, Айхенвальдом. М. Г.) ездили в Тамбов и Козлов, где устраивались «Бунинские вечера», откуда они привезли окорока, муки и круп, а Ян еще твердую и непоколебимую уверенность, что нужно уезжать и как можно скорее на юг, где с воцарением гетмана большевики были прогнаны. Его поездка дала ему подлинное ощущение большевизма, разлившегося по России, ощущение жуткости и бездонности».

(Продолжение следует)

Милица Грин, Эдинбург, 1972 г.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, 1920-21 Г.

ВОСПОМИНАНИЯ, ЧАСТЬ III

Как я сказал уже в конце II части моих «Воспоминаний», на другой день после прихода «Риона» на Босфор нас с Ниной и Цурикова по распоряжению генерала Врангеля сняли с «Риона» и на первые дни предоставили нам ночлег на полу у стены в большом зале Русского посольства в Пере, уже почти наполненного беженцами. Сколько помню, наши вещи (которых было очень мало) мы сдали на хранение в склад при Посольстве, кроме того, что могло ежедневно понадобится. Положили на отведенное нам место ночлега и два небольших мешка сахарного песку, которые мы получили перед самой посадкой на «Рион» в Севастополе. Мы предполагали в Константинополе обменять их на продовольствие или какие-нибудь нужные мелочи. Днем покрывали их чем-то, на ночь клали себе под голову. Тем не менее чуть ли не во вторую ночь у нас их из-под голов украли.

В Константинополь перебрались из Крыма несколько русских общественных организаций (комитеты Земского и Городского союзов и некоторые другие). Туда можно было обращаться за справками и указаниями для поисков жилья и работы. Графиня Варвара Николаевна Бобринская (с которой мы были знакомы еще в Москве) организовала необыкновенно полезное учреждение — Адресный стол для всех русских, находящихся в Константинополе (и, по возможности, в других местах начинавшегося русского рассеяния). Через это Бюро многие (и мы в том числе) разыскали родных и друзей.

Вероятно, от Комитета Союза Городов мы получили адрес одного турецкого общежития (кажется, устроенного одной из американских или английских благотворительных организаций), в котором можно было провести несколько дней, что мы и сделали. Там каждому из нас выдали по серому американскому шерстяному одеялу, очень теплому. Эти одеяла нам

служили много лет, даже в Америке. Затем мы сняли комнату во втором или третьем этаже деревянного дома, принадлежавшего одной гречанке. Как в Пере в это время было в обычае, такие дома были вертикально разделены на несколько квартир. В первом этаже жила хозяйка, а в каждом следующем этаже по одной (или две — уже не помню) комнате, которые она сдавала. Комната была довольно большая и сдавалась дешево. Нина получила (кажется уже в это время) небольшой заработок пением в хоре при посольской церкви. Но первое жалование ей обещали выдать только через два месяца. Но у меня были деньги.

Как я объяснил в конце II части своих Воспоминаний, по прибытии в Константинополь я доложил генералу Врангелю о ликвидации Отдела печати и об окончании мною службы в его администрации. По распоряжению Врангеля мне как начальнику Отдела печати было выдано из казначейства 100 американских долларов как бы наградных. (Кажется я не ошибаюсь, но, может быть, это было 100 турецких лир). Цуриков был только прикомандирован к Отделу печати и не числился там служащим и ничего не получил в Константинополе из казначейства. Поэтому я считал (не говоря об этом Цурикову), что в случае надобности я должен и ему из этих денег помочь (и действительно немного помог, хотя фактически не из «Врангелевских» денег — объясню немного дальше, почему так вышло).

Помимо того, у меня еще были деньги, но не принадлежащие мне. Дело в том, что еще до того, как пошли разговоры об эвакуации армии из Крыма, отец мой решил съездить в Англию, чтобы ознакомиться с последними достижениями науки и заказать научные новинки для библиотеки Таврического университета. На это он получил от университета 90 английских фунтов. Когда выяснилось, что эвакуация почти неизбежна, отец решил все равно ехать в Англию. Не помню, по каким соображениям он передал мне на хранение эти деньги, с тем чтобы я ему их вернул в Севастополе перед его посадкой на пароход или уже в Константинополе. В Севастополе я его не видел и думал, что он выехал в Константинополь на другом пароходе (на самом деле в самую последнюю минуту он решил остаться в Симферополе — его как ректора университета упростили об этом профессора и студенты).

Я искал отца в Константинополе, обращался в Бюро гр. Бобринской — там ничего об отце не знали. Я подумал, что ему удалось проехать прямо в Лондон и написал П. Г. Виноградову, чтобы узнать адрес. Виноградов ответил мне, что отца в Англии нет. Тогда только я удостоверился, что отец остался в России. Переслать ему деньги в Россию было невозможно (да и бессмысленно, так как их бы у него все равно конфисковали).

Тогда я решил, что при данных обстоятельствах я вправе распоряжаться этими деньгами и помочь моим родным и друзьям за рубежом, если будет нужно, но не тратить ни эти деньги, ни выданные мне Врангелем без крайней надобности, а искать заработка. Из денег, переданных мне отцом, я и дал несколько фунтов дяде Георгию (Г. Е. Старицкому), когда навестил его на острове Халки (где поселена была часть русских беженцев на средства американских или английских благотворительных организаций), Цурикову, Володе Терентьеву и не помню, кому еще из родственников и друзей, бывших в Константинополе. Из этих-то денег я и заплатил за нанятую нами комнату.

Я рассказал об этом отцу, когда в первый раз после этого увидел его в Париже, в 1923 году. Он сказал, что я поступил правильно.

Добавлю, что по воспоминаниям моей сестры еще в Крыму многие офицеры, не хотевшие или не успевшие эвакуироваться, просили начальницу канцелярии университета выдать им удостоверения о том, что они состоят студентами университета. Желая их спасти, она это сделала (с ведома моего отца).

Об аресте моего отца после прихода большевиков и отправке его с женой и дочерью в Москву см. воспоминания моей сестры, которые я привожу в своей статье «Братство Приютино», «Новый Журнал», книга 97. В связи с этим сестра вспоминает и о настроении матери к приходу большевиков. «Помню раз я вхожу домой и вижу — какой-то высокий здоровенный коммунист пятится к выходной двери, а мама топает ногами и кричит, чтобы он немедленно ушел. Никогда в жизни я не видала ее в такой ярости. Лицо ее было покрыто красными пятнами. Ее дух победил, он почти убежал».

Возвращаюсь к ходу моих воспоминаний. С «Врангелев-

скими деньгами» нам не повезло. Кажется, когда мы еще жили в турецком общежитии, раз случилось так, что Нине надо было спешно пойти за какими-то удостоверениями или справками. Меня в это время дома не было (я тоже ходил по каким-то делам). Нина боялась оставить в общежитии конверт с такими большими деньгами и взяла конверт с собой. Пока она шла по улице какие-то жулики у нее этот конверт украли. Она, бедная, горько плакала. Я сначала разволновался и огорчился, но потом стал Нину утешать — все равно ведь ничего нельзя было сделать.

Что касается поисков заработка, мне и Цурикову один грек, говорящий по-русски (а, может быть, это был и русский, у которого были деньги), предложил временную работу — привести в порядок небольшой сад при доме, который он купил. Сад был в совершенно запущенном состоянии, завален всяким хламом, лежало много больших камней. Хозяин хотел сделать из этого сада что-то очень живописное, между прочим расположить камни так, чтобы они составляли какой-то узор. Затруднение было в том, что он все время менял план расположения этих камней. Платил он нам гроши (по часам работы), но платил аккуратно, каждый день в конце работы, так что мы этой работой дорожили. Сначала мы очистили сад, потом стали располагать камни по указанному плану. Бывало так, что хозяин придет посмотреть и скажет: «нет, так нехорошо выходит, лучше вот этак», и мы перетаскиваем камни по-новому плану. Мне это подчас было досадно, а Цуриков меня вразумлял: «нам-то какое дело, не все ли равно? Когда все сделаем по его вкусу, наша работа кончится, так лучше, чтобы дольше тянулась». Недели через две-три самому хозяину все это надоело, и он нас рассчитал. Надо было искать другой заработок.

Я упомянул, что в Константинополе мы разыскивали (через Адресное бюро Бобринской) нескольких родных и друзей. Со многими интересными русскими людьми мы познакомились в посольской церкви (где, как я уже сказал, Нина пела в хоре).

Скажу прежде всего об архиереях. В Константинополе я познакомился с несколькими выдающимися русскими иерархами. В сентябре 1920 года генерал Врангель вызвал с Афона в Крым митрополита Антония Киевского, чтобы он возглавил Высшее церковное управление на Юге России (митрополит

Антоний был в 1919 году в Ростове при правительстве Деникина). Через сорок дней после приезда Антония в Крым ему и другим высшим церковным властям пришлось эвакуироваться в Константинополь (беру эти данные из книги архиепископа Никона Рклицкого «Жизнеописание Антония, митрополита Киевского и Галицкого», том IV, стр. 318 и сл.).

Митрополиты Антоний, Платон (экзарх Грузии), архиепископ Феофан Полтавский и епископ Вениамин Севастопольский были посажены на переполненный пароход «Александр Михайлович», предназначенный для высокопоставленных лиц. С Антонием был почитатель его капитан Рклицкий (будущий биограф Антония). «Александр Михайлович» ушел из Севастополя дня за четыре раньше других пароходов. По приходе «Александра Михайловича» в Босфор он был поставлен в карантин на восемь дней. Как только карантин был снят, в ноябре на «Александре Михайловиче» состоялось первое заграничное заседание «Высшего церковного управления на Юге России».

В этом заседании участвовал, кроме упомянутых владык, протоиерей г. Севастополя Георгий Спасский. Местоблюститель греческого Вселенского Константинопольского патриаршего престола согласился на самостоятельность русской беженской церкви. На заседании было постановлено, ввиду невозможности сношения с Советской Россией, продолжить полномочия членов Высшего церковного управления «с обслуживанием всех сторон церковной жизни беженцев и армии во всех государствах, не имеющих сношения со святейшим патриархом (Тихоном)». (Рклицкий, том V, стр. 6-7.) В состав Высшего церковного управления был включен находившийся уже в Константинополе архиепископ Кишиневский Анастасий. Анастасию были отведены в доме русского посольства две скромные комнаты на верхнем этаже. Взбираться туда надо было по крутой лестнице. Обстановка была самая скромная. Одну из комнат Анастасий предоставил Антонию. Кроме того, была еще одна узкая длинная комната, предназначавшаяся для кухни. В ней поместились келейник Антония и Рклицкий. Последний давно хотел постричься в монахи. Антоний благословил его на это. Постриг состоялся 12 января, а через пять дней Антоний рукоположил Рклицкого во иеродьякона (Рклицкий, т. IV, стр. 322-324.).

Где жили во время их пребывания в Константинополе митрополит Платон, архиепископ Феофан Полтавский и Вениамин — я не помню. Вениамин, вероятно, в доме посольской церкви. С ним у меня сразу возобновились дружеские отношения. Как-то раз он меня пригласил на чай к митрополиту Антонию. Чай был не в квартире Анастасия, а в каком-то другом помещении (вероятно, при посольской церкви). Комната была довольно просторная и прилично меблированная. Кроме владык и других духовных лиц, были и миряне, в том числе специалист по каноническому и государственному праву Михаил Валерьянович Зызыкин и его жена Варвара Ивановна — красавица в древнерусском стиле, одевавшаяся полубоярыней полумонашкой. Помню, что в посольскую церковь она приходила с небольшим ковриком, на который становилась на колени или совершала метания. Все меня встретили очень приветливо. Митрополит Антоний засмеялся и сказал: «я думаю, что профессор [т.е. я] в своей жизни не видел по-одиночке столько архиереев, сколько их сейчас собралось в этой комнате». Беседа была оживленная, много говорили о текущем положении русской церкви в разных странах зарубежья. После того я еще несколько раз заходил к Вениамину и к Антонию (в квартиру Анастасия), у них видел и других владык.

Все трое руководящих владыки — митрополиты Антоний и Платон и архиепископ Анастасий были выдающимися людьми, каждый в своем роде.

Митрополит Антоний родился в 1863 году в Новгородской губернии в дворянской помещичьей семье Храповицких. Учился в Пятой петербургской гимназии. С детства и юности был очень религиозен и по окончании гимназии поступил студентом в Петербургскую духовную академию. Через четыре дня после окончания Академии он принял пострижение в монашество в академической церкви, чему родители его очень не сочувствовали.

С именем Антония Храповицкого и Антония Вадковского (митрополита Петербургского) связано возрождение ученого монашества в России. На рубеже 1880-х и 1890-х годов Антоний, в сане архимандрита, был ректором Московской духовной академии (помещавшейся в Троице-Сергиевской Лавре). Одним из студентов Академии был будущий митрополит Евлогий. Архимандрит Антоний сразу расположил к себе студентов

простотой обхождения и доступностью. Он устраивал у себя собрания для студентов, угощал их чаем, беседовал с ними, интересовался их занятиями. На беседах велись горячие речи о монашестве. «Архимандрит Антоний, — говорит Евлогий в своих воспоминаниях, — был фанатиком монашества. Его пламенный монашеский дух заражал, увлекал, зажигал сердца... Следствием этого нового духа в Академии была волна пострижений...» (см. Митрополит Евлогий. «Путь моей жизни», Париж, 1947, стр. 39-41). По свидетельству митрополитов Евлогия и Антония Вадковского, архимандрит Антоний постригал неразборчиво и исковеркал не одну судьбу и душу. Все зависело от самого постригаемого. Те, кто сами знали и учитывали свои силы и глубину своего призвания, выдерживали искуc.

Антоний был противником введенного Петром Великим административного подчинения русской церкви государству и стремился к церковной реформе, созыву церковного Собора и восстановлению патриаршества. Эти его стремления осуществились после революции 1917 года. Всероссийский церковный собор был созван при Временном правительстве. Избрание патриарха произошло после большевицкого переворота. Решено было наметить трех кандидатов, выбор одного из которых предоставить жребию. Подготовительная комиссия разработала порядок, обеспечивавший правильное вынутие жребия и дальнейшее возведение патриарха на его престол. Во главе этой Комиссии стоял архиепископ Анастасий Кишиневский. При голосовании большинство получил Антоний (тогда архиепископ Харьковский), вторым по числу поданных голосов был архиепископ Арсений Новгородский и третьим — митрополит Московский Тихон. Жребий пал на Тихона.

Тут уместно будет упомянуть, что когда Антоний был доцентом в Петербургской духовной академии (1886-1890), в числе его студентов был Василий Белавин — будущий патриарх Тихон.

«По свидетельству авторитетных членов Собора, — пишет Рклицкий, — владыка Антоний с глубоким волнением переживал эти дни. Очевидно, что перед его духовным взором предстали те необозримые и великие задачи, которые он, в случае если на него падет жребий, должен будет осуществить... Для него, конечно, ясно было, что ему предстоит мученичество.

Господь избавил его от этого креста». Психологически понятно, что Антоний должен был почувствовать, что на него пал другой жребий — руководить русской церковью в рассеянии за рубежом.

Антоний обычно относился к людям благожелательно, всегда был готов помочь в их затруднениях. Яркий пример этому — прием им в студенты Василия Максименко, исключенного перед этим из Киевской духовной академии. Максименко и несколько других студентов протестовали против различных непорядков в жизни Академии. Все они были исключены с «волчьим билетом», т.е. без права поступить в какую-либо другую академию. Максименко с трудом нашел себе плохо оплачиваемое место учителя в маленькой школе Екатеринославской губернии. Он написал о случае с ним двум своим приятелям — студентам Казанской духовной академии. Антоний был в это время ее ректором. Те показали ему письмо. Антоний вознегодовал и, благодаря своим связям в Петербурге, добился отмены Св. Синодом постановления Совета Киевской духовной академии. Ему было разрешено принять Максименко в студенты Казанской академии. Максименко — впоследствии архиепископ Виталий. (См. Рклицкий, т. 1, стр. 186-187; Виталий, «Мотивы моей жизни», 1955, стр. 172-174).

Мелкий, но характерный случай того же рода произошел с Ниной в Константинополе. Как будет дальше сказано, в конце января нам представилась возможность эмигрировать в Америку. Выезжать надо было сразу. Нина пошла к регенту посольской церкви и просила его выдать ей жалованье (она до тех пор еще ничего не получила). Регент отказал, сказав, что она должна еще столько-то прослужить. Нина рассказала об этом митрополиту Антонию. Тот спросил: «сколько вам причитается?» и заплатил ей. Нина стала благодарить. Владыка засмеялся и сказал: «Будьте спокойны, я с регента сумею взыскать эти деньги».

Художник М. В. Нестеров написал (в 1917 году) хороший портрет владыки Антония (А. Михайлов, «М. В. Нестеров», Москва, 1958, стр. 277). (Портрет ныне находится в Третьяковской галерее).

С владыкой Анастасием я меньше разговаривал, чем с Антонием, и он при мне меньше высказывался, чем Антоний, но все же у меня создалось определенное впечатление о нем,

как о крупной и сильной личности. Видно было, что он знал, чего хочет в церковных делах и как этого достигнуть — дипломатией или твердостью.

С митрополитом Антонием его связывала давняя дружба. Когда Антоний был ректором Московской духовной академии (1891-1894 гг.), Александр Грибановский (мирское имя Анастасия до его пострига в монашество) был там студентом. В Высшем церковном управлении за рубежом архиепископ Анастасий сделался ближайшим помощником Антония.

Митрополит Платон отнесся ко мне (как и Антоний и Анастасий) очень благожелательно и произвел на меня хорошее впечатление, но каких-либо особых разговоров своих с ним тогда я не помню. Ближе я его узнал уже много позже в Америке. К тому же Платон недолго пробыл в Константинополе, т.к. Высшее церковное управление решило послать его в Америку для расследования беспорядочного состояния русской церкви там, а пока наладился его отъезд в Америку, он временно назначен был настоятелем русской посольской церкви в Афинах.

Среди русских, с которыми мы познакомились в Константинополе и видались, был художник Челищев, о котором я раньше слышал от моего двоюродного брата — художника Владимира Ивановича Жедринского (в это время уже уехавшего в Югославию). Челищев приходил к нам еще, когда мы снимали комнату у гречанки. Интересно и оживленно рассказывал о своей жизни в Константинополе, иногда приносил и показывал свои рисунки или наброски картин. Уморительно рассказывал, как он, сняв комнату вроде нашей у какой-то гречанки, но с плоской террасой, на которую можно было выходить через окно, приютил у себя несколько бездомных друзей художников, которые спали на полу. Хозяйка обыкновенно вечером перед сном приходила проверить — всё ли в порядке в комнате. Когда слышались ее приближающиеся шаги, друзья Челищева вылезали на террасу и там ложились под окнами так, чтобы их не было видно из окон. Когда хозяйка уходила, они возвращались на ночлег в комнату.

Довольно часто приходил к нам двоюродный брат моей матери Александр Викторович Зарудный, которого мы мельком встречали когда-то в Петербурге у Родичевых. Он был талантливый человек, занимательный собеседник, но какой-то ша-

лый. Критиковал Добровольческую армию и генералов. Когда стало известно, что генерал Лукомский (по поручению Врангеля) уезжает в Брюссель, Александр Викторович сочинил стихи:

Птичка Божия не знает
Ни заботы, ни труда,
А Лукомский уезжает
В город Брюссель навсегда.

Приходил он к нам почти всегда с какой-то красивой дамой (кажется армянкой), которая называла себя анархисткой. Александр Викторович называл ее «моя *bolchévisante*». Потом они вдруг исчезли. Позже мы узнали, что эта дама уговорила его вернуться в Россию. Они поехали в Одессу, где его сейчас же арестовали. Он будто бы выбросился из окна тюрьмы и разбился на смерть. По всей вероятности, тюремщики его выбросили; даму не тронули.

Помню еще очень милую и умную княгиню Трубецкую (не помню имени-отчества и не знаю, из каких она Трубецких). Она была старше нас. Мы любили с ней беседовать. Она бывала у нас, и мы у нее бывали. Она снимала комнату в квартире какого-то русского доктора (не помню фамилии). Проходить надо было через комнаты этого доктора, в том числе через его спальню. Когда мы первый раз как-то днем пришли к Трубецкой, то недоумевали, увидев посреди комнаты доктора, лежавшего на кровати. Он не спал и сказал нам: «Ничего, ничего, я всегда отдыхаю днем, проходите, проходите». Оказалось, что он выработал себе такую систему, чтобы днем ложиться на час, на два; от этого, по его мнению, можно было гораздо больше за день сделать.

Довольно скоро в нашем бытовом устройстве произошла перемена к лучшему. Союз городов решил устроить общежитие для тех из своих членов или лиц, так или иначе связанных с Союзом, которые не имели квартир или хороших комнат. Для этого нанят был просторный дом в Галате. Так как некоторые из поселенных в этом доме принадлежали к «кадетской» партии (партии Народной свободы), то это общежитие стали шутя называть «Вилла ка-де».

Нине предложили место хозяйки этого общежития, с тем

чтобы она и еду готовила на всех. Она получила комнату в доме, в которой и мне разрешили жить и питаться в общежитии, с тем чтобы я подметал столовую, корридоры, лестницу и ходил за провизией. Жильцы должны были убирать каждый свою комнату. Кроме бесплатной комнаты и еды для обоих, Нине назначили еще небольшое жалованье.

В «вилле Ка-де» поселились два видных «кадета» — кн. Петр Дмитриевич Долгоруков (с женой) и Петр Петрович Юренев. Большинство остальных были не «кадеты» — Кирилл Осипович Зайцев (ученик П. Б. Струве по Петербургскому институту), ныне (записывано это 1 декабря 1969 г.) архимандрит Константин (Свято-Троицкий монастырь, Джорданвиль, Нью Йорк), писатель Иван Лукаш, литератор Козьмин, еще двое-трое русских и два украинца.

Почти все были интересными и милыми людьми. И Петр Дмитриевич, и Антонина Михайловна Долгоруковы были необыкновенно мягкие и деликатные. Дружественными и милыми были К. О. Зайцев и Лукаш. Неприятный характер был у Юренева и очень неприятным был один из украинцев, крайний националист, все время подчеркивавший свою ненависть к русским (фамилии его не помню).

По уговору, Нина должна была по утрам давать чай или кофе с белым хлебом и класть в чашку немного сахарного песка. На это определенного часа не было; Нина подавала по мере того, как кто вставал. Помню как-то утром (собралось одновременно несколько человек) Нина спросила: «Что же, напились всласть?», а кто-то вздохнул и ответил: «Ох, не всласть, Нина Владимировна!». Но Нина действовала по данной ей инструкции и обижаться на нее за несладкий чай или кофе не было основания.

Кажется в час (или два) дня был обед (на который все должны были приходиться одновременно) и кажется часов в семь ужин (менее сытный, чем обед).

Я ходил покупать провизию на ближайший базар не без удовольствия — практиковался в разговорном турецком языке. Как я упомянул во II части «Воспоминаний», в Крыму я освоился с языком крымских татар, близким к турецкому.

С готовкой первого обеда у Нины получился конфуз. Она решила сделать рисовый суп и положила слишком много риса, который стал выпирать из кастрюльки. Вышел не суп, а какое-

то рисовое месиво. Есть его все-таки кое-как можно было, но часть публики ворчала (особенно Юренев). Довольно скоро, однако, Нина приспособилась, особенно удачны бывали ее винегреты. К. О. Зайцев объявил даже, что у Нины «ярко выраженный кулинарный талант». Не все, однако, были так снисходительны, и Юренев начал кампанию за то, чтобы нанять другую кухарку. По чьему-то совету пригласили турчанку, но та заломила такую цену, что даже Юренев отказался от своего плана и должен был примириться с Нининой стряпней.

К обитателям «виллы К-д» почти каждый день приходили гости. Тот, к кому они приходили, принимал их обыкновенно у себя в комнате и сам угощал их чаем. Если кто-нибудь приходил повидать нескольких человек, то они угощали его в общей комнате. К нам и Долгоруковым часто заходил Цуриков. Навещал нас и Владимир Герасимович Терентьев.

На «вилле К-д» у меня оставалось больше свободного времени, чем раньше, и я решил не только усовершенствоваться в разговорном турецком языке, но и начать изучать книжный язык. Кажется через школу Берлица я разыскал ученого араба, говорившего по-русски, и начал у него заниматься. Он оказался превосходным преподавателем.

Не одним русским беженцам трудно было жить в Константинополе. Город находился под оккупацией «Союзников» (Англия, Франция, Америка, Италия), и основное население — турки — тяжело это переживало. Особенно грубо себя держали англичане. Не раз приходилось наблюдать в трамвае отвратительные сцены. Когда вагоновожатый не исполнял приказа какого-нибудь пьяного британского офицера, матроса или солдата, не поняв, что тот требует, или потому, что его требование было против правил, например, остановить трамвай в неположенном месте — британец бил вагоновожатого кулаком по лицу до крови. Французы тоже были наглыми. Американцы и итальянцы вели себя прилично.

Понятно, что турки ненавидели оккупантов. Русским — как находящимся в униженном состоянии — они сочувствовали. Не раз когда на базаре или в каком-либо другом месте мне приходилось разговаривать с турком и он узнавал, что я русский, он жал мне руку и говорил: «тюрк-рус-кардаш» — братья (по несчастливой судьбе).

В середине (или в конце) февраля 1921 года меня разыскал (вероятно, через Бюро графини Бобринской) американский профессор (историк) Франк Гольдер, с которым мы познакомились и подружились в Петрограде в 1916 году. В Константинополь Гольдер приехал как представитель Хуверовской организации помощи беженцам и вообще пострадавшим от войны (Американ Релиф Организейшен — АРА). Гольдер предложил помочь нам с Ниной эмигрировать в Соединенные Штаты. В то время русская квота была незаполнена, американские консульства выдавали визу русским беженцам без всяких затруднений. Вопрос был только в деньгах на переезд. Гольдер выдал нам с Ниной из сумм Хуверовской организации, находившихся в его распоряжении, 300 долларов. На эти деньги можно было купить два билета третьего класса на трансатлантический пароход.

Из Константинополя в Америку тогда не ходили прямые американские или английские пароходы. Гольдер советовал взять билеты на английский пароход, садиться на который надо было в Пирее. До Пирея по этим билетам (за ту же цену) надо было ехать на маленьком греческом пароходе во втором классе. Мы испугались поездки с пересадкой и предпочли взять билеты на новый греческий пароход «Великая Греция», страшно рекламировавшийся греками. Пароход этот шел прямым рейсом из Константинополя в Нью-Йорк. На дополнительные дорожные расходы и на первые дни пребывания в Америке у меня оставалась еще часть неизрасходованных английских фунтов. В дальнейшем я рассчитывал на временный заем у М. М. Карповича, личного секретаря посла Б. А. Бахметева, и на его же помощь в подыскании какого бы то ни было заработка. Об этом я списался с Михаилом Михайловичем, причем сказал, что на первое время готов взяться и за физическую работу. Когда мы взяли билеты на «Великую Грецию», я телеграфировал ему о дне прибытия в Нью-Йорк. Так как «Великая Греция» должна была по расписанию простоять в Пирее (гавани для Афин) день или два, то мы попросили одну милую гречанку, говорившую по-русски, с которой мы познакомились в Константинополе, дать нам рекомендательное письмо к ее знакомой гречанке, жившей в Афинах (и тоже говорившей по-русски), что она охотно и сделала.

Наконец, в начале марта, настал день отъезда. На при-

стани нас провожал Цуриков. Вещей с собой взяли немного. Первое впечатление от нашего устройства на пароходе было удручающее. Красавица «Великая Греция» роскошно обставила пассажиров I класса, похуже — II класса. III класс назначался специально для эмигрантов. Для сна были нары в два ряда. На ночь мужчин и женщин разделяли, т.е. женщин помещали в особые отделения. И в мужском, и в женском отделениях были клопы; умывальники и уборные были новые, но часть их была закрыта, а часть загрязнена пассажирами. На день пассажиры III класса выпускались на палубу, так что дни мы с Ниной проводили вместе. Столовая была общая для мужчин и женщин. Кормили довольно сытно греческой простонародной едой (все на оливковом масле). По воскресеньям еда была получше, утром к чаю или кофе давали молоко, торжественно объявляли: «чай, кофе с молоком».

Перед отъездом из Константинополя я купил себе краткий «разговорник» новогреческого языка (не только русские в Америке, но и в Советской России употребляют теперь слово «разговорник»). Благодаря Адольфу (директору Московской V-й гимназии и преподавателю древних языков там), я основательно знал древнегреческий язык, но новогреческого совсем не знал. В «разговорнике» слова были напечатаны латинскими буквами фонетически, вследствие чего трудно было установить какую бы то ни было связь с древнегреческим. Купил я этот «разговорник», чтобы как-то объясняться с пассажирами-греками (которых, как я думал, было большинство) и во время пребывания в Пирее.

В первую же ночь на пароходе меня разбудил сильный толчок, но я сейчас же опять заснул. Когда я проснулся на следующее утро, меня поразила страшная тишина — ни равномерного шума от винтов, ни всплесков воды. Вышел на палубу — пароход стоит, пассажиры в беспокойстве что-то оживленно обсуждают. Наконец мне объяснил один из русских пассажиров, знавший новогреческий язык (или константинопольский грек, знавший русский язык), что пароход ночью сел на мель в Мраморном море, не дойдя до Дарданелл, и что неизвестно, когда снимется с мели.

Из дальнейших объяснений оказалось, что началась забастовка всего греческого флота. Повидимому посадка на мель была актом саботажа. К счастью, погода стояла хорошая, и

мы не очень унывали. Кажется, на третий день нашей стоянки капитан парохода (который, очевидно, в саботаже не участвовал) сигнализировал проходящему мимо английскому буксирному пароходу, что просит помощи. Тот остановился. Капитан наш послал к англичанину одного из своих помощников. Англичанин потребовал большую сумму денег за снятие нашего парохода с мели. Наш капитан не согласился. Тогда англичанин остановился и стал ждать. На следующее утро наш капитан послал сказать англичанину, что согласен заплатить требуемую сумму. Англичанин ответил: «теперь платите вдвое больше» и продолжал стоять на месте.

На третий или четвертый день кончилась забастовка греческого флота и несколько греческих пароходов пришли нам на помощь. Один из них подошел к нашему пароходу и начал нас стаскивать с мели. Канат лопнул. С английского буксира послышались крики «ура» и донеслись всякие насмешки. Греческий буксир стал нас опять тащить — канат снова оборвался. Наконец, при третьей попытке нас вытащили. Теперь греки на всех пароходах стали кричать «ура» и издеваться над англичанами неприличными словами и жестами. Англичанин снялся с якоря и ушел полным ходом.

Скоро после того, как мы вошли в Эгейское море, поднялась страшная буря и качка. Большинство пассажиров, в том числе и я, болели морской болезнью и то и дело подбегали к бортам парохода, а иногда и не успевали добежать. В числе публики были два симпатичных русских еврея, вероятно коммерсанты. Когда они утром выходили на палубу, один из них заботливо осведомлялся у другого:

— Господин Тартаковский, вы уже рвали?

Я лежал все время на каком-то помосте на палубе, еле живой. Нина помнит, как какая-то простая русская женщина сказала ей, указывая на меня: «Старик-то твой... Помирает!» (в деревнях в России мужа часто называли «старик», даже если он не был старым).

До Пирея мы шли несколько дней и оба совершенно измучились. Мысль о том, что в таких условиях нам придется ехать из Пирея до Нью-Йорка еще больше двух недель, приводила нас в ужас, и мы решили попытаться остаться в Афинах.

Приехав в Пирей, мы вынесли с парохода свой скромный багаж и сдали его на хранение на пристани, а затем пошли

разыскивать гречанку, говорившую по-русски, адрес которой нам дала ее константинопольская подруга. Разыскали мы ее довольно скоро. Она приняла горячее участие в нашей судьбе. Оказалось, что один из влиятельных служащих в греческой пароходной компании ее хороший знакомый. Она нас повела к нему, и он добился того, чтобы компания вернула нам деньги за вычетом, конечно, небольшой суммы за проезд от Константинополя до Пирея.

Мы остались в Афинах. Карповичу я телеграфировал в Вашингтон, что мы не приедем.

Г. Вернадский

ГЕНЕРАЛЫ РОА В АМЕРИКАНСКОМ ПЛЕНУ

Много лет тому назад, познакомившись с казачьим генерал-майором С. К. Бородиным и узнав, что он ведет довольно подробный дневник, я просил дать его мне для прочтения. Еще в лагере военнопленных Ганакер (Ландау, Бавария), я знал, что генерал Бородин, вместе с другими генералами РОА, в августе 1945 года был отделен от остальных офицеров и перевезен в лагерь Лансхут, поэтому меня особенно интересовал вопрос — были ли в его записях упоминания о его пребывании в американском плену вместе с генералами Меандровым, Севостьяновым и Асбергом? Записи были. Дневник я тогда же вернул генералу, сделав себе копию и заручившись его согласием сохранить ее для истории. Генерал Бородин давно уже умер, и судьба его дневника мне не известна. Копия же дневника, касающаяся генералов РОА, у меня сохранилась. К сожалению, я не перепечатал весь дневник — это было несколько толстых книжек. Несомненно, они представили бы собой значительный интерес для историка — свой дневник генерал начал вести еще задолго до начала второй мировой войны...

При последнем моем свидании в Мюнхене — это было в конце сороковых годов — я обещал генералу, если это будет возможно, когда-нибудь напечатать его воспоминания и именно так, как они были записаны. Только теперь я смог это сделать, пользуясь любезным согласием редакции «Нового журнала».

ДНЕВНИК ГЕНЕРАЛА БОРОДИНА

30.6.1945 г. Вчера переехали в лагерь второй дивизии РОА в Ландау. Представились генералу Меандрову. Последний сказал следующее:

1. Нам нужно сохранить воинскую организацию для подъема нашего удельного веса в глазах американцев. Штаб ВС

КОНР, вторая дивизия и бригада полковника Койды здесь находится около месяца и своим внутренним порядком, с вечерней и утренней поверками, зарей, проявлением изобретательности хозяйственного характера, выразившейся в выставке кустарных изделий, оборудовании театра, в благоустройстве, дисциплинированности — произвели на американцев хорошее впечатление, вследствие чего декларация о нашем положении пошла в высшие американские органы. Надеемся, что эта декларация принесет хорошие плоды. 2. Неоднократно американцы нас заверяли, что отправки в СССР не будет. 3. Нет ничего достоверного ни о генерале Власове, ни о генералах Трухине и Жиленкове. Вероятно, что генерал Трухин погиб. Убит генерал Боярский. 4. Никаких продовольственных запасов у дивизии нет, поэтому полк не может получить продовольствие на 30.6.* 5. Вследствие большого числа нежелающих ехать в СССР у американцев должен измениться взгляд на СССР. 6. Начинается отправка на работы группами по 20 человек, с одним офицером. 7. Вошли в переговоры, чтобы передать американцам на их попечение инвалидов и стариков старше 60 лет. 8. Офицеры обязаны носить присвоенные им погоны русского образца. Воинское приветствие обязательно.

После длительной беседы, нас, трех гостей генерала Меандрова,** угостили ужином и рюмкой коньяка. На меня генералы РОА произвели хорошее впечатление. Я присутствовал со всеми генералами на вечерней переключке. Стройно подходили, и хороший порядок был в строю у солдат РОА. По сравнению с ними солдаты сводного полка имеют распушенный вид.

2.7.1945. Генерал Асберг вчера рассказывал, как он попал в плен. Он уроженец г. Таганрога. Во время войны, в 1942 г., он был заместителем командующего армией по танковым войскам. Будучи в окружении, он вывел свой танковый корпус и, несмотря на это, ему пришили 58-ю статью и приговорили к расстрелу. Выручил его прокурор, тоже ранее бывший в

* Сводный полк, прибывший вместе с генералом Бородиным, состоял из казачьего дивизиона, 1 и 2 батальонов РОА. Всего — 1650 чел.

** Вместе с ген. Бородиным прибыли генералы Ангелеев и Белгородцев. Все — старые эмигранты. С ген. Меандровым были генералы Севостьянов и Асберг — новые эмигранты.

таком же положении. Вместо смертной казни Асберга снова назначили на такую же должность, но взяли с него подписку, что никакого следствия над ним не было и что в это время он был в командировке... Генерал Асберг на мой вопрос — почему не пользуются случаем, чтобы свергнуть эту ужасную власть, ответил: «У большевиков гибкая политика. Теперь они делают вид возврата к национализму, чем подкупили огромное число молодых патриотов. Кроме того, там такой режим шпионажа, что невозможен никакой заговор».

4.7.1945 г. Генерал Меандров собрал всех офицеров и по 10 человек солдат от каждой роты. Он обратился к ним со следующим:

1. Кто мы? Мы, старая и новая эмиграция, составляем одну общую семью политических противников советского режима на родине. Как политические эмигранты, мы должны добиваться соответствующих прав убежища. Старые эмигранты этим правом пользуются, поэтому они исключены из постановления Ялтинской конференции о возвращении советских граждан в СССР. По этому постановлению, все русские, оказавшиеся после 1939 года за пределами СССР, подлежат возвращению на родину, если они не будут необходимы для американских оккупационных войск. Благодаря этой оговорке, можно всех русских, не желающих возвращаться в СССР, подвести под категорию «нужных американцам». 2. Как показать нам самих себя американцам, чтобы они признали нас за нужных? Для этого необходимо показать свою организованность, дисциплину, внутренний порядок и т.п. Затем — трудоспособность и инициативность, честность и т.д. 3. Некоторые (207 чел.) изъявили желание вернуться в СССР. Список их отослан. Но некоторые из них передумали и желают остаться вместе с нами.

6.7.1945. Говорил с генералом Меандровым о будущем. По его словам, КОНР прекратил свое существование и всё власовское дело закончилось. В лагере ничего политического сделать нельзя, а там — вне лагеря, идет организационная работа по формированию нового центра всей эмиграции. Намечается главой Болдырев, сын генерала Болдырева, 45-летний очень энергичный человек (член НТС. *ВЛ.*). По частным сведениям, к 15-му июля все солдаты выйдут на работы, а к 20-му

июля все генералы и штаб-офицеры будут вывезены из лагеря в г. Ландау на частное положение.

9.7.1945. Сегодня прибыл в наш лагерь американский полковник — инспектор 12-го армейского корпуса, который хотел проверить нашу жизнь в лагере. Он задал следующие вопросы Меандрову: 1) Ведется ли у нас военная подготовка? Ответ: «Нет, не ведется, и в условиях плена ее вести невозможно». Полковник опросил нескольких лиц и получил такой же ответ. Затем, проверил сам и увидел, что одни играют в шахматы или карты, другие изучают иностранные языки, третьи — моторы автомашин и т.д. 2) Ведется ли у вас политическая работа? Ответ: «Нет, никакой политической работы не ведется». 3) Пойдете ли вы воевать с Японией? Ответ: «Да, против Японии, как врага России, пойдем, но для этого нас слишком мало и нужно время на подготовку». 4) Пойдете ли вы против русских? Ответ: «Мы против правительства СССР, но не против русского народа». 5) Согласны ли вы вступить в американскую армию на тыловую службу? Ответ: «Согласны».

Затем полковнику категорически заявили, что в СССР мы не поедem и предпочитаем умереть здесь. Из опросных листов видно, что на 6000 человек приходится только 20 желающих выехать в СССР.

19.7.1945. Сегодня в 10 часов генерал Меандров говорил со штаб-офицерами лагеря:

Цель наша, — основанная на манифесте КОНР, — борьба за установление национального строя в России — на демократических началах. РОА, руководимая генералом Власовым, в составе двух с половиной дивизий, из которых только одна была полностью вооружена, вступила в вооруженную борьбу с Красной армией. Мы были слабы и были вынуждены отступить. 5-го мая, еще до капитуляции немцев, мы вступили в переговоры с американскими войсками. Затем, Меандров прочитал свои обращения к американскому командованию и ходатайство о выпуске из лагеря стариков (20 чел.), гражданских лиц (75 чел.), инвалидов (50 чел.), эмигрантов (300 чел.), подданных других стран (50 чел.).

23.7.1945. Ген. Меандров был вызван к американскому полковнику Кюпл, который задал ему несколько вопросов о жизни в лагере и сказал, что все бумаги, поданные Меандровым, отправлены в Ставку.

26.7.1945. Сегодня последний день существования РОА. Все знаки снимаются.

6.8.1945. Завтра все шесть генералов уезжают «на переговоры» с 102-й американской дивизией в Регенсбург.

7.8.1945. Сегодня генералы выехали в лагерь Поккинг. Приехали в 12 часов. Лагерь окружен высоким и частым забором из колючей проволоки. Много постов. В лагере только немцы.

29.10.1945. Сегодня мы выехали в лагерь Платлинг.

4.11.1945. Выехали из Платлинга и прибыли в Лансхут (только 6 генералов).

19.11.1945. Сегодня Меандров получил письмо от Байдалакова — одного из главных деятелей НТС — общего содержания, но в письме есть слова: «Много радостно-волнующих сведений». Эти слова что-то указывают...

25.11.1945. Ген. Меандров перед сном вскользь рассказал важнейшее из беседы с его «разведчицей» — «своей невестой» (Алла Ширинкина. ВП.):

1. В Вашингтоне образован антибольшевистский центр. 2. Возглавителей НТС в Европе запрашивали из Вашингтона по политическим вопросам. 3. Здесь в Германии есть центр НТС, который усиленно работает. Его представители были уже два раза с визитом у Айзенхауера.

4. Взаимоотношения между США и СССР все более охлаждаются. СССР отказывается от совместного обсуждения вопросов со своими бывшими союзниками. 5. Генерал Власов бездействует. Его или нет в Европе или он не имеет возможности действовать. 6. Сталин отстранен от всякой политической работы и заменен Ждановым. 7. Маршал Жуков прибыл в Вашингтон и там заболел.

30.12.1945. Жена генерала Асберга сообщила, что она в Аугсбурге говорила с американским полковником Мариусом, хорошо говорящим по-русски. Мариус сообщил, что американцы теперь окончательно уяснили, что такое РОА. Это — не то, что старые эмигранты. Те — идейные люди, а чины РОА — наемники немцев, изменники родины. Все невозвращенцы разделяются на три группы. Первая — старые эмигранты. Они будут освобождены. Вторая группа — нижние чины и младшие офицеры РОА. Третья — генералы и штаб-офицеры. Последняя группа будет выдана американцами СССР.

После таких вестей генералы Асберг и Меандров приуныли. Генерал Севостьянов отнесся к этой версии недоверчиво и полностью ее отверг. Я лично тоже отнесся отрицательно.

4.1.1946. Вчера приходил полковник Хеккель.* Зашла беседа о будущем нас — русских антибольшевиков. Генерал Асберг сказал Хеккелю:

«Между нами и вами огромная разница. Вы можете жить в любой зоне на вашей родине, не рискуя жизнью. Вы можете, находясь в плену, готовить себя к какой-либо новой деятельности. Вы недоумеваете, почему мы, русские генералы, не налагаем на изучение немецкого и английского языков. Да нам нет охоты этим заниматься, так как мы не знаем, что нас в скором времени ожидает. Мы ежеминутно можем быть выданы советам, от которых нам не будет никакой пощады. Там нас ждет одно — смерть с предварительными мучениями и издевательствами. Поэтому-то мы и думаем, что в случае угрозы выдачи, лучше уж тут покончить жизнь самоубийством... Вот когда нас выпустят из-за проволоки и предоставят возможность попасть под защиту местных властей и обеспечить себя от разбойничьих нападений гуляющих по американской зоне советских молодцов, — тогда мы усиленно займемся подготовкой к какой-либо профессии или деятельности. Но мы знаем, что там, где американцы передают власть немцам, немцы притесняют русских и содействуют выдаче нас советам. А ведь должно было бы быть наоборот: немцы должны были бы всячески помогать русским и укрывать нас, так как мы или работали на заводах и фабриках, или служили в немецкой армии, или дрались бок о бок с ней в качестве союзников. Мы помогали вам, немцам, а вы за эту помощь гоните нас... Где же справедливость? Где для нас выход?»

Вечером, полковник Хеккель объявил нам приказ американского командования: а) О запрещении принимать на частную и общественную службу всех русских беженцев, бывших

* По установившейся традиции в лагере Лансхут, генералы РОА иногда приглашали к своему ужину немецких офицеров-военнопленных. Бывали говорящие по-русски — полковник генерального штаба Лебели и майор Меле. Часто заходили к генералам полковник Хеккель, майор Швейнигер (бывший офицер связи при первой дивизии РОА), а также и др. офицеры.

до 1.9.1939 г. советскими подданными. б) Тоже бывших до 22.6.1941 г. в Советском Союзе. в) Все советские граждане, согласно постановлению Ялтинской конференции, подлежат репатриации.

ПИСЬМО ГЕНЕРАЛА МЕАНДРОВА

4.1.1946.

В американском «плёну» в лагере Ландсхут. Я поставил слово «плен» в кавычки. Нас называют военнопленными, но это бессмыслица. Прошло 8 месяцев после окончания войны. Могут ли существовать пленные, когда нет войны? Обычно они распускались, как только кончалась война. В древние времена пленных превращали в рабов. Это было естественно, так как они считались военной добычей. А теперь? Непонятно, непостижимо! Мероприятия для установления вечного мира? Какой абсурд! Хотят достигнуть мира насилием, унижением побежденных, террором. Этими методами покоряют, мир — это согласие, равенство, свобода. И эти великие принципы подлинного гуманизма должны были быть соблюдены при умиротворении мира. Прикрываются святыми словами, а творят бесчеловечное. Где же демократизм, о котором так много говорят и которым гордятся, как существующим. Я не вижу его. Где христианство, о котором проповедуют? Его основы попираются.

Итак, по воле победителей, мы в плену. Мы, русские, которые воевали вместе с американцами и англичанами против общего врага, воевали в самый трудный момент и честно выполняли свой долг. Многие из нас имели высокие награды, многие попали в плен ранеными. И теперь — мы враги своих союзников. Да, они так нас считают...

Нас обвиняют в измене и называют наемниками немцев. Нас легко можно обвинить в этом, если судить внешне и не понять нашей борьбы. Мы готовили себя для борьбы, как третья сила, не немцам помогали мы! Им уж, как говорят, «ни Бог, ни черт помочь не мог», когда мы собирали свои силы. Мы должны были выступить, когда судьба Германии была уже решена. Условия для нашей борьбы были невероятно тяжелы и сложны. Мы вооружались в стане врага своей родины. Внешне, повторяю, конечно, измена. Были допущены крупные

ошибки, непростительные компромиссы. Но в каком деле этого не бывает? Вникая глубже в наши планы, понимая все более нашу цель и задачу, узнавая доподлинную сущность большевизма, зная истинное положение в России и тяжесть бремени русского народа — ни один честный человек не бросит нам возводимых на нас обвинений. Мы не оправдываемся. Нас оправдает история. Если восторжествует чисто формальный, поверхностный взгляд на наше движение — мы погибнем. Но не погибнут наши идеи. Они — доподлинно народные, в них отражаются вековые стремления русского народа к действительной социальной справедливости и истинной свободе. Наши идеи не погибнут потому, что их уже воспринял наш народ, и он увез их, возвращаясь на Родину. Настанет время, и искра правды народной, проникая в сердца русских, возгорится ярким пламенем. Придет время, и те, кто считает нас врагами и преступниками, изменят мнение о нас и назовут нас достойным именем. Тяжело, если мы не дождемся этого времени. На это есть, к сожалению, веские основания. Атмосфера вокруг русских, не желающих вернуться на Родину, сгущается. Вот уже 8 месяцев, как мы живем между жизнью и смертью. Мы ждем приговора демократических стран и в первую очередь Америки и Англии. Он скоро будет вынесен, вероятно. На его решение влияют враждебные нам силы. И, может быть, они победят. Тогда мы будем приговорены к смерти. Она нас ждет при насильственном возвращении в Советскую Россию. Конечно многие предпочтут умереть здесь.

Видные представители американской армии заверили нас, что мы не будем насильно отданы Советскому Союзу. Так командир 104-го полка 26-й дивизии полковник Ханфорт, на участке которого в районе Круммау мы перешли американский фронт, неоднократно в личной беседе со мной подчеркивал, что мы под защитой американцев и нам не следует беспокоиться. Больше того. Когда 24-го мая прибыли советские представители и предложили нам выслать представителя для переговоров о переходе на их сторону, то адъютант полковника Ханфорта сказал мне, что этого не следует делать. «Вы вверили свою судьбу американцам и будьте спокойны!» Надо полагать, что они говорили не свои слова. Это подтвердилось и действиями. Скоро нас перевели глубже в тыл, во Фридберг, а затем перевезли в лагерь около Ландау. В этом лагере у нас

часто бывал командир зенитной бригады полковник Пекон. Он всемерно шел навстречу нам, улучшая бытовые условия. От него также слышали мы успокаивающие слова. И все заверения американских офицеров не оправдываются. Отношение к нам начинает ухудшаться.

Советский Союз принимает все меры к нашему насильственному возвращению. Мы не должны оставаться за рубежом. Наше нежелание вернуться на родину является живым показателем для всего мира, что там не всем легко-свободно живется, как об этом кричит советская пропаганда. Ведь нас не десятки, а тысячи! Тысячи изменников родины? В истории русского народа этого никогда не было. Какая же причина такой массовой «измены»? Никто, видимо, не хочет задуматься над этим а, может быть, обходят это, не желая портить отношений с Советским Союзом... По воле демократов, с их согласия и даже с их помощью, на русской земле прольется еще поток крови... Ее, эту кровь, советское правительство постарается скрыть, но не надолго. Она просочится наружу и темными пятнами покроет демократические лозунги свободлюбивых стран. Мы же сумеем умереть достойно.

М. А. Меандров

5. 1. 1946. Неожиданно в наш лагерь прибыл полковник Красной армии. Он каждого из нас — шести генералов — по одиночке кратко опрашивал — чин, имя, отчество, фамилия, дата и место рождения, вскользь о прошлой военной службе. При этом с эмигрантами ни о чем не разговаривал, а с генералами РОА беседовал больше и даже переходил на угрозы: «Если добровольно не вернетесь, то мы вас приведем на веревочке». Опрос производился в присутствии американского солдата из поляков, понимающего по-русски. Последний доложил о резкости разговора американскому коменданту лагеря, и тот пришел к нам в комнату узнать подробности. Коменданту было заявлено, что в случае выдачи генералов Меандрова, Севостьянова и Асберга советам, все три генерала здесь же покончат жизнь самоубийством. После ухода коменданта, посоветовавшись с полковником Хеккелем, майорами Швейнингером и Крюгером, решили написать, почему все три генерала оказались в РОА в стане противников большевизма и в заключение просить о выдаче верно действующего яда для самоубийства.

6.1.1946. Сегодня у нас были генерал Зегерс, полковник Хеккель, майоры Швейнинггер и Крюгер. Майор Крюгер сообщил, как к нам попал полковник Фроменков. Он прибыл утром 5.1 и пожелал свидания с нами, но у него не было письменного на то разрешения, и его не допустили в лагерь. Тогда он поехал в штаб американской армии и оттуда привез это разрешение.

У меня складывается мнение, что Фроменков теперь ничего больше сделать не может — после поданного коменданту заявления трех генералов с объяснением, почему они не хотят возвращаться в СССР, а также заявления коменданта, что он не допустит насильственного увоза генералов РОА. Я это высказал, но они со мной не согласились. Тревога моих трех созаключенных генералов РОА не уменьшается...

По случаю праздника Рождества Христова к нам попало поздравление Инициативной группы. Меандров, вероятно, знает, кому принадлежат строки этого поздравления, и он сказал: «Его нужно сжечь». А для чего сжечь? Вот он сжег текст обращения трех генералов РОА к коменданту, а зачем? Это только свидетельствует о малодушии. Этим трем угрожает опасность, и они стремятся от нее уклониться. Но ведь вы, господа генералы РОА, борцы за родину. А разве вы не знаете, что борьба влечет за собой жертвы? Так вы боитесь стать жертвой этой борьбы? Тогда вы не борцы, а игроки в борьбу. Как не могли вы бороться за Россию в 1917-1920 гг. и тогда, помогая большевикам, толкали Россию в пропасть, так не можете вы за нее бороться и в 1941-1946 гг. Это мое утверждение не относится ко всем казакам всех рангов, многим рядовым и офицерам РОА, но относится к старшим чинам верхушки РОА: у них не хватает умственной и душевной проникновенности в сущность борьбы, не хватает и силы воли до самопожертвования включительно и слишком в изобилии у них жажда к личному благополучию.

9.1.1946. Записываю мой разговор с генералом Севостьяновым:

— Скажите, Андрей Никитич, когда в Бутырках на допросе следователь чернильницей раскромсал вам нос, вы тогда не были лишены офицерского чина?

— Нет. Я был «комбригом».

— Вас виновным не признали и выпустили на свободу. Значит, вы не только без вины просидели в заключении год, но еще вас на допросах истязали. Могли вы привлечь следователя к законной ответственности за истязания?

— Какой вы наивный! В СССР нельзя было куда бы то ни было жаловаться или привлекать к ответственности истязателей, принадлежащих к господствующему классу — компартии. Ведь в СССР диктатура пролетариата. Диктатура эта переложена с пролетариата в целом на диктатуру компартии, а с компартии переложена на ее главного секретаря и всецело от него зависящих лиц, управляющих всем. Генеральный секретарь компартии Сталин. Вся диктаторская власть, без малейшего ее ограничения, принадлежит ему. А так как он один не может всем управлять, то ему помогает администрация, на которую частично возложена диктаторская власть, и если бы я пожаловался на следователя, это было бы протестом против диктатуры пролетариата, так как и следователю принадлежала часть этой диктаторской власти, т.е. часть произвола, ибо диктатура тем и отличается от всякой другой власти, что она ничем и никем не ограничена, произвольна и безнаказанна, какие бы преступления ни совершали ее представители. И если бы я пожаловался, меня бы объявили контрреволюционером, т.е. действующим против существующего государственного строя, а контрреволюционер — это изменник родины. А за измену родине — наказание известное... И не только нельзя жаловаться, но и нельзя об истязаниях никому говорить, не рискуя жизнью. От нас, выпущенных из тюрьмы, берут подписку, что мы никому и нигде ничего не будем говорить, что с нами было во время следствия. Просидев в ужасных условиях заключения этак с годик, так радуешься свободе, что за эту дарованную свободу готов всем все простить. Ведь такой выход из заключения, даже и с поврежденным от истязаний телом и исковерканной душой, равносителен почти восстанию из гроба. Человек был год мертвым и вдруг воскрес! От радости воскресения забываются все пережитые горести жизни...

— Но ведь это полное обезволивание всего русского народа. Ведь при таких условиях никто не может сказать «нет», а будут только говорить «да».

— Это так. Отсюда и все признания на суде обвиняемых. Признаются во всем, чего хочет власть от обвиняемого. Признаются — лишь бы прекратились истязания. Знают, что признание ведет к смерти, но признаются потому, что смерть легче досмертных мучений заключенных. Смерть — момент, а досмертные мучения длительны и тяжки.

— И все-таки, несмотря на такие ужасные условия жизни, в которых находится всякий человек в СССР и, следовательно, всякий офицер Красной армии, эти офицеры 25 лет служат верой и правдой такому ужасному режиму?

— А как протестовать? Попробуйте! Вы можете протестовать только в душе, а не на словах, не говоря уже на деле. В СССР можно молча погибать, но нельзя ничего сделать для свержения этого проклятого, дьявольского режима. А вы тут, за границей, живя в эмиграции, надеялись на свержение режима внутренними силами. Химера!

Андрей Никитич замолк. Но каждый из нас шести думку свою думал. Придет время, когда из случайных высказываний о всем святом, всем затаенном в сердцах, удастся сделать общую сводку и записать ее в назидание кому следует...

Душевный кризис трех генералов РОА прошел... Несмотря на то, что я высказывал мнение, что их положение не так опасно, как это раздувает Асберг, который влияет и на Меандрова, эти два из трех совершенно серьезно обдумывают всякие способы побега.

Сегодня майор Крюгер сообщил, что есть приказ по 15-му американскому корпусу, в котором говорится, что советским офицерам позволено посещать русские лагеря и предлагать русским добровольно возвращаться в СССР, но никакой насильственной отправки в СССР не может быть. Копию этого приказа майор обещал дать нам.

Американский комендант лейтенант Луи, получил заявление трех генералов РОА о выдаче им яда. Это произвело на него сильное впечатление, и он заверил нас, что при возможных попытках представителей СССР насильно или обманом увести генералов РОА, он примет необходимые меры, чтобы не допустить такой попытки.

Приказ по 15-му американскому корпусу указывает, что американцы перестают быть безразличными зрителями совершающегося в СССР и, может быть, дадут возможность рус-

ским противникам большевизма по-человечески существовать за пределами родины.

14. 1. 1946. Сегодня снова нас посетил полковник Фроменков, вместе с комендантом и солдатом-поляком. Все трое вошли в нашу комнату. Фроменков с улыбкой сказал: «Здравствуйте!» и показал глазами на генерала Асберга. «Этот?» — жестом спросил комендант. Фроменков утвердительно качнул головой. «Всем остальным выйти!» — сказал комендант, и пять генералов вышли из комнаты. Фроменков стал уговаривать Асберга ехать добровольно на родину, обещая не расстреливать всех троих, причем сказал, что «Севостьянов старик, он менее других интересует нас». Асберг категорически заявил и за себя и за генералов Меандрова и Севостьянова: «Только трупы можете взять!» На что Фроменков ответил: «Последний раз предупреждаю вас. Если добровольно возвратитесь, вас не расстреляют, хотя наказание и понесете. Будете упорствовать — мы найдем способ законно увезти вас!». После этого разговора Фроменков уехал.

Асберг и Меандров взволновались и мрачно ходили по комнате. Севостьянов отнесся ко всему спокойно. Я высказал вслух следующее соображение:

«Все вы трое в глазах советов — преступники, и возраст не оправдание «преступности». Вероятно, Фроменкову известно, как кто из вас переживает его угрозы. Так как Севостьянов относится ко всему спокойно, то Фроменкову ясно, что его уговоры на Севостьянова не действуют, а на Асберга и Меандрова — действуют. Особенно на Асберга. Поэтому он продолжает путем давления на психику принуждать их «добровольно вернуться».

Для меня ясно, что у Фроменкова нет никаких законных и незаконных способов взять этих трех генералов. Поэтому он и применяет энкаведистскую систему давления на психику, чтобы добиться своей цели. Ему, вероятно, также угрожают за невыполнение задачи. Поэтому-то он и говорит: «Я не запугиваю вас. Я только принимаю все меры для облегчения вашей участи». С каких это пор большевики стали милосердными? Любопытно, как поступят эти генералы, противники большевизма, двадцать пять лет служившие на укрепление и усиление его? Не верю я в их «противность», не верю и в «противность» Власова. Все эти чины головки РОА попали в

орбиту антибольшевизма по личным, а не по идейным соображениям. Если бы по идейным, то они должны были бы вернуться на родину и там действовать антибольшевицки. Но они предпочитают «действовать» из-за границы, причем думают только так жить за границей, чтобы ничем не проявлять себя. Правда, они говорят, что «открыто мы не можем выступать против советской власти — это было бы пропагандой, которая американцами запрещена, но мы будем действовать подпольно». Этому я тоже не верю. Тогда почему бы эту «подпольную» работу не вести им там, на родине? Говорят, что там, по условиям жизни, это невозможно. Но тогда какая же цена подпольной работе из-за границы? Нет, если они не могли и теперь не могут там, на родине, бороться с советской властью, то не могут они вести борьбу подпольно и из-за границы. За границей единственная возможность борьбы с большевизмом — это разоблачение его лживости и других отрицательных сторон. Но это нужно делать явно, не боясь возмездия. А эти «борцы» на такую борьбу не способны. Польза от них в деле борьбы с большевизмом только та, что они не хотят в СССР возвращаться и этими, хотя бы случайными, рассказами правды о большевизме, будут создавать у других народов антибольшевистское настроение. А от заграничной подпольной работы не может быть никакой пользы...

21.1.1946. Сегодня по радио получена следующая весть: в лагере Дахау американцы приступили к насильственному вывозу в СССР. Началось противодействие. 10 человек покончили с собой, 133 тяжело ранили себя, 257 — легко. Раненые и остальные забаррикадировались в бараках и подожгли их, желая сгореть заживо. Других подробностей нет.

22.1.1946. Появилось в немецких газетах освещение событий в Дахау. 10 покончили самоубийством, 21 тяжело раненых, 271 легко раненых. Все забаррикадировались в бараках и пытались сжечь себя. Были применены слезоточивые газы... Все эти люди — бывшие солдаты, сражавшиеся с большевиками на стороне немцев — отдельными батальонами, не входившими в состав РОА. Это были самые активные, самые бескомпромиссные русские противники большевизма. Они пошли вместе с немцами, не добываясь от них никаких политических выгод. Для них было ясно только одно: никакая иностранная власть, никакая в мире человеческая группа не может быть

хуже большевиков. Потому каждый, борющийся с большевизмом — их союзник. У них была простая формула политических убеждений: «Хоть с чертом, да против большевиков!» Это — русские люди, совершенно не боящиеся смерти. Им не смерть страшна у большевиков, а то угнетение и произвол, которые царят там. Самоубийство их здесь, в американской зоне, произведено вполне сознательно, вследствие невозможности иным способом выразить протест против непонимания американцами существа большевизма в СССР.

23.1.1946. Мои созаключенные до сих пор еще находятся под гипнозом неизвестности своей судьбы и под влиянием двух внутренних сил — чувства самосохранения и чувства долга борца. Асберг давно поддался влиянию первой силы, Меандров и Севостьянов — второй силы. Для действительной, а не художественной иллюстрации, записываю ответ Меандрова на вопрос:

ПОЧЕМУ Я НЕ УБЕГАЮ ИЗ АМЕРИКАНСКОГО ЛАГЕРЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ?

Этот вопрос неоднократно задавали мне многие, и я решил обстоятельно ответить на него. Еще до окончания войны наши части добровольно перешли на сторону американских войск. Мы верили, что великая демократическая нация, в лице американского командования, поймет нас и даст нам политический приют. Мы вверили свою судьбу американцам и, я полагаю, надо быть последовательным и добиваться благоприятного для нас решения вопроса о нашей судьбе.

Мне могут возразить, что прошло уже более восьми месяцев и наша судьба не решена. Более того, были случаи насильственной репатриации. Да, единичные случаи были, но общего и окончательного решения о русских невооруженцах еще нет. Его нужно ждать. Долго ли? Не знаю, но глубоко убежден, что спокойствие, выдержка, организованность нам помогут больше, нежели индивидуальные попытки побегов из лагерей и нелегальная жизнь на свободе. Наоборот, последнее ухудшит судьбу многих.

Медленное разрешение нашей судьбы является следствием нашей вины. Вины руководителей движения. Они не могли поставить в известность правительства и общественность де-

мократических стран о сущности нашего политического движения, зародившегося в стане врага. Если бы о нем знали и правильно понимали нас, хотя бы в период Ялтинской конференции, — ее решения о репатриации были бы вероятно иными...

Наше движение зародилось стихийно. Это особенно важно понять. Десятки тысяч людей, без всякого руководства, движимых собственным сознанием неправды своего бытия, выступили на борьбу против власти, которую они считали не-народной, несправедливой. Если нас можно обвинять, то разве только в том, что мы поздно, слишком поздно приступили к организации этого стихийного народного протеста. Им воспользовались немцы в своих захватнических целях, и русский народ, без руководства, слепо, обманутый лозунгами германской пропаганды, проливал братскую кровь...

Я сделал это отступление от поставленного мной вопроса для того, чтобы подчеркнуть исторические традиции борьбы русского народа за правду и стихийный, доподлинно народный характер нашего движения... Мы не преступники потому, что нас десятки и сотни тысяч, и мы руководствовались не личным, а народным благом, благом Родины. Из-под стражи бегут люди, осужденные или боящиеся правосудия. За нами нет вины, и мы готовы выступить перед судом доподлинно демократических стран. И мы будем оправданы. У нас есть веские основания говорить так.

Нужно ли в этих условиях бежать из лагеря и скрываться от законного преследования американской полиции? Конечно, нет! Я считаю, что своим побегом я добился бы только обратного. Этим поступком я показал бы, что считаю себя виновным и бегу от наказания...

Сидеть за проволокой тяжело. Мы все находимся между жизнью и смертью, ждем решения нашей судьбы и всегда готовы к смерти. Приезд советских представителей, их уговоры, кончающиеся угрозами, мрачные слухи... Временами кажется, что уже нет сил переносить зловещую неопределенность нашего положения. Усилиями воли поддерживаешь в себе надежду, что судьба разрешится благоприятно для нас. Чувство самосохранения свойственно каждому человеку. Оно нашептывает заманчивое: «Беги, будешь свободен, будешь жить!» Это период слабости душевной. Ее нужно побороть

и быть готовым умереть, если не получишь законную свободу. Умереть достойно, спокойно, с твердой верой, что наша правда народная в конце-концов победит и русский народ будет и великим и свободным. Так надо и так будет.

М. А. Меандров

Я — эмигрант. Я с 1917 года активный борец с большевизмом. Для меня не может быть никаких колебаний, никаких сомнений, никаких «опаздываний», никаких опасений за жизнь, никаких укрытий под ложные личные документы. И для меня тягостно было наблюдать за тремя генералами РОА, повесившими нос, опустившими голову, впавшими в задумчивость и в предположения о побеге.

Какие же вы борцы, если при малейшей вашей личной опасности дрожите за свою жизнь? — думал я, наблюдая за ними. Но сказать им открыто свой упрек я не мог, не желая возникновения взаимоотноуждения и раздора, ведь рано или поздно лица второй эмиграции должны будут слиться с людьми первой эмиграции и действовать согласованно. Но я косвенно пытался повлиять на них, чтобы они перестали дрожать за свою судьбу. То указывал на наиболее душенатраженные места книжки о. Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе», то на свиданиях и в разговорах с посетителями громко и уверенно говорил: «Никакого смысла нет убегать. Все равно, нас рано или поздно выпустят на свободу. Убегать — это скрываться под чужим именем и отказаться от открытой, гласной борьбы с большевизмом. Убегать — малодушествовать». В комнате № 22 я говорил громко, ни к кому не обращаясь и никого не задевая: «Нужно ведь было предвидеть худшее и быть к нему готовым. Борьба требует жертв».

Сегодня, выражая свою твердость и отбросив колебания, Севостьянов сказал «От судьбы не уйдешь» и спокойно продолжал раскладывать пасьянс. Остался один Асберг, страдающий, мечущийся и постоянно заявляющий: «Что же? Быть кроликом? Благодарю!». Но и он только страдает от воображаемой опасности, но ни на что не решается. Асберг, кажется, ни на какую борьбу с большевизмом не годен — у него нет на то других данных, кроме личной обиды. На самопожертвование же могут идти люди, у которых преследуемая ими идея ценнее личных благ и личной жизни. Генерал Асберг слиш-

ком дорожит личными благами. Асберг — случайный противник большевизма, не идейный, хотя и не думающий о каком-либо с ним компромиссе.

3.2.1946. Было много посетителей к Меандрову, Севостьянову и Асбергу. Ко мне приходил Монастырский.

5.2.1946. До обеда нас неожиданно позвали в бюро лагеря. Чрез полчаса к бюро подъехали автомобили, из которых вышли три американских и три советских офицера. Советские были: тот же полковник Фроменков, еще один полковник и женщина-лейтенант. Первым вызвали Асберга и последним меня. Нас, эмигрантов, спрашивали — чин, имя, фамилию, когда и где родился, когда покинул родину и где находился в 1939 г. Особое внимание обращали на подданство.

После допроса у нас отобрали все вещи до записной книжки, расчески и очков включительно. Не допустив возвращения в комнату, повели всех шестерых под конвоем в прежний лагерь, где всех рассадили по отдельным комнатам и приставили к каждому заключенному по часовому.

6.2.1946. Сегодня М. А. Меандров пытался покончить жизнь самоубийством, разбив стекло комнаты и пытаясь стеклом перерезать горло. Это ему не удалось: помешал наблюдатель-часовой, который, как и в других комнатах, находился в комнате безотлучно. Меандрова, сильно окровавленного, отвезли в лазарет. Круглые сутки горит электричество. Стража усилена — в каждой комнате по два полицейских.

10.2.1946. Сегодня день посещений. Приходили наши друзья со свободы. Были огорчены отсутствием нас у сетчатого забора. С ними коротко говорил полковник Хеккель, сообщил о нашем положении и принял «передачи». Сегодня меня американский солдат позвал в комнату Севостьянова в качестве переводчика с немецкого языка. Говорилось о яде, который просили три генерала РОА у коменданта лагеря. «Это невозможно», — заключил американский солдат. Севостьянов заметно осунулся, но вид у него спокойный. Виделся в уборной с Асбергом. Тот не изменился. Он сказал, что скоро нас передадут советам.

12.2.1945. Меандров вернулся из лазарета. Виммер (немецкий солдат. В. П.), приносивший наш паек, сказал, что ожидается выдача всех нас.

13.2.1946. Сегодня Хеккель сообщил: — Меандрову — что в лиге Наций был поднят вопрос о недопустимости насильственной передачи советам их политических противников. Поправка Вышинского «кроме изменников родины и военных преступников» была отклонена; мне — майор Крюгер говорил с комендантом лагеря. Надеюсь, что вы скоро возвратитесь в общий лагерь. Эти вести ободрили заключенных. Я уверился, что «темная страничка» американского плена скоро перевернется и генералы спасутся от ожидаемой ими гибели.

14.2.1946. Неожиданно, около 5 часов дня, появились две машины — американская и советская, на которые забрали бывших советских подданных, а эмигрантов перевели в прежнюю комнату № 17 общего лагеря. Позже к нам пришел майор Крюгер, который сообщил, что машины разделились и русских генералов в американском грузовике повезли в Дахау, а советские офицеры уехали «восвояси». Появилась надежда на спасение наших друзей. Возможно, что в Дахау им удастся доказать, что они не военные преступники, а политические противники СССР.

10.3.1946. Сегодня получены достоверные сведения, что генералы Меандров, Севостьянов и Асберг 14.2 были переданы советам. Погибли три русских патриота...

Это известие произвело на нас гнетущее впечатление. Невольно явились вопросы: «Почему не бежали из предыдущих лагерей и особенно из лагеря Ландау?». Как ни думай о наших трех товарищах по несчастью — их жаль, и о них можно думать только с хороших точек зрения. Да забудутся их недостатки и да возвысятся их достоинства!

11.3.1946. Сегодня нас вызвали в бюро лагеря. Там была комиссия из американских и советских офицеров. Она должна была точно установить — не советские ли мы генералы? Нас отпустили. Они искали генералов Богданова и Мальцева.

В. Поздняков

С. В. РАХМАНИНОВ

1

В сентябре 1901 г. родители наконец уступили моим просьбам и разрешили мне выйти замуж за С. В. Теперь оставалось только получить разрешение от властей имущих, а это было очень трудное дело из-за нашего близкого родства с С. В. За хлопоты со свойственной только ей энергией взялась, конечно, мама. Хлопоты ее продолжались всю зиму и только в марте выяснилось, что надо обратиться с прошением к государю. Свадьба была отложена до конца апреля из-за наступившего Великого Поста.

В начале апреля С. В. поехал к моему брату, жившему в Ивановке, и принялся за сочинение 12 романсов, решив сочинять ежедневно по одному романсу, чтобы набрать денег на нашу поездку в Италию после свадьбы.

Мы венчались 29 апреля 1902 г. на окраине Москвы в церкви какого-то полка. Я ехала в карете в венчальном платье, дождь лил как из ведра, в церковь можно было войти пройдя длиннейшие казармы. На нарах лежали солдаты и с удивлением смотрели на нас. Шаферами были А. Зилоти и А. Брандуков. Зилоти, когда нас третий раз обводили вокруг анаоя, шутя шепнул мне: «Ты еще можешь одуматься. Еще не поздно». С. В. был во фраке, очень серьезный, а я, конечно, ужасно волновалась. Из церкви мы прямо проехали к Зилоти, где было устроено угощение с шампанским. После этого мы быстро переоделись и поехали прямо на вокзал, взяв билеты в Вену.

В Вене мы прожили около месяца. Это была моя первая

Мы продолжаем печатать отрывки из воспоминаний покойной жены С. В. Рахманинова, Наталии Александровны, любезно предоставленные нам ее сестрой Софией Александровной Сатиной, за что приносим С. А. глубокую благодарность. РЕД.

поездка за границу. Все, что я видела, было так интересно. Мы много гуляли, были в театре, С. В. был раз в опере и пришел в восторг от исполнения «Тангейзера» под управлением Бруно Вальтера. Рассказывал мне, как чудно звучали струнные в оркестре после арии «Вечерняя звезда». Из Вены мы поехали в Венецию. Какая красивая дорога была при переезде в Италию. Какие горы!

Приехав в 11 часов вечера в Венецию, я была поражена, тем что, выйдя из вагона и пройдя вокзал, мы прямо сели в гондолу. Остановились мы очень шикарно в Гранд-Отеле на Канале Гранде. Боже мой, как все это было хорошо и красиво. Луна, пение, раздававшееся с гондол. Как хорошо поют итальянцы! Я была в восторге. Мы, конечно, осматривали город. Видели Палаццо Дожей, видели страшные ямы, в которые сажали узников. Кормили голубей на площади св. Марка. Ездили в Лидо на пароход, а обратно — в гондоле.

Из Италии поехали в Швейцарию, в Люцерн, где прожили около месяца на горе Зонненберг. Оттуда мы поехали в Байрейт на Вагнеровский фестиваль. Билеты на этот фестиваль нам подарил, как свадебный подарок, Зилоти. Слушали там оперы «Летучий голландец», «Парсифаль», и «Кольцо Нибелунгов». Встретили там Станиславского и художника Серова. Дирижировали этими операми Мук, Рихтер и, кажется, Зигфрид Вагнер. Вся байрейтская атмосфера с постоянными напоминаниями в разных тавернах о героях вагнеровских опер была мне очень интересна. Из Байрейта мы отправились в Москву, а оттуда домой в Ивановку, где и провели конец лета.

Осенью мы вернулись в Москву. Надо было искать квартиру. Мы поселились в небольшой квартире на Воздвиженке. Этой зимой С. В. сочинил свои Вариации на Прелюдию Шопена. А весной в мае у нас родилась дочь — Ирина.

С. В. трогательно любил вообще детей. Гуляя, он не мог пройти мимо ребенка в коляске не взглянув на него и, если это было возможно, погладить его по ручке. Когда родилась Ирина, восторгу его не было конца. Но он так боялся за нее, ему все казалось, что ей надо как-нибудь помочь; он беспомощно ходил вокруг ее колыбели и не знал за что взяться. То же было и после рождения нашей второй дочери Тани, четыре года позже. Эта трогательная забота о детях, нежность

к ним продолжалась до самой его смерти. Он был замечательным отцом. Наши дети обожали его, но все-таки немного и побаивались, вернее, боялись как-нибудь обидеть и огорчить его. Любовь детей к С. В. это то, чем я могу похвастаться. Для них он был первым в доме. Все шло в доме — как скажет папа и, как он к тому или другому отнесется. Когда девочки выросли, С. В., выезжая с ними, любовался ими, гордился тем, как они хорошо выглядели. То же отношение у него позже было к внучке и внуку.

С осени 1904 г. по март 1906 г. С. В. был поглощен работой в Большом Театре. О ней я скажу потом, когда остановлюсь на его артистической деятельности, а теперь перейду к нашему пребыванию в Италии.

Когда в конце марта 1906 г. С. В. освободился от работы в Б. Т. и от других взятых на себя обязательств, мы поехали во Флоренцию, а в середине мая сняли дачу в Марина ди Пиза. Мы были очень счастливы пожить тихо и спокойно около моря.

К нашей даче часто приходила итальянка с осликом, который вез небольшой орган. Женщина заводила его, и раздавалась веселая полька. Эта полька так понравилась С. В., что он записал ее, а потом переложил ее на ф.п. Так создалась т.н. «Итальянская полька», которую мы часто играли с ним в четыре руки. Потом она была переложена С. В. для духового оркестра по просьбе одного из братьев Зилоти, который предложил С. В. дирижировать Духовым оркестром Морского Ведомства, или прослушать исполнение этого оркестра, не помню точно. Знаю, что играли они ее здорово, но никаких оттенков, которых хотел добиться от них С. В., получить не удалось. Много лет спустя мы слышали эту польку летом в Центральном парке Нью-Йорка.

В Июле мы вернулись из Италии прямо в Ивановку. Хорошо отдохнув от всех принятых на себя обязательств, С. В. отказывался от новых предложений, которые шли к нему со всех сторон. Были даже приглашения в Америку. Но С. В., по-видимому, неудержимо тянуло к творческой работе и о концертах он не хотел даже думать. Его пугала и жизнь в Москве; суэта, постоянные телефонные разговоры, сильно увеличивающееся число друзей и знакомых — все это не давало ему необходимого для этой работы покоя. Он искал уеди-

нения и поэтому решил уехать за границу. Его привлекал в эти годы порядок, который царил в Германии, и он решил поселиться в Дрездене, в котором мы и провели три зимних сезона, возвращаясь каждое лето в Ивановку.

Выбор С. В. оказался удачным. Живя три зимы в Дрездене, он написал там свою 2-ю симфонию, симфоническую поэму для оркестра «Остров мертвых» на сюжет картины Бёклина, сонату для ф.п. и один акт оперы «Монна Ванна». Дрезден оказался симпатичным и музыкальным городом. Мы жили в прекрасной двухэтажной вилле с большим садом недалеко от центра города.

В течение нашей первой зимы в Дрездене С. В. много работал. Никто не отвлекал его от занятий, и он, по-видимому, был удовлетворен тем, как мы устроились в Дрездене. В мае ему все же пришлось прервать работу, т.к. он был приглашен Дягилевым участвовать в Париже в концертах «Русской Музыки». Дягилеву удалось организовать серию концертов, в которых участвовали Римский-Корсаков, Скрябин, Глазунов, Шаляпин, Никиш и др. артисты. С. В. выступал как пианист, дирижер и композитор. Накануне его отъезда я с Ириной уехала в Москву, а по возвращении С. В. из Парижа мы все поспешили в Ивановку.

Вторая зима — 1907-1908 — проведенная в Дрездене прошла спокойно. С. В. продолжал усиленно работать. Зимой он познакомился и близко сошелся с Н. Г. Струве, молодым музыкантом, жившим с семьей в Дрездене. Струве вели светский образ жизни, и у них было много знакомых в дрезденском обществе.

Раз Струве пригласили меня на бал. Я этому очень обрадовалась, т.к. проводила в Дрездене день за днем очень однообразно. Заказала себе платье со шлейфом, с блестками... Красные розы у плеч... С. В. отпустил меня на этот бал довольно неохотно. Со мной он уговорился, взял с меня слово, что я немедленно вернусь домой, если наша маленькая Таня проснется и будет плакать. Пришла я на бал, потанцевала раза два со Струве, с удовольствием смотрела на разодевшихся немков, подали ужин и вдруг слышу по-немецки «за вами пришли». Внизу стоит наша Маша, которая торопит меня домой. Прихожу домой и вижу С. В. с Таней на руках ходит из

угла в угол, а Танюша ревет благим матом. Так и кончился мой первый и последний выезд за эти два года, проведенных в Дрездене.

В январе 1908 г. С. В. один уехал из Дрездена в Россию. Он был приглашен дирижировать свою новую 2-ю симфонию в одном из симфонических концертов Зилоти в Петербурге и в концерте Филармонического Общ. в Москве. А я должна была остаться с детьми в Дрездене. Мне так хотелось поехать в Москву и услышать исполнение симфонии, сочиненной тут в Дрездене. Но пришлось ограничиться тем, что просить сестру и всех московских друзей подробно описать мне концерт и впечатление, произведенное симфонией на публику и музыкантов... Симфония имела большой успех.

Осенью 1908 г. мы в третий раз поехали из Ивановки в Дрезден. Этой осенью в Москве происходило чествование Художественного Театра по случаю десятилетия со дня основания. С. В. хотел непременно принять участие в этом чествовании. Он написал Станиславскому письмо, поздравляя его и всех сотрудников театра и посылая им наилучшие пожелания, и положил это письмо на музыку, как это делается с романсами. Письмо начиналось, насколько помню, так: «Дорогой Константин`Сергеевич, я поздравляю Вас от чистой души и от всего сердца. За эти десять лет Вы шли все вперед и вперед и на этом пути Вы нашли свою Синюю Птицу. Она Ваша лучшая победа и т.д.... Ваш Сергей Рахманинов. Дрезден, четырнадцатое октября тысяча девятьсот восьмого года». Затем следовал постскриптум: «жена моя мне вторит».

Письмо это было послано Слонову с просьбой передать его Шаляпину и настоять на том, чтобы Шаляпин его выучил. Среди потока официальных приветствий, речей и адресов юбилярам на эстраде появился неожиданно Шаляпин, который пропел письмо Рахманинова. Это произвело настоящий фурор, и Шаляпину пришлось его, конечно, биссировать. Да и в концертах ему потом неоднократно приходилось петь это письмо по просьбе и требованию публики. В этой музыкальной шутке звучит и многая лета и забавная полька, а словами высказано искреннее чувство поклонника Художественного Театра.

Весной 1909 г. закончилось наше трехлетнее зимнее пребывание в Дрездене, и мы, прожив лето в Ивановке, поехали

в Москву. Этот и следующие три года С. В. очень много и удачно работал. Летом он сочинял, а зимой давал много концертов. Он выступал как пианист уже не только в Москве, Петербурге и Киеве, но играл также во многих провинциальных городах. Осенью 1909 г. С. В. был приглашен в Америку где, между прочим, играл свой новый 3-й ф.п. концерт. Поездка эта была очень удачной, он имел большой успех. Так, например, за три месяца пребывания в этой стране, он в одном Нью-Йорке играл 8 раз.

С. В. выступал в Москве эти годы неоднократно и как дирижер, а в 1912-13 г. он принял место дирижера симфонических концертов Московского Филармонического Общества. Но все эти частые выступления в течение почти трех лет, по-видимому, очень утомили С. В. В январе 1913 г. он попросил Филармоническое Общество заменить его другим дирижером и, прервав свои выступления, решил уехать с нами опять за границу. Хочу только добавить здесь, что эти три года С. В. и летом работал не покладая рук. Он написал за эти годы «Литургию Иоанна Златоуста», 13 прелюдий для ф.п., 6 этюдов, 14 романсов.

Мы решили поехать для отдыха в Швейцарию, Ароза. Ароза нам очень понравилась, и мы пробыли там весь январь. На солнце было тепло, а в тени мороз градусов 17°. С. В. обещал мне, что он не будет кататься на санях по крутым дорогам, на которых незадолго до нашего приезда два человека разбились на смерть. И вот приходит раз весь в снегу без шапки... Не утерпел и скатился на санях вниз, потеряв по дороге шапку. Слава Богу, что прошло благополучно. Потом мы часто катались с ним на санках по красивым, но безопасным дорогам Ароза. Какой там был чудный воздух. Поразителен восход солнца, когда первые лучи показывались из-за гор.

Из Ароза мы поехали в Италию, в Рим. Отдохнув так хорошо в Швейцарии, С. В. опять, по-видимому, захотелось сочинять. Мы поселились в английском пансионе, а С. В. снял себе для занятий небольшую квартиру, в которой в свое время, оказывается, жил Чайковский. Но скоро С. В. простудился и заболел ангиной. Он очень ослабел от жара. Когда он начал поправляться, заболела чем-то Ирина. Позванный доктор сказал, что у нее, вероятно, легкая форма брюшного тифа. Не

очень доверяя итальянским врачам, мы решили уехать поскорее в Берлин. По дороге заболела и шестилетняя Таня. Приехав в Берлин, мы позвали рекомендованного нам нашими друзьями Струве хорошего врача, который, увы, подтвердил предположение итальянского доктора. Мы были в ужасе.

Нам немедленно пришлось переехать в частную лечебницу. Я осталась с детьми, а С. В. поселился в какой-то санатории, в которой жившие там немцы прозвали его «штейнерным гостом» за его мрачность и молчаливость. Мы вызвали сестру из Москвы, чтобы помочь С. В. пережить это трудное время в одиночестве. Она, бедная, готовилась как раз этой весной к государственным экзаменам в университете, но, конечно, немедленно приехала. За ней скоро последовала и мама, узнав, что Таня так серьезно больна. Таня была действительно очень больна, я уверена, что этот доктор спас ей жизнь. Он прислал нам для ухода за ней замечательную женщину, которая не отходила от нее ни днем, ни ночью. Боже мой, до чего мы были счастливы вернуться в Россию, прямо в Ивановку.

Через несколько дней после возвращения в Ивановку С. В. принялся за прерванную на такое долгое время работу, начатую в Италии — симфоническую поэму «Колокола» по поэме Эдгара По, в великолепном переводе Бальмонта. Писал он ее с редким для него увлечением и быстротой.

Весной 1917 г. на семейном совете в Москве было решено последовать призыву Временного Правительства: постараться провести посев в Ивановке и собрать урожай. Работа эта была разделена на три периода, и первый период — посев — взял на себя С. В. Он отправился в Ивановку в марте и оставался там около двух месяцев, после чего мы уехали на все лето в Крым. Один раз к нему приходили крестьяне из деревни. С. В. выходил к толпе и долго отвечал им на все вопросы. Крестьяне вели себя очень хорошо, интересовались, конечно, больше всего вопросом о земле и о том, кто сейчас управляет Россией, а затем спокойно ушли к себе в деревню. Но несколько стариков скоро вернулись обратно и начали советовать С. В.-чу не задерживаться в Ивановке, т.к. в Ивановку часто приезжают «какие-то, Господь их ведает кто они, которые мутят и спаивают народ. Уезжай, барин, лучше от греха». Но мы все же оставались в Ивановке до конца обещанного срока и до приезда туда моего отца и сестры.

Во время Октябрьской революции мы были в Москве. Квартира наша была в доме I-й женской гимназии на Страстном бульваре. В доме квартиранты организовали, как и везде в Москве, «Домовый комитет». Члены Комитета дежурили круглые сутки на лестнице нашего четырехэтажного дома, разделив жильцов на несколько групп, и каждая группа дежурила не то по 3 не то по 4 часа. Дежурил и С. В. Было холодно, темно и довольно неудобно. Но в общем все при нас было спокойно и никаких неприятностей не произошло. Настроению С. В. в это тяжелое время помогла работа. Он был занят переработкой своего I-го ф.п. концерта и очень увлекся этим. Так как было опасно зажигать в квартире свет, то в его кабинете, выходящем во двор, портьеры были задернуты, и он работал при свете одной стеариновой свечи.

С. В. не хотел оставаться в Москве. Он поговаривал об отъезде на юг, но в конце ноября он совершенно неожиданно получил из Стокгольма официальное предложение дать несколько концертов в Скандинавии. Он сразу принял это предложение и отправился в Петербург, чтобы достать разрешение на выезд из России. Было решено, что я с детьми выеду в Петербург через 8-10 дней. Разрешение было выдано 20 декабря и 23-го мы уехали в Стокгольм. С нами выехал и друг С. В. — Н. Г. Струве. На дорогу Шаляпин прислал нам милое прощальное письмо, белый хлеб и икру. Поезда тогда были уже переполнены, и многие ехали на крышах. Багажа у нас было мало. Мы взяли только белье и несколько учебников для детей, которые учились в Москве уже в гимназии. Таможенный осмотр прошел благополучно, чиновники заинтересовались только как раз невинными учебниками истории и географии и пожелали нам счастливого пути. Денег у нас было по 500 руб. на человека. Я просила С. В. дать мне с собой больше денег, но он не хотел нарушать правила.

Ночью мы подъехали к шведской границе. Посадили нас со всем багажом в розвальни и нам было так тесно, что мне пришлось ехать стоя. Устав в дороге, мы решили взять спальные места до Стокгольма. Было уже половина третьего, когда можно было лечь в постель, но в 6 часов утра нас всех высадили из спального вагона, заявив, что эти вагоны курсируют только ночью. По случаю сочельника улицы Стокгольма и здания были празднично декорированы. Люди были оживлен-

ные и веселые, попадались и подвыпившие. В отеле было тоже шумно и весело, а мы сидели, запершись в своем номере, грустные и одинокие. Струве поехал дальше к своей семье, жившей в Дании. Уезжая, он советовал и нам переехать в Копенгаген. Вначале мы пробовали найти квартиру в Стокгольме, но это оказалось невозможным. То же было и в Копенгагене, когда мы последовали совету Струве. Никто не хотел впускать к себе пианиста. Наконец нам удалось снять нижний этаж одной загородной виллы; в верхнем жила сама хозяйка. В вилле был собачий холод. Бедному С. В. пришлось самому топить печки. Ирина поступила в школу, а Таня пока оставалась дома.

Когда мы приехали в Копенгаген, я не имела ни малейшего понятия о кулинарном искусстве. Но у Струве была немка, воспитательница их сына, которая очень хорошо умела готовить. У нее я брала уроки по телефону и скоро научилась недурно готовить. Бедный С. В. (плохо я его в начале кормила), вскоре уверял меня, что такого вкусного куриного супа, который я ему давала, он никогда не ел.

Живя в Дании, С. В. выступал два раза в концертах в Копенгагене. Он получил также приглашение на ряд концертов в Швеции и Норвегии. Во время его отсутствия пришли три предложения из Америки. Ему предлагали взять место дирижера Бостонского Симфонического оркестра, по контракту он должен был бы продирижировать 110 концертами в течение сезона. Второе предложение было из Цинцинати — двухгодичный контракт на место дирижера, третье пришло из Нью-Йорка — контракт на 25 фортепианных концертов. С. В. не решался связывать себя контрактами в незнакомой ему стране. Подумав, он предпочел поехать в Америку и на месте осмотреться и решить, что ему делать, за что приняться. Вместе с тем он все лето много и подолгу упражнялся игре на ф.п., чтобы развить запущенную им за последние годы технику. Последние годы в России он выступал только как пианист-композитор, играя только свои сочинения, и знал, конечно, что для Америки надо подготовить другие программы.

Заняв у г. Каменка любезно предложенные им деньги на проезд, он легко получил визы в Америку, показав американскому консулу предлагавшиеся ему контракты. Ехали мы в Америку на небольшом норвежском пароходе «Бергенсфйур»

из Осло. За несколько минут до отъезда на пароход пришел знакомый г. Кениг и предложил С. В. взаймы чек на 5000 долл., чтобы обеспечить нашу жизнь первое время в незнакомой стране.

Пока мы пробирались вдоль берегов Норвегии нас сильно качало. Плыли мы 10 дней. Из-за войны пришлось идти в обход, мы зашли далеко на север. По дороге встретили английскую эскадру, это было очень внушительно и интересно. Мы прибыли в Нью-Йорк в 4 часа утра, и нас поставили в карантин.

Остановились мы в отеле «Недерланд» на 5-м авеню. Настроение было у всех скверное, потерянное. С. В. не знал, как и чем нас утешить. Да и сам он был такой грустный. Нашлась наша маленькая Таня, которая вдруг сказала: «утешить нас можно тем, что мы все так любим друг друга». С. В. никогда не мог забыть этих трогательных слов нашей маленькой девочки.

Приехали мы 10 ноября 1918 г. и, устав от дороги, все рано легли спать. Но эту первую ночь в Америке спать нам не пришлось. Мы были разбужены адским шумом на улице: гремели оркестры, люди кричали, пели, танцевали, казалось, что весь город сошел с ума. Узнав, что весь этот шум вызван радостным известием о заключении мира, мы тоже вышли на улицу.

Скоро к С. В. начали приходить разные мэнэджеры и артисты. Первые предлагали контракты, артисты давали советы, были очень любезны, некоторые предлагали даже взаймы деньги. Помню скрипача Цимбалиста, принесшего большой букет чудных цветов, Крейсlera, Гофмана и др. С. В. денег ни от кого не взял, не послушался и советов о выборе мэнэджеров, и сам остановился на Эллисе, который ему больше всех понравился. Это был уже пожилой американец, живший в Бостоне; среди артистов, с которыми у него были контракты, был Фриц Крейслер, Ж. Фарар и Падеревский, недавно вернувшийся в Польшу.

С. В. еще в России подружился с Гофманом. Мы вскоре познакомились с его женой, и она пригласила нас в ложу Метрополитэн оперы на «Бориса Годунова».

Среди посетителей, приходивших приветствовать композитора Рахманинова, был один американец г. Манделькерн, го-

воривший по-русски, правда, не очень правильно, но он много помог нам своими советами. Он уговорил С. В. переехать из отеля и снять квартиру. Он нашел даже для нас дом-особняк, принадлежавший русскому, г. Сахновскому, и мы скоро переехали туда. Это было на 92 ул. близ 5 авеню. Прислуга Сахновского — французы, муж и жена, перешли к нам на службу. Жена его работала у нас кухаркой, а он был лакеем. У них было двое детей. Семья эта прожила с нами несколько лет. Оба были очень преданы нам, и мы их очень любили. Из любви к С. В. Джо согласился научиться управлению автомобилем, и они вместе держали экзамен на право езды. Экзамен на управление машиной они оба выдержали хорошо, но на устном экзамене по технике и правилам езды оба провалились. Их попросили придти через две недели на переэкзаменовку. Джо был очень сконфужен. Мы переехали скоро по окончании контракта на другую квартиру, а в 1922 году купили дом на Ривер-Сайд драйв на берегу Гудзона. Это был дивный пятиэтажный дом. Хорошие светлые комнаты, удобное расположение комнат, шикарно отделанные стены, зеркала и пр. Он строился архитектором для самого себя, отсюда и вся роскошь. Но прожить в нем нам пришлось только три года.

Устроившись в Америке, нашей мечтой было выписать моих родителей и сестру из Москвы в Европу. Мы знали, что брат, арестованный большевиками в Москве, был довольно скоро выпущен из тюрьмы, что ему удалось со всей семьей переехать на Украину, а оттуда в Крым, и что он с большим трудом пробрался в конце концов в Дрезден. Но сведений о своих в Москве у нас почти не было. Только раз или два сестре удалось послать нам через эстонское консульство краткую записку, что они все живы. В 1920 г. после долгих хлопот с помощью одной русской пианистки, муж которой служил или имел связи с одним из английских банков, сестре дали знать, чтобы она хлопотала о разрешении выехать с родителями в Ригу, что в Риге их ждут разрешение на въезд в Германию и деньги.

Н. Рахманинова

КАПИТУЛЯЦИЯ РИМСКОЙ ЦЕРКВИ

Произошли ли какие-нибудь существенные изменения большевизма в России со времени провозглашения им всемирной революции как основной цели советского правительства? Принято считать, что произошло даже много изменений. Но мне кажется, что все осталось неизменным. Больше того, мне думается, что именно сейчас наступает время большого сдвига в направлении психологической и духовной большевизации мира. Все осталось тем же, только многому даны другие названия. Более удобоваримые, а потому и облегчающие усвоение большевицкой отравы и тем самым более опасные для человечества.

Когда в 1927 году митрополит Сергей пошел на известный компромисс с богоборческой властью партии, пораженное этим мировое общественное мнение говорило о «соглашении православной Церкви с большевизмом». Сегодня, полвека спустя, когда Римская католическая церковь заключает такие же (а в некоторых пунктах и идентичные) соглашения, этому дают уже название: «соглашения католической Церкви с государством». Это, конечно, более удобоваримо. Но сие не соответствует действительности, ибо, как известно, в коммунистических странах партия стоит над правительством и всякое соглашение может быть заключено только и исключительно с *коммунистической партией*. То, что название «большевицкая» с 1952 года не употребляется, сути дела, разумеется, не меняет.

Мы с удовольствием печатаем эту ценную статью Иосифа Мацкевича, известного польского писателя-эмигранта, автора многих книг, переведенных на все главные европейские языки. Эта статья написана Иосифом Мацкевичем по просьбе редакции «Нового Журнала». Мы печатаем ее в переводе с польского, проредактированном автором. Недавно в Лондоне по-польски на ту же тему — капитуляции римской Церкви — вышла книга Иосифа Мацкевича «В тени креста». *Р. Г.*

Неизменным остался и смысл понятия — *преступление*. Несколько лет тому назад эксперты (в Бельгии и США) произвели подсчет людей, убитых и погубленных коммунистической властью со времени ее существования в России. Цифра — от 40 до 49 миллионов — не вызвала доверия «из-за отсутствия точных данных». И мировое общественное мнение не отнеслось к этому «серьезно». Но — странно, когда в то же время говорят о преступлениях гитлеровцев, то соответственные округления не только не подлежат сомнениям, но наоборот: «несерьезным» будут считать того, кто осмелится в этом сомневаться.

Папу Пия XII после войны много раз обвиняли в том, что он слишком мало обличал преступления гитлеровского режима. Папа Иоанн XXIII, как известно, проявлял особенно внимательное отношение к представителям коммунистического режима, устраивая для них весьма сердечные приемы и одаряя их подарками. Он отказался совершенно от обличения коммунистических преступлений. После же его смерти раздались многочисленные голоса, добивавшиеся провозглашения Иоанна XXIII святым. Тут приходится иметь дело с определенной тенденцией, выгодной коммунистическому режиму, то есть — выгодной *коммунистическим преступлениям*, которые по своей сути не изменились.



Общеизвестно выступление московского патриарха Алексия 21 декабря 1949 г. по поводу 70-летия Сталина. Мы повторять его не будем, так же, как не будем повторять и речь этого патриарха над гробом умершего в 1953 г. диктатора. Слова — «благодарность, благословение за счастье, данное людям, за заботу о Церкви, хвала за героические действия для блага всех людей, горячие молитвы» и т.д., сказанные об этом великом преступнике и гонителе веры в Бога, сжимают дыхание в груди и кажутся небывалым святотатством в устах первоиерарха.

Почтенный пастор Вурмбранд, неустрашимый поборник «Церкви молчания», описывает чудовищные преследования, каким подверглись католики в коммунистическом Китае. Сведения из многочисленных источников это подтверждают. И

вот 4 октября 1965 г. папа Павел VI пишет письмо Мао Цзедуну, в котором, кроме всяких других любезностей, мы находим и такие слова: «Уважение, которым заслуженно пользуется Китай... Респект, с которым весь мир относится к Вашей особе...» и т.д. и т.п. Если сравнить личное подчинение и зависимость патриарха Алексия Москве с *полной независимостью* папы Павла VI в Риме, то слова православного патриарха, в смысле преступного приспособления к «сильным мира сего» уже не кажутся такими невероятными, как казались раньше. Для мира губительна не политическая констелляция западных государств, создающих «мирное сосуществование» свободы с рабством. Это более или менее всегда бывало. Но совершенно губительной может оказаться *приспособляемость к этому* самых высоких устоев духа, почитаемых веками, когда за arrangement платят моральными ценностями.



В кн. 106-й «Нового Журнала» Роман Гуль опубликовал блестящую статью о большевицкой подрывной работе в Мировом Совете Церквей. Я издал книгу «W Cieniu Krzyża»,* тоже касающуюся этого вопроса. Из источников, которыми я пользовался, работая над своей книгой, следует, что Роман Гуль совершенно прав как в передаче фактической стороны дела, так и в своих выводах из положения вещей. Кстати, хочу обратить внимание на само название: Мировой Совет Церквей. Что за высокопарные слова! Они претендуют на представительство 175 христианских церквей. И вот этот — Мировой Совет — идет не только на компромисс с большевизмом, но — как это ясно показал нам автор — поддерживает во всем мире революционные движения, явно пробольшевицкие. По своим последствиям это акт более значительный, чем одиночный компромисс с большевиками в 1927 году измученного тюрьмой православного митрополита. Однако не позиция, которую занимает протестантский Мировой Совет Церквей, характерна для переживаемого нами психологического и духовного сдвига, а сегодняшняя позиция Римской Католической Церкви. Позиция, которую без всякого преувеличения

* Józef Mackiewicz. W Cieniu Krzyża. Kontra. Londyn, 1972. РЕД.

можно назвать капитуляцией Ватикана перед атеистической силой международного коммунизма.

Я думаю, что сегодня далеко не все еще отдают себе ясный отчет в размерах этой капитуляции. И есть основания опасаться, что полное осознание положения вещей наступит только тогда, когда уже обнаружатся последствия этой капитуляции. И когда, может быть, будет уже слишком поздно удобно утешать себя тем, что еще «не так плохо». Между тем, это уже сейчас «плохо» потому, что для, примерно, 490 миллионов католиков — Римская церковь является идейным и духовным источником вдохновения. Поэтому я рискую утверждать, что политику капитуляции, проводимую Ватиканом, самым высоким духовным авторитетом католичества, приходится рассматривать прежде всего как диверсию в своем собственном лагере, который до этого любил представлять себя как «мир западно-христианской идеологии».

Как же дошло до этого? Слова «политический реализм», или попросту «реализм», всем известны в человеческой речи, но в наше время они имеют совершенно исключительное значение. Теперь в словаре Запада «политический реализм» означает подлинное уважение к нерушимости коммунистического status quo. В словаре же правительств советского блока это означает всякую деятельность или всякое заявление, выгодные политическим интересам правительств этого блока.

В конце 1958 года, сразу после своего вступления на папский престол Иоанн XXIII заслужил «большое уважение» ибо первым его актом было закрытие посольства польского эмигрантского правительства и посольства литовского при Ватикане. И за это уже 10 января 1959 г. в польской коммунистической газете «Życie Warszawy» его с одобрением называли «политическим реалистом». Вскоре за это же его похвалил и главный редактор «Журнала Московской Патриархии», Ф. А. Шишкин, который в закрытии посольства польского эмигрантского правительства и литовского посольства при Ватикане увидел «свидетельство того, что Иоанн XXIII хочет быть хорошим пастырем для всех людей и ищет путей, которые облегчают примирение».

Характерным для господствующего сегодня смешения понятий и для «тактической» дезинформации является тот факт, что польская эмиграция, которая больше всего была затрону-

та уничтожением своего представительства, до сегодняшнего дня скрывает от общественного мнения, что это произошло по непосредственной инициативе примаса Польши, кардинала Вышинского. В нем хотят видеть народного вождя, когда, по сути дела, он принадлежит к выдающимся «реалистам», ищущим соглашения с польским «государством», то есть фактически с коммунистической партией в Варшаве.

Дальше в лес — больше дров: отмена де факто буллы Пия XII, запрещавшей католикам сотрудничество с коммунистами (де факто потому, что де юре ни один папа не отменяет энциклик своего предшественника). Была открыто объявлена «*Aggiornamento*», то-есть попытка приспособиться к современному положению; «*Apertura a Sinistra*», или «поворот влево»; энциклика «*Mater et Magistra*», которую многие знатоки истории католической церкви были склонны считать эпохальной, переломной в смысле преломления эпохи Церкви Константина и почти после 1.700 лет появления в ней нового духа.

Все эти проявления «реализма» не сразу оценили в коммунистическом лагере. Советский правительственный аппарат, вопреки господствующей легенде, машина тяжеловесная, неподатливая, тормозящая инициативу, перегруженная подозрительностью. Но Иоанн XXIII с упорством и самоотверженностью стремился к намеченной цели, и наконец встретил достойного контрпартнера в лице митрополита Никодима (Ротова), который идеалистические цели немного наивного Папы сумел повернуть в фарватер капитуляции католической Церкви. Но не будем забегать вперед: — не учитывая действительных целей Иоанна XXIII в создавшейся политической атмосфере, нельзя будет понять ход событий.

Цели Иоанна XXIII были те же, что и главные цели Римской Церкви, начиная с 1054 года: — восстановление единства разделившихся Церквей Западной и Восточной. Конечно, под приматом Западной Церкви, на что Восточная Церковь не соглашалась.

Для непосвященного в эти дела светского человека положение здесь, конечно, несколько неясное. Поэтому стоит напомнить о предмете спора, который ведь не был спором об идеологии, но спором — о теологических вопросах. Это спор не о вере в Бога, а о догматах этой веры. Например, кто являет-

ся — св. Петр или св. Андрей — первым апостолом? Исходит ли Святой Дух от Бога Отца или от Бога Отца и Бога Сына? И другие вопросы этого же порядка. Монолитное исповедание веры, принятое Никейским Собором в 325 году, связывает обе Церкви. Однако 2-й Никейский Собор в 787 году (а седьмой в особенности) был последним общепризнанным Собором. В 858-67 годах разгорелся спор между Константинополем и Римом, который все более углублялся. 16 июля 1054 г. римские легаты положили на алтарь собора Айи-Софии в Константинополе торжественную буллу папы Льва IX, в которой патриарх Константинопольский Керуллариос был заклеен как самый худший из еретиков, как человек во всех отношениях недостойный и поэтому предающийся анафеме. Керуллариос приказал буллу сжечь и сам предал анафеме Папу. (В этом месте трудно удержаться от отступления на сравнительные темы так называемых «византийских времен»: как это чужестранные посланцы осмелились положить в наивысшем святилище противника такое оскорбляющее послание. В наши времена массовых демонстраций они, наверное, были бы избиты). Раскол стал фактом. После упадка Византии и фактического перехода центра православия в Москву дальнейшие споры или попытки объединения происходили уже главным образом между Римом и Москвой, помимо Константинопольского патриархата, официального *primus inter pares*.

Хорошо известна довольно неудачная политика Ватикана в начале воцарения большевизма в России. Закончилась она рассеянием всех иллюзий о возможности компромисса с коммунизмом, что и было закреплено 18 марта 1937 г. папской энцикликой *Divini Redemptoris*, в которой папа Пий XI бескомпромиссно и недвусмысленно заклеил коммунизм. Пий XII пошел по стопам своего предшественника, выступая против всяких попыток компромисса с атеистическим коммунизмом и запрещая всякое с ним сотрудничество католикам всего мира.

Но Иоанн XXIII не только ставит себе целью — объединение Западной Церкви с Восточной, он делает из этого девиз своего папства, своей жизни. Своему секретарю, монсиньору Лорису Каповилла он признается, что этот путь ему указан свыше. И он отдается этому делу, но уже в атмосфере так называемого современного «реализма».

Иоанна XXIII осуждали за излишний оптимизм и наив-

ность. Политическая атмосфера, какую он застал, вступив на престол Святого Петра, благоприятствовала развитию этих черт его характера. В этом плане рассуждения Папы представляются довольно прямолинейными: надо прийти к соглашению с Москвой, и только Мир любой ценой может привести к цели. Поэтому надо поддерживать статус кво. Не надо вовсе никого «освобождать», надо сосуществовать на основе «мирного сосуществования». Pax Sovietica может стать тоже правильным, если речь идет о мире. Только надо сделать из этого высшую добродетель и благо всего человечества, связав с этим высшее Добро Церкви, а тем самым и добро всем людям. Теперь человек должен быть в центре внимания, подчеркнул Иоанн XXIII в своем *Aggiornamento*.

Здесь Папа согласен с точкой зрения великих западных демократий: те народы, которые после первой и второй мировых войн оказались под коммунистической властью, были всем западным миром окончательно предоставлены власти коммунистов. И они должны оставаться под этой властью *ad infinitum*, разве что там может произойти какая-нибудь «эволюция». Ставший господствующим на Западе «политический реализм» устанавливает даже критерии, которые его морально укрепляют. Схематически это представляется более или менее так:

1. Ленинская большевицкая революция, кроме некоторых негативных черт, была все же и прогрессом в сравнении с прежним монархическим строем в России. И «социалистические» (т.е. коммунистические) режимы в некоторых «народных демократиях» после 1945 году являются, с известной точки зрения, «прогрессом» по сравнению с тем, что было в этих странах до войны.

2. «Социалистические» (коммунистические) режимы в государствах Восточной Европы и в Азии в значительной степени отвечают «ментальности» этих народов, которые всегда были склонны к авторитарному государственному строю. Во всяком случае, сегодня там произошли перемены необратимые, которые перечеркивают возможность возвращения к порядкам, существовавшим до «социалистического» режима.

3. Поэтому не нужно эти народы... «освобождать», так как это могло бы оказаться против их воли. Надо вести с ними мирный «диалог».

4. Этот «диалог» и его цель имеют оптимистические перспективы, потому что в странах советского блока происходит «эволюция коммунизма» по пути к формам «либеральным» и особенно «национал-коммунистическим».

5. Задача Запада — сдержанность от всяких антикоммунистических действий, которые могут только задержать «эволюцию коммунизма». Напротив, нужно поддерживать эту «эволюцию».

6. Окончательной целью «эволюции» должно быть вовсе не возвращение к полноправию, к личным и гражданским свободам людей тех стран, но — не уничтожая основ «социалистического» режима — надо стремиться к «улучшению», к «реформированию» коммунистических режимов до положения относительной свободы, придав этим режимам черты «социализма (коммунизма) с человеческим лицом».

Таким образом, всякий антикоммунизм объявляется тенденцией к «холодной войне», которая враждебна стремлению к всеобщему миру. Выдающийся американско-немецкий разведчик и долголетний начальник разведки генерал Гелен в последней изданной им книге так формулирует эти стремления: заменить принцип «народные по форме, социалистические (коммунистические) по содержанию» принципом «социалистические (коммунистические) по форме, народные по содержанию». Другими словами: — поддержка национал-коммунизма. По этой линии и ведутся передачи радиостанций «Свободная Европа» и «Свобода». Они ведут пропаганду на ту сторону не с целью уничтожения коммунизма, а наоборот: с целью «улучшения» коммунизма. Однако недовольство Москвы передачами этих радиостанций, Москвы, которая вовсе не собирается проводить никакую «эволюцию», привело на Западе к путанице понятий и даже к признанию, что радиостанции эти действительно как будто «антикоммунистические», что ни в каком случае не соответствует действительности.

Таково (вкратце) было общее политическое положение вещей, когда Иоанн XXIII вступил на престол апостола Петра. Можно думать, что по мягкости сердца и по свойственному ему оптимизму он обрадовался, что люди «там» вообще примирились с существующей властью. И утвердилась власть (а каждая власть — от Бога), хоть и далекая от совершенства, но все-таки она в стадии «эволюции к лучшему». И стало быть

нет никакой необходимости кого-то там «освобождать», что всегда связано с невероятными пертурбациями и пролитием крови. Мир, Мир Божий на земле, Мир и еще раз Мир — вот что больше всего нужно людям.

Правда, в Риме прозвучали голоса протеста против этой новой политики Ватикана: — «поворот влево». Протестующие указывали, что советский блок вовсе не стремится к миру, но к спокойствию в мире, что является необходимым условием для удержания коммунистами тюремных режимов. Напомним слова Димитрия З. Мануильского, который еще в 1931 году, как секретарь Исполкома Коминтерна, сказал: «Буржуазию надо усыпить. И с этой целью начнем с раздувания наиболее театрального — 'движения за мир'. А в момент, когда ослабеет их бдительность, мы раздробим их ударом кулака!» Конечно, это предупреждение и напоминания о нем находились в полном противоречии с далеко идущими планами Иоанна XXIII. Кроме того, он чувствовал инстинктивную антипатию ко всяким «пессимистам».



Настоящие события начали развиваться с 1961 года. Папа Иоанн XXIII подготовлял созыв Собора в Риме. Для него важнее всего было, чтобы в нем приняли участие православные иерархи, хотя бы в роли наблюдателей. На эту тему велись переговоры, между прочим, и с экуменическим (вселенским) патриархом Афинагором в Константинополе. Афинагор принципиально соглашался принять участие в Соборе. Но Ватикан рассматривал это дело как второстепенное. Главные усилия Ватикана были направлены на сближение с Московской Патриархией, представляющей и формально и фактически «массы православных». Правда, кардинал Оттавиани и его единомышленники в римской Курии придерживались другого мнения, а именно, что Московская Патриархия не представляет православную Церковь, а, наоборот, представляет тех, кто эту Церковь преследует. Но Папа не разделял этот взгляд. А, как говорится в Ватикане: «Tutto dipende dell' Pontifice».

На фоне создавшегося положения митрополит Никодим и разыграл свою партию. В начале 1961 года кардинал Бэа, глава новосозданного Секретариата Христианского Единства,

заявил официально, что на Ватиканском Соборе охотно увидели бы наблюдателей от Московской Патриархии. В ответ на это в мае того же года «Журнал Московской Патриархии» печатает статью. Она не подписана, но известно, что ее автор — митрополит Никодим. Он отвергает предложение Рима и кончает словами: «Non possumus». Тогда Ватикан удваивает свои усилия в проявлении «доброй воли». После упомянутой уже энциклики «Mater et Magistra» множатся «мирные» декларации. Но все это еще «не убеждает» Никодима. В июне в Праге происходит очередной «Конгресс мира» советского подчинения. На нем выступил Никодим, заявивший: «На этом Конгрессе нет представителей Ватикана. Это доказывает, что Ватикан в сущности не стремится к миру. Созываемый Римом Собор поэтому не послужит делу объединения, а, наоборот, углублению розни».

24 сентября 1961 года на острове Родос открывается конференция православных церквей. В ней принимают участие представители всех православных патриархий. Эта конференция стала большим триумфом Никодима. Он не только сумел, в великолепно сформулированных теологических положениях, провести постановление об отказе от участия в созываемом Ватиканском Соборе других представителей православия, но и снять с повестки дня весь вопрос о так называемой «борьбе с атеизмом». (Православный женевский епископ Антоний в отчете, прочитанном 5-го ноября в Париже, правильно сказал по этому поводу: «Во время совещаний Никодим, глава московской делегации, добился снятия с порядка дня вопроса о борьбе с атеизмом. Кто в этом виноват? Никодим? Нет, виноваты те, кто его приглашает...»).

Положение ясное и недвусмысленное: первым противником посылки представителей на Ватиканский Собор была Московская Патриархия.

Дальше на политической сцене происходят важные события. В августе того же 1961 г. коммунистическая партия нарушает международные договоры, выстроив в Берлине «стену позора» и протянув колючую проволоку вдоль границы советской зоны. Создается напряженная атмосфера. Иоанн XXIII, заботясь о проявлении «доброй воли» и «любви к миру», обнародывает 10 сентября 1961 г. прокламацию, призывающую к разрешению всех споров *исключительно мирным пу-*

тем. Однако его призыв изложен так, что имеет в виду главным образом западные государства и ни одним словом не вспоминает о тех, кто является виновником нарушения договоров и человеческой справедливости. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Никита Сергеевич Хрущев высоко оценил этот жест Папы. 25 ноября того же года, в 80-летний юбилей Иоанна XXIII, советский посол при Квиринале, товарищ Козырев, вручил папскому нунцию, монсиньору Карло Грано, сердечные поздравления римскому Папе от первого секретаря коммунистической партии.

В это время Никодим был в Индии, в Дели, где на третьей конференции Мирового Совета Церквей он провел советскую Московскую Патриархию в постоянные члены этого Совета. За принятие было подано 142 голоса и только 3 против. Это был новый большой успех Никодима. Конференция в Дели продолжалась до 6 декабря 1961 года. У Никодима были там разные интересные встречи со всякими другими высокими духовными представителями церквей. В частности и с представителем православной Митрополии в Америке, а также с наблюдателями, присланными от Римской Церкви, которые впервые приняли участие в этой протестантской конференции.

Вскоре после конференции должен был наступить праздник Рождества Христова. Никодим едва успел возвратиться из Индии в Москву. И вот, к великому изумлению непосвященных, в самый праздник Рождества Христова Никодим появляется — в Риме! Но странно — какой-то другой, изменившийся Никодим: приветливый, доброжелательный. Он был принят в Ватикане очень сердечно. Сразу было забыто и его выступление в Праге и его выступление на острове Родос. Никодим охотно дает интервью. Он говорит, конечно, о том, что религия никогда не преследовалась и не преследуется в стране полной веротерпимости, каковой является Советский Союз. Когда его спросили об его отношении к Риму, он ответил: «Мы воодушевлены общей идеей защиты мира». Когда же его спросили о возможном участии московских наблюдателей на ожидаемом Соборе в Ватикане, он ответил двусмысленно. А когда его спросили о статье в «Журнале Московской Патриархии», которая кончалась словами «non possumus», Никодим ответил: «Что ж... статья эта не была подписана. И я не знаю, является ли она обязующей...» Говорили, что в это время

Никодим вел какие-то тайные переговоры в Ватикане. Но тайные переговоры и через долгое время не всегда оглашаются. А в то время замок еще не защелкнулся.



Замок защелкнулся в следующем, 1962 году. В хронологическом порядке события следовали так. 1962 год проходил всецело в спешных приготовлениях к 2-му Ватиканскому Собору. Для подготовительных работ были созданы десять комиссий и два секретариата. Из этого числа наименее заметный для западной общественности, но наиболее важный и наиболее близкий сердцу Папы был Секретариат Христианского Единства. Председателем Секретариата был кардинал Августин Бэа, а генеральным секретарем монсиньор Ян Виллебрандтс. На плечах этих двух церковных сановников лежало главное задание, об исполнении которого мечтал Иоанн XXIII, о котором говорил, что оно «было ему внушено божественным Провидением»: соглашение с отлученной Восточной Церковью. На первых порах хотя бы сближение с Москвой и получение от нее милости — присылки наблюдателей на Ватиканский Собор.

В Ватикане были люди, которые указывали на то, что этим путем де факто будет достигнуто не сближение с Православной Церковью, а сближение с коммунистическим центром. Эти «консерваторы» были, однако, в меньшинстве по сравнению с «прогрессистами», мнение которых больше отвечало планам Папы.

Окончательный *coup de maître* был разыгран Никодимом таким образом: после пребывания делегации Мирового Совета Церквей в Москве в июне 1962 г. — в августе в *Cité Universitaire* в Париже происходит конференция Центрального комитета этого Совета под знаком «христианского единения». Из Москвы приезжает Никодим. Из Ватикана Виллебрандтс. Конференция становится крупным событием. В печати о ней множество отзывов. Католический архиепископ Парижа распорядился молиться за преуспевание протестантской конференции. В тени этих празднеств происходят конфиденциальные разговоры между Виллебрандтсом и Никодимом о присылке на Собор в Риме наблюдателей из Москвы. Никодим на этот

раз впервые ставит свои конкретные условия... Но Виллебрандтс не имеет полномочий, чтобы дать требуемые Никодимом «гарантии». Поэтому Виллебрандтс спешит в Рим с рапортом к кардиналу Бэа, который колеблется ввиду слишком «завышенных» требований этих «гарантий». Тогда папа Иоанн XXIII посылает от своего имени делегатом кардинала Евгения Тиссерана (недавно умершего). Вдали от парижского шума, т.е. в Метце, происходит встреча Никодима с Тиссераном. Никодим открывает свои карты: если Папа хочет вести переговоры с Православной Церковью, то только с Московской Патриархией, которая представляет 50 миллионов верующих, 73 епископов и 30 тысяч священников, в то время как вселенский патриархат в Константинополе является только номинальным, без всякого окружения. Во-вторых, если Папа хочет, чтобы Московская Патриархия послала своих делегатов на Ватиканский Собор в качестве наблюдателей, должна быть дана гарантия, что этот Собор не станет ни ареной, ни поводом для каких-нибудь анти-коммунистических выступлений, демонстраций и т.д. Если это условие будет Ватиканом принято, тогда можно будет сразу начать в Москве переговоры о возможности посылки наблюдателей в Рим.

Ватикан принимает эти условия. Никто этого не ожидал. Московская Патриархия, которая все время громогласно выступала как решительная противница Рима и была решительно против посылки наблюдателей на Ватиканский Собор, вдруг делает прыжок, который удивляет все другие православные церкви. Они узнают об этом пост фактум, из газет, что...

С 27 сентября 1962 г. в Москве находится уже посланец Ватикана, монсиньор Виллебрандтс, в качестве личного представителя папы Иоанна XXIII. Но он не потрудился даже нанести визит патриарху Алексию. Дело — спешное и решенное на месте Куроедовым и Никодимом. Виллебрандтс получает письменное извещение о согласии советских коммунистических властей выслать в Рим наблюдателей от Московской Патриархии. 2-го октября Виллебрандтс покидает Москву, а 4-го октября кардинал Бэа — после фактического «устройства дела» — посылает в Москву послание: формальное приглашение московских делегатов на 2-й Ватиканский Собор. Приглашение сразу же принято «в духе христианского братства».

12 октября на римский аэродром прилетает советский са-

молет типа «Ильюшин» и из него выходят: профессор Духовной академии в Ленинграде Виталий Боровой, архимандрит Владимир Котляров (тем временем ставший епископом — «чехист в рясе», как о них тихо говорят). Они официально приняты папой Иоанном XXIII, Главным советом Собора, Секретариатом по вопросам христианского единства, как и другими многочисленными делегациями из Европы. Приняты со всеми проявлениями исключительной сердечности, «в духе христианского братства».



2-й Ватиканский Собор был самым большим Собором в истории христианской Церкви. По численности его нельзя сравнить ни с I-м Никейским Собором 325 года, времен царствования Константина Великого, когда едва собралось 318 епископов; ни с 10-м вторым Латеранским Собором 1139 года, на который прибыло 1.000 прелатов Запада; ни с 14-м Собором в Лионе 1270 года, на который приехал сам император Палеолог и 1.700 духовных лиц; ни с 20-м первым Ватиканским Собором 1870 года, где собралось 747 епископов. Я говорю только о самых известных Соборах.

На 2-й Ватиканский Собор, который начался 11 декабря 1962 года, съехалось 2.363 духовных лица и около 3.000 журналистов, политиков и дипломатов. Расходы по этому Собору составили 38 миллионов долларов, покрытые из средств Ватикана. И вот этот самый большой в истории съезд христианского духовенства, вследствие заключенного в Метце договора, *не допустил даже никакой дискуссии об атеистическом коммунизме.*

Были две попытки нарушить этот «заговор», как его некоторые называли. Первая попытка — организовать во время Собора выставку «Церкви молчащей», которая должна была представить действительное положение христианских Церквей в коммунистических государствах в результате религиозных гонений. К всеобщему удивлению, против этой выставки с протестом выступили прежде всего польские католические епископы... Как выразился орган краковского епископата «Tygodnik Powszechny», — «такие выступления не послужат делу улучшения отношений между церковью и государством».

Вторая попытка была предпринята украинскими епископами греко-католического (униатского) обряда. Они приготовили обширный меморандум о гонениях, притеснениях и преследовании религии в Советском Союзе. Между прочим, они указали на страшную участь возглавителя греко-католической Церкви: архиепископ, митрополит Иосиф Слипый 17 лет томится в советских тюрьмах и лагерях. Но и этот меморандум Собором не рассматривался. Вследствие закулисного давления не было допущено и его опубликование в печати. В одном только «Сатердэй ривью» появились небольшие *отрывки* из этого меморандума. Но и на это московские «наблюдатели» реагировали немедленно и остро, сделав заявление в коммунистической прессе: «Отцы Собора высказались за дело мира и дружбы народов... Но находятся люди, которые недовольны таким положением вещей. Группы политической эмиграции пробовали замутить дружественную атмосферу, создавшуюся вокруг нашего приезда, и с самого начала стараются испортить хорошие отношения, установившиеся с католической церковью. Но эти попытки были единогласно осуждены Секретариатом Собора...»

Решающим аргументом в давлении, оказанном на украинских епископов, было указание на то, что своим поведением они нарушают тайные переговоры и этим препятствуют освобождению того, за чье освобождение они борются. Архиепископ, митрополит Иосиф Слипый должен быть освобожден на основании тайного соглашения Ватикана с Москвой. Но Москва тоже предъявила условие, что он будет освобожден только в том случае, если это не вызовет огласки и если его 17-летние тюремные переживания «не будут использованы для антикоммунистической пропаганды». Следовательно: *свобода ценою молчания...*

В организации этой сделки принимал участие тот же Виллебрандтс и «наблюдатель» Собора Виталий Боровой. Митрополиту Слипому был тогда 71 год. Здоровье его было подорвано многолетним заключением в тюрьмах и лагерях. Между прочим, у него были отморожены ноги. Последнее время он находился в лагере под номером 385/10, около Темняровска, в Мордовской Автономной Республике. 28 января 1963 г. его привезли в Москву и поместили под надзором в отеле. В субботу 2 февраля прибыли в Москву Виллебрандтс и Боровой.

Формальности были улажены без шума. 4 февраля Слипого вывезли из Москвы в спальном вагоне ввиду того, что состояние здоровья митрополита не позволяло ему лететь самолетом. Путь был через Варшаву, Прагу и Вену. Митрополит Слипый был одет в темный штатский костюм, так что ничто не указывало на его духовное звание. Важно было, чтобы он в дороге по странам свободного мира не был узнан журналистами, которые могли бы сделать из этого сенсацию.

На итальянской территории поезд задержался ночью в местности Орте, за несколько станций до Рима, чтобы не высаживаться на главном вокзале Термини в Риме. Тайна была вполне сохранена. В полночь 9 февраля в Орте приехал личный секретарь Иоанна XXIII, монсиньор Лорис Каповилла. Отсюда автомобилем митрополита Слипого повезли в Гроттаферата, монастырь Восточной Церкви. Только на следующий день сюда прибыли кардиналы Чиконьяни и Тэста, которые на папском автомобиле привезли Слипого в Ватикан. Его поместили в приготовленной для него квартире, в доме рядом с приютом св. Марты. Но навещать его можно было, только получив специальное разрешение соответствующих властей римской Курии. «Джентльменское соглашение» между Москвой и Ватиканом было точно выполнено.



Так началась новая эра. В результате маневра Никодима православные церкви были изолированы от сношения с Ватиканом. Ватикан остался один на один с Москвой. Отдавали ли себе отчет в Ватикане, что достигнутые соглашения на деле являются только *соглашением с чиновниками атеистического коммунистического центра*, переодетыми в рясы?

Вскоре после этого, при содействии советских делегатов, последовало награждение папы Иоанна XXIII премией Мира им. Балзана. Хрущев и патриарх Алексий прислали поздравительные телеграммы. Весь «прогрессивный» мир в восторге! Никогда еще не было такого «морального разряжения» напряженной атмосферы. Иоанн XXIII шлет благодарственную телеграмму первому секретарю коммунистической партии Советского Союза, желая ему, со своей стороны, «счастья и пре-

успевания» и уверяя при этом, что он будет и впредь продолжать свои усилия *в деле содействия всеобщему миру...*

Дальше состоялась официальная аудиенция члена коммунистического Государственного Совета Народной Польши, Ержи Завейского, а также прием главного редактора «Известий» Аджубея. Аджубей, зять Хрущева был принят вместе с его женой Радой. Это вызывает в печати сенсацию и энтузиазм среди «прогрессистов» всего света!

Но наступает кульминационный момент: обнародование 11 апреля 1968 г. энциклики «*Pasem in Terris*» («Мир на земле»). Первый раз московское правительственное агентство ТАСС привело из энциклики Папы длинные выдержки (300 слов), подчеркивая исключительное ее «миролюбие». «Известия» поместили сокращенный и симпатизирующий этой энциклике Папы комментарий. Никита Хрущев дал интервью итальянской газете «*Il Giorno*», в котором очень высоко оценил «реалистическую позицию» Папы. Он сказал: «Мы с одобрением приветствуем выступление Иоанна XXIII...» и т.д.

Но Всемогущий Бог посылает Папе недомогание, которое переходит в тяжелую болезнь. Советская пресса каждый день публикует бюллетени о состоянии его здоровья. Когда наконец 3 июня 1968 г. Иоанн XXIII умирает, в этой же советской прессе появляется статья под заглавием: «Скорбь охватила целый мир». Судя по внешним признакам, трудно отрицать, что не было именно так. Все, кто стремился к мирному сосуществованию с миром коммунистического рабства, искренне оплакивают Иоанна XXIII. А таковых сейчас очень много в свободном мире. Подневольные же не имеют возможности высказаться.



Великое дело Иоанна XXIII пережило его. То, что пришло позднее и происходит сейчас, уже во времена папы Павла VI, только продолжение дела папы Иоанна XXIII. Значительное углубление его. Орден иезуитов, заклеянный коммунистами, как «черная сотня католицизма», превращается внезапно в форпост соглашения с коммунизмом. Проявляется солидарность коммунистов с католиками в Бразилии, Мексике и Чили; реформы в литургии, которые допускают в костеле джаз; кризис католицизма в Голландии и в других странах; повсемест-

ные соглашения с коммунистическими правительствами; окончательное прекращение всякой антикоммунистической деятельности со стороны Ватикана.

Мне кажется, что все это можно назвать: КАПИТУЛЯЦИЯ.



Митрополит Никодим остался верен Иоанну XXIII до конца, даже после смерти великого Папы. Как сообщает «Религия и атеизм в СССР» (ежемесячное обозрение под ред. др. Н. А. Теодорович в Мюнхене), Никодим для своей диссертации на звание магистра выбрал тему: «Иоанн XXIII — Папа Римский». Этим выбором темы для диссертации он привлек к себе еще больше симпатии «прогрессивных» кругов и ныне руководящих сфер в римской Курии. Среди других — и Папской коллегии «Russicum», которая до последнего времени была под особым обстрелом советской пропаганды, подозревавшей в ней скрытую антисоветскую диверсию, и которая теперь переделана в «Дом для паломников из России». Очевидно, «паломников» по выбору того же Никодима. Одновременно она превращена и в научный институт для деятелей заграничного отдела Московской Патриархии, т.е. опять же для «чекистов в рясах», выбиравшихся тем же Никодимом.

Мне кажется, что при всей непогрешимости Папы в делах веры, папа Иоанн XXIII все же ошибся, увидев в этом «высшее предопределение», указавшее ему вступление на избранный им путь.

Иосиф Мацкевич

От редакции. Поднятая Иосифом Мацкевичем тема духовной капитуляции Запада перед большевизмом представляется нам чрезвычайно важной. В русской православной Церкви за рубежом эта духовная капитуляция части этой Церкви выразилась в принятии «дарования» Москвой Американской митрополии так называемой «автокефалии». Как известно, это произошло в результате долгих «тайных переговоров» некоторых представителей митрополии с тем же пресловутым «чекистом в рясе» митр. Никодимом. *Р. Г.*

ВЕЧНЫЙ МИКОЯН

КОНТРАБАНДИСТ И КОНСПИРАТОР (1918-1920)

Уход со сцены «26» автоматически делает Микояна главным актером бакинского подполья. Через Деникинский фронт Микоян восстанавливает связь с Москвой, посылает в ЦК отчетные письма, завязывает связи с ближайшим советским портом на Каспийском море — Астраханью, где находился штаб будущего члена Политбюро Кирова, отправляет туда регулярно крупные партии контрабандной нефти на туркменских судах. Вот эта операция по покупке и по нелегальной перевозке нефти для советского тыла собственно и была первой торговой школой будущего красного купца СССР. «Нужда в нефти отчаянная. Все стремления направьте к быстрейшему получению нефти», — телеграфировал Ленин в Астрахань. Исполнение приказа Ленина зависело лично от Микояна. И Микоян делал все, чтобы его выполнить. Бакинские капиталисты хорошо знали, что Микоян закупает у них нефть, чтобы отправить ее Ленину, но Микоян платил золотом и гораздо дороже, чем нефть стоила на мировом рынке. Впрочем бакинские капиталисты занимались нелегально тем, чем легально занимались их соседи — английские нефтяные компании в Иране. На возражения морального порядка, можно ли торговать с большевиками, из Лондонского сити отвечали крылатой фразой Ллойд Джорджа: «торговать можно даже с каннибалами»!

В мае 1919 г. Микоян выступает на бакинской партконференции с докладом, в котором разбирает ошибки «26» и намечает дальнейшую линию борьбы за власть.

Максимальное использование легальных возможностей для организации нелегальной работы, такова была эта линия. Так

как одним из главных легальных средств борьбы считалось право рабочих на забастовку, признаваемое как англичанами, так и муссаватистским правительством, то Микоян начал проведение новой линии как раз с объявления всеобщей забастовки бакинских рабочих. Микоян выдвинул во время стачки много экономических требований — и сокращение рабочего дня, и увеличение зарплаты, и национализация богатств буржуев, и предоставление рабочим конфискованных буржуазных квартир, и завоз продовольствия извне, а политическое требование лишь одно: установление в Баку коммунистической власти! Это последнее легальное требование Микояна даже добродушному английскому военному губернатору Баку показалось чрезмерным — Микояна посадили в тюрьму, но так, чтобы он мог убежать. Микоян так и сделал. Однако он не бежит в безопасный советский тыл, а остается в подполье в Баку. Но «отходит» от политики, чтобы заняться коммерцией. Таков был приказ Москвы ввиду важности нефтяных операций Микояна.

К удивлению всех его знающих, Микоян словно перевоплощается — из бунтаря-революционера в коммерческого дельца — «нефтяного миллионера». Микоян приобретал и продавал нефтяные акции, стал завсегдатаем биржи, участвовал в благотворительных сборах, давал банкеты и стал на дружескую ногу с городским начальством. Кто мог бы подумать, что этот молодой, энергичный, богатый армянин с хорошими манерами и богословским образованием к тому времени уже стал главным резидентом и ЦК и Чека! Его коммерческая деятельность, жизненно важная для Красной Москвы, служила одновременно и камуфляжем и орудием личной власти над местными большевицкими организациями.

Вскоре, правда, не из-за политики, а из-за интриг одной части бакинских капиталистов, которая в делах коммерческих «ревновала» Микояна к другой части, Микоян опять попал в опалу — англичане и муссаватисты его арестовывают, но предлагают выбор: тюрьма в Баку или воля в Тифлисе. Микоян выбирает волю в Тифлисе, чтобы через неделю вернуться обратно в Баку.

Микоян как ни в чем не бывало и с еще большей энергией берется как за расширение подпольной партийной сети, так и за увеличение тоннажа контрабандной нефти в Астрахань. В

той и другой области он делает успехи, которые не удавались даже легальной власти бакинских комиссаров. В мае 1919 г. в письме в Москву, на имя ЦК партии, Микоян гордо сообщает: «Весь бакинский пролетариат в нашем распоряжении. Партийная организация крепкая».

Чтобы увеличить вывоз нефти, Микоян создает специальную «Морскую экспедицию» контрабандных судов, команды которых были укомплектованы отборными головорезами. В официальной «Истории Гражданской войны в СССР» о роли этой экспедиции сказано: «Морская экспедиция по заданию ЦК вывозила из Баку в Астрахань бензин и другие нефтепродукты, приобретенные на черном рынке, а из Астрахани доставляла в Баку деньги, оружие и литературу».

Микоян не только организует перевозку нефти, не только расширяет подпольную сеть коммунистических организаций, но он отважился и на другое, на более дерзкое и столь же опасное предприятие — он разрабатывает план по созданию нелегальных коммунистических ячеек в самой английской оккупационной армии в Закавказье, которая (армия), по советским данным, составляла около 30 тыс. человек. В самом Баку, по утверждению советских источников, Микояну даже удалось осуществить свой план: среди английских солдат создается коммунистическая группа, работавшая под руководством Бакинского Комитета большевиков. В Москве за революционной и коммерческой карьерой Микояна следят с восхищением. Трудно сказать, что в нем больше ценят — отважного революционера или талантливое контрабандиста. Ведь в Советской России к концу 1918 года положение большевиков было более чем отчаянное, казалось даже безнадежное. С юга наступает — генерал Деникин, с востока — адмирал Колчак, с запада — генерал Юденич, на севере и на юге высадились англичане, на Дальнем Востоке — японцы и американцы, на Черном море — французы, на Украине и в Белоруссии правят нац. рады, в Азербайджане правят муссаватисты, в Армении — дашнаки, в Грузии — меньшевики, а Ленин правит советской Россией, которая к осени 1919 года состояла лишь из трех областей — Петроградской, Московской и Поволжья.

В такой тяжелой обстановке Баку, находящийся во вражеском тылу, был единственным пунктом бывшей Российской

империи, откуда советское правительство могло получить горючее как для Красной армии, так и для военной промышленности.

Понятно, какое значение советское правительство придавало работе Микояна по организации нелегального транспорта бакинских нефтепродуктов в Москву. Этим же объяснялось и то, почему большевики тогда рассматривали главный город на Волге Царицын как самый важный для себя военно-стратегический пункт — пункт коммуникации как на нефтяной Кавказ, так и на индустриальный Восток, оборонять который Ленин и поручил лично Сталину, выставив ему мандат с чрезвычайными правами расстреливать на месте без суда и следствия дезертиров, саботажников и контрреволюционеров.

Мастерству своей будущей инквизиции Сталин учился, щедро пользуясь и даже злоупотребляя этим ленинским мандатом: «Смерть одного — несчастье, смерть целой семьи — трагедия, а смерть миллионов — это просто статистика» — эти слова, приписываемые Сталину, относятся именно к царицынскому периоду его карьеры. «Запрудим Волгу вражескими трупами, но Царицына не отдадим», — это тоже приписывается ему. Сталин выдержал обещание — Царицын остался в руках красных. За это Сталин и получил в 1919 г. свой «первый орден Красного знамени», а в 1925 г. Царицын был переименован в Сталинград. Вот из этого Царицына Сталин руководил нефтяными операциями Микояна, дополняя его «туркменскую флотилию» и «морскую экспедицию» судами из волжского пароходства, а в Астрахань в качестве руководителя Красной армии были назначены член ЦК Шляпников, Киров, Левандовский и Ф. Раскольников с одной лишь задачей: любой ценой удержать Астрахань как единственный нефтяной порт и важнейший пункт связи с Микояном.

Жизненная важность бакинской нефти для Красной армии и сделала Микояна важным, если не важнейшим, коммунистом Кавказа. Этим только можно объяснить, что, несмотря на сопротивление армянских и грузинских коммунистов в связи с делом «26» и якобы на личное обогащение Микояна на «нефтяных махинациях», Микояна по приказу Москвы вводят в состав Кавказского краевого комитета партии в Тифлисе, где сидели только кавказские ветераны большевизма. Правда, радость признания заслуг Москвой омрачалась все еще про-

должающейся закулисной травлей обойденных соперников на месте. Чем выше Микоян поднимался по партийной лестнице, тем громче ругались соперники — в Армении его называли «грузинским кинто», в Грузии «армянским факиром», а в Баку выражались более зловеще — «Иуда!», намекая на гибель «26».

Поэтому когда в конце лета 1919 г. Микояна вновь арестовывают, на этот раз уже грузинское меньшевицкое правительство, то в Москве подозревали, что меньшевики арестовали большевика Микояна по доносу самих же большевиков. Микоян обвинялся в заговоре против Грузинской республики, который выразился в финансировании подпольных большевицких ячеек, а также в попытке подкупа правительственных чиновников для шпионажа. Новый арест Микояна был и в прямой связи с его славой «красного миллионера». Сам Микоян делал все, чтобы поддержать такую славу, хорошо зная, что ничто не помогает росту славы, как именно сама слава. «В дорожном чемодане Микояна больше золота, чем во всем государственном банке Грузии», говорили тифлисцы. Вот это самое золото и загнало Микояна в тюрьму, но оно же его и освободило.

Во время одной из очередных подпольных встреч в духанчике с единомышленниками Микояна арестовали (в официальной биографии сказано, что это был пленум крайкома партии) в поисках его «золотого чемодана», но он полиции не достался — чемодан был на хранении у друзей. За часть этого золота Микоян подкупил надзирателя тюрьмы и устроил побег себе и своему помощнику Стуруа. Они переехали из Тифлиса во все еще английско-муссаватистский Баку.

Тем временем дела большевиков в центре шли все хуже. Генерал Деникин взял Орел и двигался к Москве. Ленин выбросил лозунг «Социалистическое отечество в опасности — все на Деникина!» Более восьмидесяти процентов всех коммунистов направили в действующие красные армии. Все материальные ресурсы деревни и города были конфискованы в пользу армии; хлебный паек в тылу составлял менее двухсот граммов; люди забыли о существовании масла и мяса; даже сам Ленин питался вместе с лакеями и сторожами в общей столовой Кремля, где не каждую неделю давали мясное блюдо; все-спасающий в таких случаях «черный рынок» отсутствовал на-

чисто — за продажу пуда муки или пару обуви Чека расстреливала людей на месте, так же поступали и с теми советскими чиновниками, кто, пользуясь своим высоким служебным положением, присваивал себе более повышенные нормы снабжения. Словом, был введен полный «коммунизм» (он так официально и назывался «военный коммунизм»).

В буржуазном Баку картина была другая. Конечно, он тоже не утопал в роскоши — война оставалась войной и для Баку, зато резиденция Микояна именно из-за войны и для обслуживания этой войны превратилась в сказочный островок изобилия, где высокопоставленные чины местной администрации и проворные дельцы нефтяной биржи могли вдоволь получать на закуску икру, наесться кавказским шашлыком, пить знаменитый сараджевский коньяк и лакомиться изысканными яствами восточной кулинарии из Ирана. Завсегдатаи резиденции Микояна были убеждены, что любой исход войны между Лениным и Деникиным одинаково приемлем для него — выиграет Ленин, Микоян будет московским комиссаром, выиграет Деникин — бакинским миллионером! «Если бы Микоян родился в Америке, он был бы миллионером» — сказал автору этих строк известный американский сенатор Рассель.

Еще в 1917 году Микоян был помолвлен со своей будущей женой, троюродной сестрой Ашхен Туманян. Роль невесты Микояна в этот период его карьеры исключительно велика (по словам Микояна, свадьбу они отложили до победы большевизма). Везде, где Микоян встречал препятствия, всегда выручала Ашхен. Ее хорошее образование, ее живая и жизнерадостная натура, ее ум и красота в сочетании с прирожденной, чисто женской дипломатичностью делали ее душой и высшего бакинского общества. Ее внешняя «аполитичность» импонировала и доверчиво располагала к ней даже политических врагов ее мужа. Между тем это было полнейшее заблуждение — в хорошо припрятанном сундучке Ашхен лежал ее билет члена большевицкой партии до большевицкой революции 1917 года!

Партийные обязанности ее, вероятно, лежали в области разведки, в которой большевики широко пользовались услугами коммунисток, например, давать регулярную информацию о делах Грузинской меньшевистской республики. Владея всеми тремя языками республики — грузинским, армянским и русским

— и имея старые связи в высших тифлисских кругах, она очень подходила для партии именно как информаторша. Ту же работу она могла вести и в Баку. Тут задачи ее были более сложные, и ценность информации тоже была велика — надо было разведывать кавказские планы англичан, национальные планы муссаватистов, контрабандные возможности нефтяного предприятия Микояна. Если по всем этим линиям подпольный штаб Микояна передавал Москве самые достоверные сведения, то львиную часть этих сведений люди приписывали личным связям Ашхен. Правда, тут она наткнулась на конкурента, которого сначала обожала а потом, когда он арестовал ее сыновей, люто возненавидела на всю жизнь — на пресловутого впоследствии главу советской тайной полиции Лаврентия Берия. До сих пор не выяснена подлинная роль Берия, жившего в то время в английском Баку. Каждый, кто при Сталине пытался ее выяснить, кончал жизнь либо от чекистской пули в затылок (член ЦК партии Г. Каминский), либо вынужденным самоубийством (член Политбюро ЦК партии С. Орджоникидзе). Общеизвестно было только следующее — формально Берия продолжал учиться в Политехническом Институте в Баку (успешно окончив архитектурное отделение Бакинского индустриального техникума), дружил с английскими властями, якобы был засватан за сестрою муссаватистского начальника бакинской городской полиции Багирова и бывал регулярно гостем в доме Микояна. «Советский разведчик при англичанах» — гласила партийная версия о Берия; — «английский разведчик при Советях», — гласила народная молва. Убивая Берия в 1953 г., ЦК КПСС объявил, что правдой оказалась народная молва.

Л. Берия через голову Микояна связывался непосредственно и со Сталиным, который потом сделал его своим главным информатором против старых грузинских большевиков. Волевой, находчивый, молодой грузин с первых же шагов обнаружил зачатки тех качеств, которые потом предрешат его профессиональную карьеру: нюх природного сыщика, дар политической интриги, моральная неразборчивость проходимца, черствость души. Микоян во всю использовал именно эти качества своего сотрудника. Надо ли вступить в интимную связь с пожилой дамой, чтобы выведать тайну ее высокопоставленного мужа, нужно ли сочинить фальшивку, чтобы поссорить

политические партии или группы между собою, появилась ли необходимость убить опасного свидетеля из чужой партии или неугодное лицо в собственной среде, — во всех таких случаях в действие вступал Берия. Но все достижения Берия шли на conto Микояна, кроме тех, которые Берия успевал докладывать Сталину прямо.

Известная привычка Сталина не только шпионить за своими личными друзьями, но и натравлять их друг на друга, сказывалась и здесь. Сталину важна была информация Микояна, но не менее важна была информация и о самом Микояне. Единственный человек, который успешно мог справиться с этой задачей, был тот же Берия. И Берия постепенно превратился в личного информатора Сталина, а через него и председателя Чека Ф. Дзержинского. Микоян знал это точно, знал также, что у него нет отныне никакой возможности избавиться от сотрудничества Берия, больше того — в принципе он даже одобрял, как подпольщик, меры предосторожности центральной власти, но Берия, как блюститель ее революционной чести, казался ему совершенно неподходящим человеком. Для Берия, как и для всех чекистов, русская революция была не великим социальным актом, а результатом просчетов царской полиции. Из работы Ленина «Что делать?» они вычитали, что революционеры перехитрили полицию, но теперь они убеждены, что чекисты перехитрят и самих революционеров.

Впоследствии Сталин и его ученик Берия на основе этой «полицейской философии» создадут не только самое идеальное в истории полицейское государство, но и введут такой ритуал периодического, массового превентивного кровопускания, называемый «чистками», что начисто ликвидируют возможности малейшего неповиновения режиму как народной массы, так и отдельных личностей. В выработке этой «полицейской философии» ближайшее участие примет и Микоян по соображениям, о которых будет рассказано дальше.

Но сейчас ему было важно предупредить вредные последствия чрезмерной «бдительности» Берия как для дела, так и лично для себя. Микоян знал, что информационная плодовитость и полицейская «бдительность» Берия основана на его болезненном тщеславии быть первым в своем ремесле. Ничто не может обезвредить это тщеславие как именно его призна-

ние. Микоян так и поступил. По его представлению Берия был назначен руководителем бакинского подпольного Чека.

Исключительно важной вехой в карьере Микояна явилась его встреча с Серго Орджоникидзе. Серго Орджоникидзе был членом большевицкой партии со дня ее создания (1903), входил в гвардию Ленина, политическое образование тоже получил непосредственно у Ленина в эмигрантской партийной школе в Лонжюмо под Парижем, где Ленин читал курс марксистских наук и свое учение о партии и революции. На пражской конференции 1912 г. Орджоникидзе избирается в состав ЦК партии и назначается руководителем нелегального русского бюро ЦК для работы в России.

Когда после июльских вооруженных демонстраций большевиков в 1917 г. Ленин должен был бежать в Финляндию, спасаясь от ареста по обвинению в шпионаже в пользу Германии, то Орджоникидзе был главным связным между Лениным и ЦК. Принял активное участие в октябрьском перевороте большевиков, после которого был направлен Чрезвычайным комиссаром на Украину, а когда началось формирование в казачьих областях Кавказа Белой армии, то Ленин направил его в тыл белых, подчинив ему все легальные и нелегальные органы партии и Чека Кавказа. Ленин высоко ценил личные качества Серго Орджоникидзе: «По отзывам и Уншлихта и Сталина, Серго надежнейший военный работник. Что он вернейший и дельнейший революционер, я знаю его сам больше 10 лет», — писал Ленин на одном из донесений об Орджоникидзе.

Национально-государственная программа Белой армии была сформулирована ее вождем генералом Деникиным в лозунге: «За единую, неделимую Россию!» Такая программа не могла быть популярной как раз на многонациональном Кавказе. Не пользовалась симпатией и аграрная программа Деникина, которая сводилась к тому, что аграрные отношения в деревне остаются неприкосновенными до созыва Учредительного Собрания. Вот против этого «правителя Юга России», против Деникина Ленин и направил «Чрезвычайного комиссара Юга России» Орджоникидзе. Перед Орджоникидзе была поставлена задача — во-первых, создать в тылу белых перманентное партизанское движение, опираясь на горские народы, во-вторых, проповедуя национальное самоопределение этих

народов, предупредить создание там независимого национального государства кроме как в форме «советской независимости», в третьих, превратить Северный Кавказ в большевицкий плацдарм будущего «освободительного похода» на Грузию, Армению и Азербайджан.

Сплотив вокруг себя горскую националистическую интеллигенцию, среди которой большое место занимало мусульманское духовенство, Орджоникидзе первую часть своего задания выполнил успешно — Северный Кавказ, как и во времена знаменитого имама Шамиля, под руководством безбожника Орджоникидзе восстал за шариат, за землю, за национальную свободу против Деникина. Впоследствии в своих «Очерках великой смуты» Деникин констатировал, что, двигаясь летом 1919 г. на Москву, он должен был оставить в одной только Чечено-Ингушетии $\frac{1}{3}$ своих вооруженных сил, так как Чечено-Ингушетия представляла собой вечно бурлящий революционный вулкан. В разгаре деникинского похода на Москву, Орджоникидзе телеграфировал лично Ленину, что по его предложению во Владикавказе (потом этот город был переименован в его честь в г. Орджоникидзе) вооруженный съезд ингушей провозгласил Советскую власть в тылу Деникина и что одновременно восстала Чечня, нанося жестокие потери деникинцам.

Однако в феврале 1919 г. Деникин занял Владикавказ, Орджоникидзе спасся бегством в горы, к ингушам и чеченцам. Белые назначили крупную сумму денег за его выдачу, но горцы не выдали. Тогда был предъявлен ультиматум, угрожавший сожжением аулов, если не будет выдан Орджоникидзе. Но чеченцы и ингуши ответили, что Орджоникидзе у них гость, а законы кавказского гостеприимства им дороже не только своих аулов, но и собственной жизни. Когда же белые от угроз перешли к делу и сожгли до тла более десятка крупных аулов Чечено-Ингушетии за «большевизм» и стали добираться до ущелий, где скрывали Орджоникидзе, то Орджоникидзе убежал через Кавказский хребет в родную, но меньшевицкую Грузию. В Грузии Орджоникидзе жил совершенно свободно, несмотря на то, что тут же, на глазах грузинского правительства, готовил вооруженное восстание против него. Даже больше. Зная, что разведка английской оккупационной армии имеет компрометирующие данные в отношении подрывной работы

Орджоникидзе против английских войск, президент Грузии, меньшевик Ной Жордания, предупреждал большевика Орджоникидзе от чрезмерного увлечения своей опасной профессией. Это сам Орджоникидзе рассказывал впоследствии: «Когда я в 1919 г. принужден был волей обстоятельств жить некоторое время в Тифлисе, Ной Жордания сказал мне через товарища: пусть Серго не появляется на улице, мы его не арестуем, но англичане знают о том, что он здесь, и арестуют его». Ровно через два года Орджоникидзе пройдет огнем и мечом по этой родной стране во главе Красной армии, даже без ведома и вопреки советам Ленина о «мирном» завоевании Грузии, — по стране, независимость которой была признана самой Москвой. Но когда Орджоникидзе разгромил Грузию и оккупировал Тифлис, Ленин не стал его судить — победителей не судят!

Однако вернемся к хронологии. Скоро, то ли по требованию Москвы, то ли потому, что Орджоникидзе почувствовал правоту своего меньшевицкого покровителя, он покидает Тифлис и переезжает в Баку. Вот тогда и происходит первая встреча между Орджоникидзе и Микояном, которая окажется судьбоносной в дальнейшей карьере Микояна. Из Астрахани Микоян уже имел указание, чтобы была подготовлена переброска Орджоникидзе туда по Каспию.

Хотя партийная молва все еще приписывала трагедию «26» если не злему умыслу, то опрометчивости Микояна, Орджоникидзе целиком положился на Микояна в отношении плана его собственной переброски в советскую Россию. Микоян купил рыбацкое парусное судно, снабдил его рыболовными снастями для Орджоникидзе, его жены и спутников — чекистов. Приготовил истрепанную одежду заправских рыбаков и, на всякий случай припрятав под снасти пулеметы и гранаты, отправил их в Астрахань. Злые языки пророчили, что Орджоникидзе и его команду ждет участь «26». Так как ни от Орджоникидзе, ни от его спутников долго не было никаких сведений, то злые языки еще более развязались: «Микоян направил Орджоникидзе к '26',» — говорили в Баку.

Но на этот раз были приняты меры предосторожности и против самого Микояна — вся команда баркаса была составлена лично Кировым из матросов-чекистов и прислана из Астрахани. Ею руководил известный тогда большевик, контрабан-

дист нефти, Михаил Рогов. Задача Микояна заключалась в том, чтобы гарантировать безопасность самой подготовки переброски в Баку и достать надежное судно для этой цели.

Скоро из центральных газет бакинцы узнали, что Орджоникидзе прибыл в Москву и что уже получил новое назначение на польский фронт членом Революционно-Военного Совета. Благополучный переезд Орджоникидзе Микоян рассматривал не только как свой личный успех, но и как свою окончательную реабилитацию за катастрофу «26». И все-таки в глубине души оставалась все еще не потухающая искра досады, даже сомнения — «может быть, Орджоникидзе увез в Москву вместе с моими отчетами и сплетни обо мне?» Ведь в его пристрастных распросах о последних днях «26», в его лукавом взгляде опытного конспиратора и разведчика так и сквозил немой вопрос: «почему же, ты, дружок, который по партийному протоколу должен был стоять среди бакинских комиссаров на одном из первых мест, не оказался даже на двадцать седьмом месте?»

Да, конечно, Орджоникидзе вместе с Микояном провел в Баку закавказскую партийную конференцию, вместе с ним проинструктировал главарей подпольной сети, наконец, Орджоникидзе жил, как в собственном доме, в его гостеприимных апартаментах, разве всего этого недостаточно, чтобы видеть, каким большим доверием проникся к нему Серго? Но с другой стороны, почему Орджоникидзе так много и долго встречался как раз с теми коммунистами, которые были в оппозиции к Микояну, почему он так часто уединялся с его сотрудниками, в том числе с тем же Берия (может, грузин грузину доверяет больше?), почему, и это Микояна, должно быть, мучило больше всего, почему Орджоникидзе наотрез отказался от сопровождения его в Астрахань местной командой, а ожидал прибытия особой команды Кирова?

Вскоре произошло событие, которое не могло не потревожить Микояна и которое не могло не стоять в связи с докладом Орджоникидзе в Москве.

Закавказский подпольный комитет партии получил зашифрованное распоряжение ЦК партии, в котором Микояну предписывалось немедленно прибыть в Москву для доклада по делу «26». Мучительные сомнения, дикие предположения, обоснованный страх и только в очень малой дозе надежду на

лучшее переживал бы человек, получивший такой приказ в положении Микояна. В то чрезвычайно опасное для Советской власти время не особенно церемонились не только с врагами, но и со своими, которых подозревали в предательстве. Кавказские соперники Микояна постоянно заботились, чтобы такое подозрение в отношении Микояна не потухало. Может быть, это подозрение увез с собою и Орджоникидзе. И если в этих условиях Микоян решается двинуться в Москву, чтобы держать ответ перед председателем Чека Ф. Дзержинским, то это надо объяснить не только его невиновностью в деле гибели «26», не только его личной храбростью, но и его неосведомленностью, как неразборчиво действовала чекистская машина в центре в таких путаных ситуациях.

В Москве Микояна сразу принял приземистый, широкоплечий человек с лысой головой, промонгольским лицом и рыжей бородкой — Микоян онемел от неожиданности: это был сам Ленин! С тех пор, как Микоян вступил в партию, у него только и была одна мечта — увидеть и пожать руку «вождю мировой революции — дорогому Ильичу!» Но меньше всего он ожидал, что это может случиться сейчас. Сразу отпали все сомнения. Микоян знал, что свидание с Лениным самая высшая награда за его работу.

Официальный биограф Микояна считает важным указать что «Микоян был принят Лениным и Сталиным», чтобы подчеркнуть роль Сталина в самом начале карьеры Микояна. Разумеется, она была исключительна. Редко какой-нибудь кавказец, которого лично не знал Ленин, переступал через порог его кабинета без ведома ревнивого «наркомнаца» Сталина. Каждого «новичка» из национальных окраин представлял Ленину сам Сталин, а быть представленным Сталиным — это уже гарантированное начало большой карьеры. Документы времени говорят, что Ленин увидел в Микояне тот эластичный инструмент, который окажется полезным ему в сложнейших национальных условиях Кавказа. Да, «у страха глаза велики» — напрасно Микоян опасался «доклада» Орджоникидзе. Именно по этому докладу Микоян и был вызван в Москву, принят Лениным и назначен членом Политического штаба ЦК по советизации Кавказа. Принятие Лениным возвысило Микояна в глазах кавказцев и даже в собственных глазах на целую голову: отныне семафор к вершине кремлевского Олимпа был

открыт. Быстрота движения к этой вершине теперь зависела исключительно от самого Микояна.

Талант исполнителя при совершенной атрофии души, абсолютный иммунитет от людских предрассудков, называемых «моральным кодексом», природный дар ориентироваться в обстановке и в отношении людей, внутренняя свобода менять не только друзей, но и взгляды, наконец, способность к риску жизнью, если ею надо рисковать во имя общей цели, — таковы должны быть эти качества. Микоян показал, что он неплохо овладел этими качествами, кроме одного: Сталин разучил его рисковать своей жизнью, которой он так легкомысленно играл в бакинском подполье.

В названный политический штаб советизации Кавказа входили — Орджоникидзе, Киров, Микоян, «освободитель» Грузии Буду Мдивани и другие. Главная задача штаба сводилась к организации одновременного двойного удара против Баку и Азербайджана — наступление Красной армии извне и поднятие вооруженного восстания внутри. Приурочивалось все это к уходу англичан (англичане ушли в ноябре 1919 г.). Для дачи инструкции по подготовке этого восстания Микоян, оказывается, и был вызван к Ленину. Его биограф из «Большой Советской Энциклопедии» так и пишет, что в конце сентября 1919 г. Микоян, на лодке, по тому же маршруту, что и Орджоникидзе, прибыл в Астрахань, а оттуда в Москву «для разрешения в ЦК партии ряда вопросов партийного строительства и организации восстания на Кавказе».

В начале 1920 г. Микоян покинул Москву, чтобы перебраться обратно в Баку. Путь лежал через советский Туркестан, Каспий — Баку. В посланной ему в догонку инструкции Кирова от марта 1920 г. говорилось: — «Наладьте регулярную связь с отрядами (вооруженные рабочие отряды в Баку. А. А.), усиленно готовьте отряды для совместных действий с XI Красной армией... Особенно обратите внимание на подготовку уничтожения мостов, чтобы не дать противнику увозить бронепоезды... Усиьте разведку... нам важно знать сосредоточение противника, расположение складов, тыловых учреждений... Вам необходимо употребить все силы на поддержание регулярной связи на море, чтобы в нужный момент мы могли дать точные задания в связи с общими задачами фронта».

Однако инструкция Кирова прибыла в Баку раньше самого Микояна. После долгого, опасного и изнурительного блуждания по морю, рыбацкая лодка Микояна, по ошибке, вместо азербайджанских берегов, причалила к дагестанским берегам, то-есть в глубокий тыл белых. Когда Микоян заметил свою ошибку, уже было поздно — к нему навстречу шел сторожевой катер с вооруженными людьми на борту. Подозрительного «рыбака» не очень вежливо взяли на катер и повезли в комендатуру — но Микояну и на этот раз не изменило его обычное счастье — вместо белых жандармов в комендатуре его приняли Орджоникидзе и Киров, только что вступившие в город. В ночь с 27 по 28 апреля 1920 г. передовые части XI Красной армии вступили в Баку. Микоян сопровождал эти части на бронепоезде и к четырем часам утра занял бакинский вокзал. Прямо с вокзала Микоян выпустил «Обращение» — «Всем, Всем, Всем и Ленину», в котором сообщалось, что в Баку и Азербайджане народ поднял всеобщее вооруженное восстание, провозгласил Советскую власть, создал Временный Азербайджанский революционный комитет.

В «Обращении» к Ленину этот мнимый комитет просил «ввиду невозможности удержать власть собственными силами, прислать в Азербайджан отряды Красной армии». Составленное постфактум «Обращение» должно было служить оправданием оккупации Красной армией независимого Азербайджана. Ни в Баку, ни во всем Азербайджане ни один азербайджанец не восстал против своего правительства, да и в составе XI Красной армии, вступившей в Баку, тоже не было ни одного азербайджанца, если им не считать армянина Микояна (где-то в обозе, кажется, был еще Нариманов, один из будущих председателей ЦИК СССР).

30 апреля в город прибыл и главный штаб XI армии во главе с Орджоникидзе и Кировым. Впоследствии Орджоникидзе, воздавая должное участию Микояна в оккупации Азербайджана, сообщил как бы мимоходом, что приказ о наступлении на Азербайджан был дан Лениным и Сталиным независимо от просьбы несуществовавшего тогда Азербайджанского революционного комитета Микояна. Орджоникидзе сказал: «по прямому указанию Ленина и Сталина вместе с товарищами Кировым, Микояном мы шли с Красной армией на помощь азербайджанским трудящимся, бакинскому пролетариату, что-

бы помочь ему освободиться от ненавистного муссаватистского правительства». Но большевики точно знали, что без постоянной оккупации Красной армии Азербайджан удержать невозможно. Однако интересы дела требовали, коммунистический режим, равно как и оккупацию, представить не следствием внешнего завоевания, а как результат внутреннего развития, даже как акт добровольного «брака» или воссоединение близких «родственников». Киров так и говорил: «Ровно в полночь 27 апреля у дверей, ведущих в страны Восходящего солнца, совершилось событие, от которого прогнившая буржуазная система мира потерпела новый удар...»

Это событие заключается в том, что Азербайджан повенчался с великой советской страной. Но более прямой и откровенный Орджоникидзе 1 мая 1920 г., то-есть через три дня после занятия Азербайджана, простодушно признался: «Азербайджанская советская власть без ее старшей сестры — без советской России существовать не может». Надо сказать, что история доказала всю правоту Орджоникидзе.

Говорят, что существует какой-то таинственный закон серии несчастий и катастроф, если это так, то надо думать, что существует столь же таинственный закон серии счастья и триумфов. Если первое счастье Микояна было то, что он буквально вырвал у палачей свою жизнь во время расстрела «26», то второе его счастье несомненно было мудрое решение навсегда покинуть Закавказье после того, как он первым вступил в Баку, как красный триумфатор. В то время, как когорта кавказских ветеранов большевизма в обозе Красной армии движется на Кавказ, чтобы поскорее занять командные посты новой власти, Микоян наотрез отказывается от всякого поста и спешит скорее убраться со своей родины. Никто не знал, почему он так поступает; никто не понимал, как человек может отказаться от власти, во имя которой он много раз рисковал своей головой. Только один Микоян понимал, почему он так поступает. Сами пророки не знали того, что глубоким внутренним инстинктом чувствовал молодой Микоян — кто не может быть пророком в собственной стране, должен стараться быть владыкой в чужой.

Политическая история России всех времен вряд ли знает другого государственного деятеля, как Микоян, который не умом, а инстинктом, не анализом, а чутьем, хитростью выходил

бы не только из жизнеопасных положений, но и с поразительной точностью оценил бы обстановку, чтобы действовать наверняка. Микоян предвидел жестокую партийную войну за власть теперь уже между самими большевиками. И он был прав. Ветераны названной большевицкой когорты Кавказа политически уничтожили друг друга в междоусобной групповой войне задолго до их физического уничтожения Сталиным. Микоян боялся вот этой большевицкой междоусобной войны еще в бакинском подполье больше, чем своих открытых политических врагов. Когда же открытые враги оказались разбиты, он только и боялся собственных единомышленников. Несомненно, что Микоян мерил и своих политических друзей по масштабу, который он выработал для самого себя — на все, на что он сам способен, способны и его друзья. Если в интересах завоевания и удержания власти ленинизм не признает никакой морали, кроме революционной, если Ленин говорит, что морально только то, что помогает партии достичь поставленной цели, то и каждый коммунист в отдельности должен обладать иммунитетом против всех норм общечеловеческой морали, чести, долга, верности, дружбы. Микоян эту философию усвоил раньше, чем Ленин ее открыто формулировал в 1920 г. на III съезде комсомола.

Поэтому Микоян в глубине души и был убежден, что, оставаясь на Кавказе, он имеет все шансы стать жертвой этой самой «моральной» философии. Нет, Микоян на Кавказе не останется. К тому же, что ему узкий кавказский мир, когда впереди, далеко на Севере, маячит величественный Олимп верховной власти — всемогущий Кремль! Москва удовлетворяет настойчивое требование Микояна об отзыве его с Кавказа и назначает секретарем губкома партии типично русской провинции на Волге — Нижегородской (ныне Горьковской). Этому губернатору было тогда только 24 года!

(Окончание следует)

А. Авторханов

ИЗ ДАВНИХ ЛЕТ

СТРАНИЦЫ ВОСПОМИНАНИЙ

Приезд Л. Г. Дейча из Сов. России в Берлин в 1922 г.

Наша переписка

В 1922 г. мой старый приятель, известный революционер еще с 70-х годов Лев Григорьевич Дейч приехал из Советской России в Берлин, откуда должен был отправиться в Париж и Женеву для разбора обширного архива Г. В. Плеханова. Дейч был близким другом и последователем Плеханова еще с начала 80-х годов. Известно, что в 1883 г. он вместе с Плехановым, Верой Засулич и П. Б. Аксельродом организовал «Группу Освобождения Труда». Позже Дейч провел на каторге и в сибирской ссылке 16 лет. О моих встречах с ним в 1905 г. в Женеве, а потом о дружбе с ним в годы пребывания его в Америке в 1912-1916 годах я уже говорил в предыдущих главах воспоминаний. В конце 1916 г. Дейч вместе со своей женой уехал из Америки в Лондон. Когда вспыхнула революция в России, они сейчас же отправились туда и поселились в Петрограде. В 1917 г. я получил от него открытку, вместе с его книжкой воспоминаний, которая вышла еще до революции в Петрограде. Дейч был замечательный мемуарист. Его книга «16 лет в Сибири», вышедшая по-русски в 1902 году в Женеве, была переведена на многие иностранные языки. Его очерк «4 побега» был в 1907 г. напечатан в одном из горьковских сборников «Знание». Пока в России существовала свободная печать, Дейч был членом редакции петроградской газеты Г. В. Плеханова «Единство», и, как Плеханов, он в своих статьях резко критиковал не только большевиков, но и тактику меньшевиков-интернационалистов и левых эсеров, т.е. всех тех, кого Плеханов прозвал «полуленинцами». В первые годы большевизмской диктатуры имя Л. Дейча я встречал только в не-большевицких исторических журналах «Былое» и «Голос

минувшего», которые тогда еще выходили, хотя и нерегулярно, в Петрограде и в Москве. После того, как и эти журналы были закрыты большевиками, я несколько лет нигде не встречал имени Дейча и не знал даже, жив ли он. (Плеханов умер в мае 1918 года, а Вера Засулич в 1919 году).

В 1920 или в 1921 году я впервые увидел имя Дейча в большевицком журнале «Под знаменем марксизма», который выходил в Москве под редакцией «либерального» большевика Д. Рязанова. В этом же номере были статьи Троцкого, Луначарского. Когда я в 1922 году получил из Берлина открытку Л. Г. Дейча, в которой он писал мне о своих планах насчет архива Плеханова, я ему, конечно, сразу же ответил длинным письмом, в котором, между прочим, рассказал, что большевицкий угар, охвативший в первые годы большевицкой диктатуры значительную часть еврейской социалистической интеллигенции и радикально настроенных рабочих в Америке, уже проходит. В этом же письме я выразил свое удивление, что Дейч сотрудничал в большевицком журнале «Под знаменем марксизма». Копий своих писем к Дейчу я не сохранил, но хорошо помню, что в первом же письме спросил его: «Неужели есть еще на свете такой марксизм, который вы можете защищать совместно с Троцким и Луначарским?» Я выразил глубокую уверенность, что А. Н. Потресов, который после Плеханова был самым выдающимся русским марксистом и последовательным демократом, «в журнале «Под знаменем марксизма» ни в коем случае сотрудничать не станет».

В те годы я был членом нью-йоркской «Группы русских социал-демократов имени Г. В. Плеханова». По инициативе нашей Группы и, главным образом, при нашей финансовой поддержке в 1921 году в Берлине начал выходить ежемесячный журнал «Заря», орган правых социал-демократов, которые в 1917-1918 гг. группировались вокруг Г. В. Плеханова и А. Н. Потресова. Редактором «Зари» был выбран известный социал-демократ, публицист Ст. Иванович (Семен Португейс). В 1917 году он был одним из видных сотрудников петроградской газеты «День», во главе которой стоял А. Н. Потресов. Дейч знал о том, что журнал «Заря» своим существованием обязан, главным образом, нам, «американцам», и в одном из своих писем ко мне дал мне понять, что, по его мнению, мы вместо того, чтобы тратить деньги на издание журнала, «кото-

рый в большевистскую Россию вряд ли попадет», лучше бы эти деньги потратили на издание архива Г. В. Плеханова за границы. В ответ на это его замечание я написал ему, что каждый из нас, конечно, готов помочь ему разобраться и подготовить к печати все, что есть интересного в архиве Плеханова. Но это — материал для будущих историков. Мы же, как социал-демократы плехановского и потресовского толка, в данный момент считаем необходимой борьбу за восстановление в России демократического режима, и цель эта может быть достигнута только объединенными силами всех демократических социалистов и демократов не социалистов, заинтересованных в свержении большевицкой диктатуры и в замене ее демократическим режимом.

В том же письме, кажется, я, между прочим, заметил, что многое из того, что Плеханов писал до войны 1914 года, уже устарело. Его знаменитую книгу «Монистический взгляд на историю», например, которая имела такой успех в 90-х годах, лет через двадцать никто, кроме историков марксизма в России, в руки не возьмет, а вот его двухтомная книга «Год на родине» (сборник статей и речей 1917-1918 годов) останется замечательным памятником февральской революции.

Я узнал, что в Берлине Дейч встречался с Ст. Ивановичем, с интересом читал «Зарю», но потом они поссорились из-за того, что Иванович отказался напечатать его письмо в редакцию, в котором он в самых резких выражениях нападал на П. Б. Аксельрода, который во время войны был «интернационалистом», в 1915 г. участвовал вместе с Мартовым, Троцким и Лениным в Циммервальдской конференции, в 1917-м был противником политики Временного Правительства, но после захвата власти большевиками П. Б. Аксельрод резко выступал против большевицкой диктатуры. В письме к Мартову в 1920 году Аксельрод писал: «Не из полемического задора, а из глубокого убеждения я характеризовал десять лет тому назад, то есть в 1910 году, ленинскую компанию прямо как шайку черносотенцев и уголовных преступников *внутри* социал-демократии». «Представление об историческом смысле большевизма, о наличии причин, вызвавших его на авансцену истории, ничуть не вытесняет из моего сознания того факта, что большевики достигли власти путем грубейшего, бессовестного об-

мана рабочих и солдатских масс средствами невероятно демагогическими и преступными».

Не помню, что заставило Дейча в 1922 году выступить против П. Б. Аксельрода, но именно поэтому Ст. Иванович отказался напечатать в «Заре» письмо Дейча. Дейч, естественно, очень обиделся за это на Ивановича. Между прочим, Ст. Иванович в 1922 г. выпустил в Берлине книжку под заглавием «Пять лет большевизма». Это была одна из очень талантливых книг против большевизма и советской диктатуры. Авраам Каган, известный американский писатель, один из пионеров социалистического движения в Соединенных Штатах и многолетний редактор газеты «Форвертс», который в первые годы революции поддерживал большевиков, через несколько лет после того, как прочитал книжку Ивановича, сказал мне, что эта книга окончательно убедила его в том, что большевицкая диктатура — «величайшее несчастье для России и для всего свободного мира». Ст. Иванович печатал также свои талантливые статьи в парижских «Современных Записках», где подвергал резкой критике идеологию, политику и тактику официальных представителей РСДРП — Мартова, Абрамовича, С. Шварца, Ф. Дана и др. сотрудников «Социалистического вестника», которые тогда были чуть ли не самыми «левыми» социалистами во всей Европе.

Я приведу здесь длинные выдержки из писем Льва Дейча ко мне, которые имеют не только исторический интерес. В письме от 21 ноября 1922 года Дейч писал:

«Дорогой Шуб! Большое Вам, сердечное спасибо за Ваше доброе, товарищеское отношение. Очень Вам благодарен за присылку 75 дол., а также за то, что пристроили мои «записки», чему я чрезвычайно рад. Вы, конечно, знаете, что у меня много еще ненапечатанных продолжений сверх уже вышедших в «Гол. Минувшего». Только осенью обещает «Задруга» приступить к печатанию 2-й части... Возможно, как Вы пишете, что Григ. Абр. (Г. Зив) «неправильно информировал меня», сгустив краски, и если гипноз, охвативший было значительные слои американских евреев, уже начал проходить, то могу этому только радоваться. Но боюсь, как бы затем не бросились многие в противоположную крайность. Даже и Вы лично, которого я всегда считал (и продолжаю считать) одним из наиболее правильно разбирающихся в политических вопросах, по-

видимому, склонны перегнуть палку, судя по Вашему последнему письму. Так, Вы выражаете недоумение по поводу совместного помещения статей Любви Аксельрод и Деборина рядом с Троцким и Луначарским в «Под знаменем марксизма». Неужели Вы допускаете мысль, что я, Любовь Аксельрод (я не говорю о Деборине, так как хотя и знаком с ним, но знаю его мало) не понимаем, не умеем решить, что дозволено, а что преступно делать теперь, находясь в России? Так вот скажу Вам: только потому, что моя статья «Как Плеханов стал марксистом», которую я предназначал для этого же юбилейного № «Под знаменем марксизма», чересчур у меня разрослась и я не захотел ее сократить, она не попала в этот №, а была отдана мною в большевистский же журнал «Пролетарская революция», редактируемый Ольминским (он же, помните, Галерка). По-вашему выходит, что я не должен был сделать это, ибо иначе «своим сотрудничеством я покрываю их преступления»? Но тогда я не должен также и читать публичных лекций, что делают не только Л. Аксельрод, Деборин и я, но также и Потресов и другие, гнушие, как и Вы, чересчур направо. Тогда не следует также работать ни в «Револ. Архиве», ни в револ. Музее, ни в Институте Маркса и Энгельса, где пристроились все мы, выше перечисленные, а также Вера Фигнер, Сажин, Прибылев, Аптекман и *все* др. старики. Допускаю, что, жив был бы Плеханов, он не стал бы сотрудничать у них, и я это одобрил бы, но чего можно было требовать от него, того нельзя предъявлять ко всем остальным. Конечно, Б. Горев мелет чушь и проповедует возмутительные вещи, на что я публично, на митинге, и указывал в ответе на его выступление. Но, по-вашему, я не должен был бы также и выступать публично в Обществе бывш. ссыльно-поселенцев и каторжан в Москве по поводу 5-тилетия русской февральской революции. Перейду ко второму пункту вашего перегибания и моего с Вами несогласия, это относительно вашего восторженного отношения к Потресову и Ст. Ивановичу.

Я уехал из Москвы, не простившись с Потресовым, потому что после происходивших у нас с ним теоретических дискуссий для меня выяснилось, что он чересчур гнет направо: — свержение большевиков, хотя бы для этого нужно было соединиться с кем бы то ни было — с Деникиным, Врангелем, хотя бы последние затем перерезали всех евреев, всю интел-

лигенцию. Словом, проповедует то, что и Ст. Иванович, что и Б. Савинков, Вл. Бурцев, Г. Алексинский и др. безголовые деятели. Нет-с, извините, если бы даже сам Маркс мне говорил, что лучше соединиться с Николаем Николаевичем и т.д., я бы и Марксу сказал бы «извините», не могу согласиться с Вами! И если бы с ним согласились *все*, даже и Плеханов, я все же остался бы на теперешней своей позиции, как я это *всегда* делал, в течение всех 50-ти лет своей прикосновенности к революц. движению.

Вы восторгаетесь статьями Ст. Ивановича, а, по-моему, он, как и Потресов, и Каутский, испугавшись интернационализма Ленина и К^о, перешел на сторону оппортунизма Эдуарда Бернштейна конца 90-х гг.: они тоже теперь отрекаются от всего революционного марксизма, от полувекового пролетарского движения. Результатом этого направления, если бы оно расширилось, было бы лишь то, что коммунизм все более распространялся бы. Само собою разумеется, что из моих слов совершенно не следует, будто большевики хороши; наоборот, я целиком, решительно против их тактики, против их возмутительных приемов. Но из этого вовсе не следует, что я поэтому пойду с Деникиным, Врангелем, Пилсудским и т.п. А Потресов, Ст. Иванович, Алексинский и К^о готовы идти с ними, поэтому мне с ними не по пути, потому что этот путь привел бы только к еще большим несчастьям, разорению страны, движению назад. Я поэтому ни в тех, ни в сех; все же сотрудничать в произведениях перечисленных лиц, из них даже в изданиях «наиболее талантливых рус. соц. публиц.», не стану, а вот, в журналах большевиков помещаю статьи.

Надеюсь, Вы поняли мою точку зрения. Кстати, на днях я получил из Москвы № журнала «Творчество», в котором 2 мои статьи: 1) о «Социалистах в изображении Тургенева в «Нови», и 2) по поводу «Записок шлиссельбургской узницы» (о кн. В. Фигнер «Запечатленный труд»). Читали ли Вы эти статьи? Что же, по-вашему, я не должен был выступить с опровержениями ни Тургенева, ни В. Фигнер, т.к. «Голос Мин.», где я тоже состою сотрудником, отказался их поместить? Словом, если быть последовательным, по *вашему* мнению, то мне, а также Л. Аксельрод и др. нашим единомышленникам, не могущим покинуть Россию по тем или другим причинам, пришлось бы, сложа руки, ждать, когда смерть придет.

А она скоро пришла бы, как это мы *ежедневно* там видим, потому что, ни в чем не участвуя, мы не могли бы даже так скудно питаться, как там нам приходится. Знаете ли вы, что весной минувшего года я уже *еле волочил ноги*, и если бы не большевик (нар. ком. здравоохран.) Семашко, меня наверное не было бы уже более в живых. Не знаю, кому бы это было нужно? Кому я мешаю, что еще держусь на ногах и кое-что пописываю для истории? А вот Ст. Иванович, готовый пойти *с кем угодно*, наверно, как и Вы, осуждаете меня (вместе с Л. Аксельрод) за сотрудничество в большевистских органах.

Могу прибавить, что, кроме архива Плеханова, а нашем распоряжении имеются такие еще архивы: В. И. Засулич, Ал. Ив. Любимова (бывш. члена Ц. К. большевиков, ставшего плехановцем), д-ра Васильева, умершего в Петрогр., А. Кольцова (Гинзбурга) и мой. Имей мы хотя бы такие средства, какие стоит «Заря», мы *немедленно* стали бы (в Берлине) издавать исторический журнал, который — я уверен — привлек бы всеобщее внимание. Вместо этого Вы поддерживаете, чорт знает для чего и для кого, «Зарю» Ст. Ив., вызывающую, в лучшем случае, лишь пожимание плечами. «Кому, мол, сей 'орган' нужен?!» Довольно!

Жму крепко руку. Кланяюсь всем. Пишите. Л. Дейч».

К этому письму была приписка жены Дейча, Эсфири Марковны:

«Дорогой товарищ Шуб, мне кажется необходимым внести некоторое дополнение в мотивировку Л. Гр., так как она может показаться недостаточно ясной для тех, кому не пришлось прожить эти годы в России. Решение бросить полный бойкот большевиков вытекает не из компромисса и не из практического приспособления ради заработка, а из убеждения, что теперь в России так же необходимо вмешаться в жизнь и по возможности проникнуть во все ее области и при большевиках, как это было необходимо в России во время войны, при самодержавии.

Интересы России, ее *оборона* от физической гибели требуют сейчас не заговоров против большевиков, а работы на восстановление России, хотя бы пришлось работать рядом с большевиками. Причем в этой практической работе никто, конечно, не должен отступать *на деле* от своих воззрений, хотя он и стеснен в выражении своих воззрений. Такое само-

ограничение в России сейчас необходимо, и из-за него никто не имеет права отказываться от практической работы, потому что она спасает Россию: чем больше некоммунистов принимает участие в этой работе, тем больше рассеивается коммунистический туман, гипноз.

Надо думать, что будь Плеханов жив, он именно этого и требовал бы от своих товарищей, как он требовал во время войны вхождения в военно-промышленные комитеты, хотя они действовали под эгидой самодержавия. Он сам мог бы и не принимать в этом участия, потому что его миссией было — теоретическое разоблачение большевиков, но это не помешало бы ему посылать на практическую работу рядом с ними, разумеется, не на ответственных должностях».

За припиской Э. М. следовал постскрипtum Дейча:

«П. С. После приписки Эсф. Мар. Вам, вероятно, станет более ясной наша точка зрения и занятая нами позиция по отношению большевиков. Добавлю еще, по совету Эсф. Марк., что в находящихся в нашем распоряжении архивах имеются такие ценные документы, как письма Энгельса, Лаврова, Степняка, не говоря уже про Ленина, Каутского, старого Либкнехта, Бебеля и мн. др. Имеются также и некоторые ненапечатанные статьи Плеханова и Веры Засулич. Все это, повторяю, с нашими комментариями, могло бы увидеть свет, если бы Вам всем действительно «ближе и дороже было наследие Плеханова, чем кому бы то ни было». Еще раз крепко жму руку и желаю Вам и всем выйти из затруднительного материального положения. Л. Дейч».

В письме от 4 апреля 1932 г. Дейч на мой упрек — почему он печатает статьи в коммунистическом журнале «Пролетарская революция», где печатаются воспоминания разных чекистов, мне ответил:

«Вы сетуете в вашем письме, зачем я помещаю статьи в «Прол. Рев.» Должен Вам сказать, во-1), что когда я получил от председателя «Истпарта» Ольминского (он же Галерка) предложение поехать за архивом Плеханова, я не знал, что он является в то же время редактором «Прол. Рев.», которую я, живя в Петрограде, в глаза не видел; во-2), тогда мне никто из близких товарищей не указывал, что в этом журнале печатаются одиозные статьи разных чекистов, да, мож. б., таковых и не было тогда в этом журнале, в-3), до получения ва-

шего последнего письма я совершенно не знал о перечисленных Вами статьях, т.к. не имею физической возможности читать ни этого, ни др. журналов; в-4), как я уже упомянул, я получил возможность поехать за границу именно благодаря хлопотам Ольминского (а также Семашко — племянника Плеханова), который, как председатель «Истпарта» и редактор «Пролет. Рев.», обязал меня за это обещанием всякий полученный здесь материал предоставить ему: предо мною была альтернатива: или поехать сюда и разобрать архив Плеханова, или навсегда отказаться от этой цели и предоставить архив на волю судеб. Мы с женой выбрали первое.

Правда, Розалия Марковна Плеханова (вдова Плеханова — Д. Ш.) не согласилась предоставить большевикам архивы мужа, и мы уехали из Парижа почти ни с чем из его литературного наследства, но мне удалось понаскрести там, помимо этого, кое-что небезынтересное, что, в силу взятого на себя обязательства, я отчасти уже переслал в Москву для «Прол. Рев.», а отчасти везу туда с собою. Не будь этого обязательства, я, конечно, не стал бы там печататься. Но нарушить данное слово я также не могу: этого не делают даже уголовные арестанты по отношению тюремного начальства. Вы, б.м., скажете, что по отношению большевиков, делающих всякие ужасы и гадости, можно не сдерживать слова. Я с этим не согласен. Итак, Вы и впредь будете встречать мои статьи и материалы из архива Плеханова на стр. «Пр. Рев.», в противном случае мне не следовало ехать сюда для разборки архива. Несмотря на некоторые неприятности, с которыми, как видите, сопряжена эта моя миссия, я, в конце концов, все же очень доволен, что воспользовался этим случаем и порылся в архиве Плеханова: я извлек оттуда немало такого, о чем совсем забыл и думать.

...Мои работы по архиву приходят к концу, и мы с женой числа около 15-го намерены отправиться обратно в Москву, где и устроимся. Пока же у меня масса очень спешной и разнообразной работы. Поэтому не удивляйтесь, если не на все пункты вашего письма отвечу. Я надеюсь также, что, будучи в России, мы также будем с Вами переписываться, — пока, повторяю, адресуйте д-ру Фр. Гинзбург. — Ну, всего Вам доброго и большое спасибо Вам за ваши старания приходить нам на помощь. В заключение скажу, что меня очень обрадовало ваше сообщение о том, что Вы не признаете теперь пра-

вым г-на Португейса (его отказ поместить в «Заре» письмо в редакцию Дейча. Д. Ш.), — это признание делает Вам честь. Надеюсь, что со временем Вы также признаете меня правым и по другим спорным с Вами у нас пунктам, — запомните это. Ну, всего, всего Вам наилучшего. Кланяюсь Вашим. Эсфирь просит передать Вам ее привет. Крепко жму руку. Ваш Лев Дейч».

Как я уже упомянул выше, у меня не сохранились копии моих писем к Л. Г. Дейчу, но у меня сохранился номер журнала «Заря» с моей статьей «Письмо к товарищу». Первая часть этой статьи была почти копией моего письма к Дейчу. Вот что я писал ему в ответ на его упреки не только мне, но и Потресову, Каутскому и др.:

«Да, Вы правы: мы все сильно изменились за эти годы. Тяжелый урок войны и большевизма не прошел даром для большинства из наших товарищей, оставшихся за границей. Мы научились смотреть на действительность более трезвыми глазами и оценивать события не с точки зрения предвзятых формул и застывших догм, а исключительно с точки зрения исторического опыта и тех возможных результатов, которыми чревато данное событие. Вы же, насколько я могу судить по Вашему письму, живя все время в душной, затхлой атмосфере «коммунистического рая», по-видимому, не имели возможности проверить свои взгляды на основании опыта Западной Европы и потому застыли на совершенно устаревших партийных догмах 1917 г. Так из Вашего письма я убедился, что Вы остались тем же ортодоксальным марксистом, каким были в 1917 г. Вы не признаете большевистского «коммунизма», Вы считаете Ленина и Троцкого авантюристами и их диктатуру губительной для России. Вы обвиняете их в том, что они опозорили социализм в России, уничтожили все завоевания Великой Мартовской Революции 1917 г. и своей безумной кровавой политикой разрушили страну до основания и довели русский народ до людоедства.

И все же, несмотря на все это, Вы решительно против тех социалистов, которые проповедуют единый демократически-республиканский фронт для свержения большевистской диктатуры и замены ее демократической республикой. При всей Вашей глубокой ненависти к «чекистских дел мастерам», которыми для Вас являются все эти Троцкие, Зиновьевы, Бухарины

и Дзержинские, Вы все же продолжаете считать большевиков социалистами, хотя и плохими, не совсем чистыми на руку. Вот в этом — корень наших разногласий.

Вообще нам, социалистам, не ослепленным узко-партийным фанатизмом, кажется, что давно пора сдать в архив всю теорию о гегемонии пролетариата в современной России. Пролетариат численно ничтожен в России, а остатки его физически и морально разбиты. Силами одного пролетариата, включая даже и тех пролетариев, которые идут еще под большевистскими знаменами, не только нельзя будет восстановить Россию, но даже ликвидировать ту «диктатуру пролетариата», которая при помощи красной армии и всяких «Чека», господствует в настоящее время в России. Пролетариат может быть только одним из слагаемых в той сумме демократических сил, которая может ликвидировать большевистскую диктатуру и восстановить Россию.

А под демократическими силами мы разумеем не только те незначительные кадры крестьянства, идущие за В. М. Черновым и его единомышленниками, но и те «обуржуазившиеся» массы деревенского и городского населения и ту интеллигенцию, которые заинтересованы в установлении такого нормального демократического строя в России, какой господствует в настоящее время почти во всей Западной Европе и Америке. Эти широкие народные массы, не связанные в прошлом ни с поместным дворянством, ни с чиновно-бюрократической реакцией свергнутой монархии, знать не хотят ни о каком социализме, однако они в огромнейшем большинстве своем и слышать не хотят о реставрации старой дворянско-бюрократической монархии. Они не имеют еще своих идеологов, как не имеют еще стройно выработанной идеологии, но они твердо знают, чего они не хотят и что лучше соответствует их интересам».

Последнее письмо от Дейча я получил в апреле 1923 г., накануне его отъезда с женой в Советскую Россию. В этом письме он, между прочим, писал: — «Мы не утверждаем, что «на смену большевикам придут непременно черносотенцы»: опять не по адресу. Но мы не разделяем такого, напр., взгляда: «пусть кто угодно придет им на смену, пусть их преемники вырежут всех евреев и всю интеллигенцию, но зато сохранится Россия, русский народ». Это взгляд Потресова, высказанный

им в присутствии нескольких товарищей, почему я его и его последователя Ст. Ивановича «свалил в одну кучу с Савинковым и др.», в чем Вы меня попрекаете совершенно напрасно. Вы совершенно правы, признавая Савинкова, Бурцева и Алексинского «большевиками наизнанку», но к этой теплой К⁰ я также отношу и людей, которые признают себя солидарными с такими мракобесами.

Откуда, далее, Вы взяли, что кому-либо из нас «приходит в голову проповедывать отказ от всякой борьбы с большевиками»? Но живя пять ужасных лет в центральных городах советской России, а не в Нью-Йорке, мы полагаем, что ваша формулировка «главнейшей задачи рус. соц. и демократов — организация народных сил вокруг лозунга воссоздания демократ. республики в Рос. и восстановления ее производительных сил» — *в настоящее время и в ближайшем будущем является чистейшей фразой.* По-моему, социалисты всех оттенков еще в течение *нескольких лет* в самой России не будут в состоянии вести ни подпольной, ни тем более открытой борьбы, а тем менее «организацию народных сил» и т.д. Такими целями можно задаваться, только живя в Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Берлине, что, повторяю, имеет на судьбы России такое же влияние, какое на луну собачий лай.

Так что же, б.м., спросите Вы, делать, по-моему? Ведь вот 40 лет назад вы, в качестве члена Группы Осв. Тр. проповедывали и т.д.? На это отвечаю: то было 40 лет тому назад, а теперь другие времена, другие нравы и обстоятельства. Вы заявляете: «так как большевики сами добровольно не откажутся от своей диктатуры, то надо, не бойкотируя большев. власть, организовывать широкие массы, как мы делали это во времена царизма». Но в том-то и беда, что теперь не времена царизма: тогда можно было это делать, а теперь *невозможно*, чему доказательств и у Вас сотни, а у нас — тысячи.

Но мы не согласны с первой половиной вашей фразы: «так как большев. и т.д.» Откуда Вы это почерпнули? Я, в качестве убежденного марксиста, утверждаю, что *экономика заставит* большевиков отказаться от их диктатуры, иначе они полетят кувырком. Не могу только в точности сказать, когда эта неумолимая дама предпишет им свой ультиматум, но что рано или поздно она это обязательно сделает, это для нас, живущих в России, столь же несомненно, сколько то, что после

зимы наступает весна и т.д. А толкнет большевиков на это экономика не вследствие словесных потоков в заграничных изданиях об организации «народных масс вокруг» тех или др. лозунгов, а фактическая работа на месте. Но довольно. Едва ли мы можем сговориться по этим вопросам, поэтому оставим их.

Ну, всего Вам доброго. Не сердитесь, если я Вас чем обидел в полемике или в чем др.: ведь Вы знаете, что я всегда к Вам хорошо относился и теперь тоже. Эсфирь Марковна просит передать Вам сердечный привет. Она с нетерпением ждет момента нашего возвращения в Россию. Лев Дейч».

В моем последнем письме к Дейчу я опять упрекнул его, что он продолжает сотрудничать в журнале «Пролетарская революция», где печатаются статьи чекистов. Дейч уже из Москвы мне ответил открыткой: «Неужели Вы не понимаете, что это кость, которую необходимо бросить злой собаке?»

Я его очень хорошо понял и больше никогда не критиковал. Он вернулся в Россию с архивом Плеханова и потом опубликовал шесть объемистых сборников «Группы Освобождения Труда» с чрезвычайно интересным материалом из архивов Веры Засулич. Первые четыре номера он мне еще прислал. Он также прислал и несколько своих брошюр. Потом перестал писать. Но когда мой коллега М. Хиной был в Москве и встретился там с Дейчем, Дейч через него послал мне свой «горячий, дружеский привет». А Хиною, которого он знал еще в Америке, дал свой фотографический снимок с надписью: «Дорогому товарищу М. Хиною от *старого социал-демократа Льва Дейча*». Дейч этим подчеркивал, что остался *социал-демократом*. Его надежда, что «экономика» заставит большевиков отказаться от своей диктатуры, однако до сих пор не сбылась.

А в своей статье о Плеханове, которую он прислал мне до войны и которую я напечатал в журнале «Цукунфт», он рассказывал, что Плеханов за несколько месяцев до своей смерти в финляндской санатории «неоднократно обращался к нему с по-видимому глубоко его мучившим вопросом: Не слишком ли рано мы в крестьянской, полуазиатской России начали проповедь марксизма?»

Д. Шуб

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

С. П. ТИМОШЕНКО

29 мая с. г. на 93-м году жизни скончался в Германии, в Вупертале, всемирно известный русский инженер, педагог, заслуженный профессор Станфордского университета Степан Прокофьевич Тимошенко.

Можно сказать, что Степан Прокофьевич прожил две жизни, характеризующиеся двумя блестящими карьерами: одна — в России (1879-1918) и другая — в США (1922-1962). В течение этих двух приблизительно сорокалетних периодов достижения и заслуги С. П. в одной и той же области — механика — были совершенно исключительны. Как учитель-педагог, он преподавал инженерные науки (сопротивление материалов, прикладная механика, теория вибрации, теория упругости и др.) в первоклассных высших школах России и Америки. Он ввел сближение и потом объединение математических и инженерных наук и может считаться отцом прикладной механики.

С. П. написал около двадцати книг, большинство коих являются настольными для инженеров всего мира. Так, например, «Сопротивление материалов» вышло впервые в виде записанных лекций в 1908 г. и затем книгой в 1911 г.; оно выдержало 12 изданий в России. Большинство материала этой книги заключается в американской «Strength of Materials», вышедшей впервые в 1930 г. и разошедшейся более чем в 100.000 экз. Другие широко известные книги С. П. — «Theory of Elasticity» (1934, 3-е издание вышло в 1970 г.) и «Engineering Mechanics» (1936, 4-е издание вышло в 1956 г.) — являются не только незаменимыми университетскими пособиями, но и практическими справочниками для конструкторов.

С. П. родился в 1879 г. в деревне Шпотовка, Конотопского уезда, Черниговской губернии. Отец С. П., Прокофий Тимо-

феевич, родился 8 июня 1847 года в хате крепостного крестьянина, принадлежавшего помещику Степану Кандыбе. Помещик этот женился на своей крепостной, старшей сестре отца С. П. Отец С. П. был взят маленьким в помещичий дом и воспитывался с детьми помещика, т.е. с своими племянниками и племянницами; впоследствии он работал землемером, арендовал имение Кандыбы и вел собственное хозяйство. Позже, благодаря успешному хозяйству отцу С. П. удалось собрать некоторую сумму денег и с помощью банка купить имение Шпотовку, бывшее Кандыбовское имение.

После домашней подготовки С. П. поступил в Роменское реальное училище, которое окончил первым в 1896 году, когда ему было 17 лет. После успешного конкурсного экзамена С. П. был принят в Петербургский Институт Путей Сообщения, который он окончил в 1901 г. Поездки за границу во время каникул произвели огромное впечатление на С. П.: Берлин, Париж, Бельгия, Швейцария и Италия.

В сентябре 1901 г. С. П. начал отбывать воинскую повинность вольноопределяющимся в лейб-гвардии саперном батальоне в Петербурге, закончив службу прапорщиком запаса. После этого он работал ассистентом в механической лаборатории Института путей сообщения. В 1903 г. С. П. перешел в Петербургский Политехнический институт, где работал как лаборант. Там его научный кругозор сильно расширился благодаря контакту с такими учеными, как А. П. Фан дер Флит, И. В. Мещерский и В. Л. Кирпичев. Летом 1904 г. С. П. снова поехал в Европу, на этот раз в Мюнхен, где работал в лаборатории проф. Фепплъ. Учебные годы 1904-6 были посвящены не только лекциям и лабораторным работам со студентами, но и приготовлению к печати отчетов о работах, произведенных в Геттингене и Мюнхене.

Лето 1906 г. С. П. опять провел в Геттингене. В это время его главная работа была посвящена различным исследованиям, из которых наиболее существенным было решение нагрузки и выпучивания пластинок, с вычислением критической силы для разных значений отношения ширины пластинки к ее толщине. Эта оригинальная работа является теперь классическим пособием в кораблестроении и особенно в конструкции аэропланов. Такие выдающиеся морские инженеры, как А. Н. Крылов и И. Г. Бубнов, были зимой 1906-7 года заняты подготов-

кой проектов для постройки первых дредноутов русского флота. Сжатые листы этих кораблей проверялись на устойчивость формулами, выработанными С. П.-чем. Аналогичные формулы для конструкции аэропланов оказались незаменимыми и 30-40 лет спустя.

Осенью 1906 г. С. П. был избран на кафедру сопротивления материалов Киевского Политехнического института, куда он и переехал с семьей. В 1911 г. была в окончательной форме опубликована первая классическая книга С. П. «Сопротивление материалов».

В начале 1911 г. министерство народного просвещения начало ограничивать относительное право самоуправления высших учебных заведений. Правление Киевского Политехнического института не считалось с положенной министерством 15%-й нормой приема еврейских студентов, которых было значительно больше. Министерство настаивало на увольнении принятых сверх нормы евреев, а правление Института не спешило с выполнением этого требования. Кончилось тем, что три декана — С. П. Тимошенко, К. Г. Шиндлер и А. В. Нечаев — были в феврале 1911 г. уволены без всякого предупреждения. Из чувства солидарности часть профессуры подала в отставку, и Институт сразу потерял 40% своего профессорского состава.*

После этого С. П. принужден был вернуться в Петербург, где возможность приискания работы была шире, чем в Киеве. Там в течение двух лет ему пришлось работать внештатным лектором в разных школах и консультантом в морском ведомстве. В январе 1913 г., после двухлетней опалы, министр путей сообщений утвердил С. П. профессором Института Инженеров Путей Сообщения. Электротехнический институт также выбрал его профессором. За это время, кроме книги «Сопротивление материалов», появились — «Курс по теории упругости» и др.

С. П. был членом военно-инженерного совета и нескольких комиссий и состоял консультантом по постройке военных судов, по усилению рельсового пути Российский и Сибирской железнодорожной сети и по вопросам прочности аэропланов.

* Интересно, что 7 профессоров из этой группы стали эмигрантами.

Революция застала С. П. в Петербурге. После поездки в Крым летом 1917 года семья С. П. не вернулась в Петербург и обосновалась в Киеве, где условия жизни были лучше. На Рождество 1917 г. С. П. уехал из Петербурга в Киев проводить семью. Киевский Политехнический институт пригласил тогда С. П. занять там кафедру. В Киеве, кроме институтских дел, С. П. был также занят в комиссии по организации Украинской Академии наук. Здесь С. П. со своей семьей пережил много событий: Украинская Рада, большевики, немецкая оккупация, Петлюра, Директория и снова большевики. Вместе с академиком В. Вернадским С. П. решил пробраться в Ростов на Дону в надежде найти занятие при правительстве Добровольческой армии, где он и был сразу зачислен в Военно-инженерный совет.

Вскоре вера в успех Добровольческой армии начала пропадать. Значительной группе профессоров, оказавшихся на юге, было предложено переселиться в Югославию. Кроме С. П., желающих уехать немедленно не оказалось. После длительного, полного лишений путешествия С. П. добрался до Белграда, а затем до Загреба, где ему была предложена кафедра по механике в новом Политехническом институте. Летом 1919 г. польская армия заняла Киев, освободив его от большевиков. Это дало непредвиденную возможность С. П. приехать через Варшаву в Киев и спешно вывезти семью.

В течение двух лет в Загребе С. П. читал лекции по сопротивлению материалов, оборудовал испытательную лабораторию и опубликовал несколько статей. Летом 1921 г. он был командирован Институтом осмотреть западно-европейские лаборатории. По окончании летнего семестра, в 1922 году, С. П. получил официальное предложение работать в одной небольшой американской инженерной фирме в Филадельфии. С. П. взял отпуск, поехал в Филадельфию и три месяца спустя, после долгих колебаний, решил остаться в Америке и перевезти сюда семью.

Через год С. П. был приглашен в исследовательскую лабораторию Вестингауза в Питтсбурге, где он проработал 4 года (1923-1927). Здесь его имя скоро стало известным в Америке благодаря его деятельности в американском Обществе инженеров-механиков, где он основал быстро развившийся отдел прикладной механики. В течение его службы у Вестингауза С.

П. разрешил большое количество задач, с которыми к нему приходили инженеры различных отделов. Секретарю лаборатории приходилось назначать заранее свидания с С. П. Вскоре появилась его первая американская книга «Applied Elasticity» (1925). Для молодых инженеров была организована специальная школа, где С. П. мог снова отдавать свое время любимому делу преподавания. Успехи С. П. в выполнении для Компании ряда важных работ были таковы, что в 1925 году он был командирован в Европу, чтобы изучить постановку и организацию различных исследовательских лабораторий, а также принять участие в Международном Конгрессе механики в Цюрихе.

Весной 1927 года С. П. получил приглашение занять вновь учрежденную кафедру для исследовательской работы по механике в Мичиганском университете в Анн-Арбор. Это было то, о чем он мечтал: университетская деятельность. Вестингаузовское правление всячески старалось отговорить С. П. от этого и предложило увеличить жалованье и предоставить всякие привилегии. Но С. П. покинул исследовательскую лабораторию со званием приезжающего консультанта и переехал в сентябре 1927 г. в Анн-Арбор. Организация курсов для получения докторской степени была его первой задачей на новом месте. Университетские занятия брали только часть его времени, так что остальное время шло на научную работу по опубликованию его лекций и статей.

Университетская жизнь позволила С. П. делать летние поездки за границу, посещая различные лаборатории. В Мичиганском университете С. П. организовал летнюю школу для кандидатов на докторскую степень, к которой С. П. привлек ряд известных ученых из Европы и Америки. В течение его пребывания в Мичиганском университете (1927-1936) 30 студентов получили докторскую степень; большинство из них стали профессорами известных американских университетов. Влияние С. П. как редкого педагога-учителя было огромно. Ограниченное знание английского языка не мешало его слушателям быть прикованными к иногда весьма сложному сюжету, который С. П. представлял просто и ясно, говоря без записок.

Работоспособность С. П. всегда была совершенно исключительная. Это видно и из количества его публикаций, которые

по качеству оказались таковы, что книги его переведены на многие языки, и само имя «Тимошенко» стало известно в высших технических учебных заведениях всего мира.

В 1935 г. С. П. получил почти одновременно предложения от Станфордского и от Калифорнийского университетов перейти к ним и организовать занятия с кандидатами на докторскую степень. Предложения были заманчивы, так как в это время С. П. кончал свою 35-летнюю педагогическую карьеру и начинал думать о сокращении своей практической и преподавательской деятельности. По окончании учебного года 1935-1936 С. П. покинул Анн-Арбор, приняв предложение Станфордского университета и, в первый раз в Америке, купил уютный дом с большим садом в Пало Алто. В Станфорде С. П. продолжал свою продуктивную деятельность и после 1944 года, когда ему минуло 65 лет и он стал «эмеритус», т.е. преподавателем, не занимающим кафедры. Его имя в Станфорде сразу же притянуло молодых преподавателей и докторских кандидатов. Так же, как и в Мичиганском университете, С. П. организовал в Станфорде отделение исследовательской механики.

После войны, с 1947 года туда были приглашаемы для чтения лекций и для работ с докторантами видные специалисты в области теории упругости, теории пластичности, теории колебаний и аэродинамики. Среди этих специалистов оказались и бывшие ученики С. П. Главная деятельность С. П. в Станфорде, кроме немногих специальных лекций, заключалась в подготовке к печати курсов, читанных С. П.

Большую часть летних каникул как в Анн-Арборе, так и в Станфорде, С. П. старался проводить в Европе, куда его, как и в Америке, часто приглашали читать доклады. Эти доклады были всегда «современными», так как заключали последние новости технических вопросов, требовавших математического анализа для их разрешения.

С. П. участвовал в большинстве международных конгрессов по прикладной механике.* Его отсутствие на XIII-м Международном конгрессе в Москве в августе этого года, который

* С. П. был одним из организаторов этих конгрессов, собирающихся каждые 4 года.

он собирался посетить, будет, понятно, замечено всеми, иностранцами и русскими.

Чтобы получить более точную картину о состоянии русских инженерных школ, С. П. несколько лет тому назад посетил свою родину, где навестил Киев, Харьков, Москву и Ленинград.** В Киевском Политехническом институте С. П. прочел доклад об американских школах, осматривал лаборатории и беседовал с профессорами. В Киеве С. П. также посетил свою сестру, жившую на скромную учительскую пенсию. Несмотря на официальные обещания разрешить ей выезд из СССР, все хлопоты С. П. по этому поводу не привели ни к чему: сестру его власти не выпустили.

Отчет о высшем техническом образовании в России С. П. опубликовал в 1959 году (*Engineering Education in Russia*). Он находил, как это было и в старое время, что подготовка к принятию в высшие учебные заведения в России более основательна, чем в Америке.

Долголетняя деятельность С. П. на поприще науки не осталась без признания во всем мире. Он был избран членом ряда академий, как например, — Украинская Академия наук в Киеве (1918), Российская Академия наук в Ленинграде (1928), Польская Академия наук в Варшаве (1935), Французская Академия наук в Париже (1939), Американская Академия наук в Вашингтоне (1941), Королевское Общество в Лондоне (1944), Итальянская Академия наук в Риме (1948).

Почетные докторские звания С. П. получил от следующих учебных заведений: Лехайский университет (1936), Мичиганский университет (1938), Цюрихский политехникум (1947), Мюнхенский политехникум (1949), Глазговский университет (1951), Болоньский университет (1959), Загребский политехникум (1956), Туринский политехникум (1960).

За свои работы С. П. получил ряд медалей, как например, медаль и премию (2.500 золотых рублей) имени Журавского, Петербург (1911) и международную медаль имени Джемса Ваттса, Лондон (1947). Американское Общество инженеров-

** Об этом посещении СССР С. П. выпустил воспоминания (по-русски и по-английски). В этой книге характеристика советской жизни достаточно безотраднa.

механиков периодически присуждает медаль имени Тимошенко выдающемуся инженеру.

Станфордский университет выделил 2 комнаты имени Тимошенко: одна — библиотека С. П., а другая — комната заседаний Механического отделения. В ней хранятся медали и дипломы, полученные С. П.; в этой же комнате заседаний стоит бронзовый бюст С. П.

Если говорить о влиянии русской эмиграции на мировую культуру, то в плеяде выдающихся эмигрантов с мировым именем несомненно Степан Прокофьевич Тимошенко занимает одно из первых мест.

У С. П. остались — дочь Анна Хетцельт, архитектор, живущая в Германии, сын Григорий, электротехник, профессор Штатного университета в Коннектикуте, и дочь Марина Гудье, живущая в Калифорнии.

С. П. похоронен в Пало-Алто рядом с могилой его жены, Александры Михайловны, и вблизи могил своих двух братьев, Сергея и Владимира.

Л. М. Тихвинский

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

УВАЖАЕМЫЙ Г-Н РЕДАКТОР!

В № 104 Вашего журнала, в статье В. Позднякова, приведены некоторые неверные сведения. Покойный Сергей Максимов (Широв; в Смоленске говорил, что его настоящая фамилия-Пасхин), на которого ссылается В. Поздняков, преувеличил участие профессора Базилевского в освещении обстоятельств, сопутствовавших обнародованию трагического события: Базилевский в Катынь *не ездил*, в актовом зале Смоленского мединститута (в помещении которого находилось Городское управление) *не выступал*. В поездке в лес 18 апреля 1943 г. участвовали: редактор газеты «Новый путь» Долгоненков; ст. лейтенант РОА Бршолей; бургомистр Меньшагин; сотрудник управления Борисенко; зав. паспортным отделом управления Дьяконов. Поездка была совершена на немецкой машине по инициативе сотрудника отдела пропаганды СД Ремпе. Отчет о поездке появился в «Новом пути», автор его — Долгоненков.

Также не прав Умнов, говоря, что поляки были в Катыни в 1940 г. Они находились в Оптиной пустыни (под Козельском).

Но вернемся к Базилевскому. Вряд ли справедливо утверждение, что он был информатором НКВД, по крайней мере во время оккупации Смоленска материалами об этом никто, в первую очередь бургомистр, чьим заместителем Базилевский был до октября 1942 г.,

не располагал. Борис Васильевич Базилевский относился к разряду вечно испуганных людей; боязнь из-за происхождения (близкий родственник предводителя московского дворянства П. А. Базилевского), подозрительное отношение в институте, где он был профессором, и «проработка» его на собрании там в 1937 г. способствовали развитию у него нерешительности, утрате мужества и рассудительности. Став в июле 1941 г. бургомистром, он быстро от этого поста отказался, стал заместителем бургомистра, а после открытия гимназии в городе ушел из управления туда директорствовать. Боясь прихода советских войск, но также боясь уйти с немцами, он уехал из Смоленска в дом инвалидов в село Друцк. Нам неизвестно, когда Базилевский был арестован. Нам неизвестно, ценой каких моральных волнений Базилевский взял на себя груз лжесвидетельства в советской комиссии и на Нюрнбергском процессе. После процесса Базилевский в Смоленск не возвращался и умер в Иркутске в начале 1950 гг., работая преподавателем математики в местном педагогическом институте.

Все эти, вполне достоверные, сведения сообщил один человек, репатрировавшийся из России в Израиль в 1971 г. **П. Р.**

О Н. К. ПЕЧКОВСКОМ

В своих воспоминаниях «Падение Ростова» (Н. Ж. кн. 106) Н. Туров делает предположение, что неизвестный певец в лагере военнопленных в Проскурове был Н. К. Печковский. Это ошибочно. Печковский никогда не был военнопленным. Он попал под немецкую оккупацию на своей даче на ст. Сиверской.

В годы оккупации он ездил с концертами по северу России и по Балтике. Последний раз я слышала Печковского весной 1944 г. в Риге. Концерт был посвящен памяти Собинова. И Печковский выступил с излюбленной им арией Германа из «Пиковой дамы» — «Прости, небесное создание».

Арестован он был в 1945 г. в Праге советскими властями и просидел несколько лет в СССР в концлагере, после чего был отправлен в какую-то провинциальную школу, как «учитель пения». Сведения об этом пришли за границу из СССР.

В. Пирожкова

ИСПРАВЛЕНИЕ

К нашему сожалению в кн. 107-й «Н. Ж.» в статье А. Авторханова «Вечный Микоян» при печати произошла досадная путаница страниц. Исправляем эту ошибку печатника. Страницей 208-й должна быть стр. 210-я. Страницей 209-й должна быть стр. 211-я. Страницей 210-й должна быть стр. 208-я. Страницей 211-ой должна быть стр. 209-я. Страницы 212-ая и 213-я правильны. РЕД.

Н О В Ы Й Ж У Р Н А Л

под редакцией
РОМАНА ГУЛЯ



ТРИДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ



В 1972 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ



Подписная цена на 1972 год 15 долларов
(за 4 книги)

Цена одной книги — 4 доллара
Во Франции — 15 франков



ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ
«НОВОГО ЖУРНАЛА»

THE NEW REVIEW, 2700 BROADWAY
NEW YORK, N.Y. 10025

Телефон редакции и конторы: МО 6-1692

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно,
кроме праздников и суббот, от 5-ти до 6-ти час. дня
